БОРИС ГОЛЛЕР

ЛЕРМОНТОВ И ПУШКИН

Две дуэли

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Блок писал в 1906-м: «Если не Лермонтов, то Пушкин – и обратно… образы „предустановленные“, загадка русской жизни и литературы»… С тех пор прошло больше века блистательного отечественного лермонтоведения, но многие тайны так и остались тайнами, а загадки загадками. В своем эссе «Лермонтов и Пушкин» автор обращается к этим загадкам. Два великих поэта. Две яркие судьбы, оборвавшиеся внезапно, на взлете таланта. Тайная связь двух дуэлей со смертельным концом с разницей всего в четыре с половиной года.

Издано в авторской редакции

- Борис Александрович Голлер
  -
  - От автора
  - Часть 1
    -
    - Глава первая
      - 1
      - 2
      - 3
    - Глава вторая
      - 1
      - 2
      - 4
      - 5
    - Глава третья
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
    - Глава четвертая
      - 1
      - 2
      - 3
    - Эпилог
  - Часть 2
    -
    - Глава первая
      - 1
      - 2

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- Глава вторая
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

- Плач по Лермонтову, или Белые олени
  -
  - Обыденный пролог
  - Действие первое
  - Действие второе

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16

- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60

- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104

- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148

- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192

- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215

Борис Александрович Голлер
Лермонтов и Пушкин. Две дуэли

© Борис Голлер, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

В книге приведены рисунки и акварели Лермонтова (В. А. Лопухина, А. А. Столыпин-Монго в костюме курда), а также портреты А. С. Пушкина. М. Ю. Лермонтова, П. А. Вяземского, Э. К. Мусиной-Пушкиной, Н. Н. Пушкиной, Е. Н. Гончаровой, А. Н. Гончаровой, Ж.-К. Дантеса-Геккерна, Н. С. Мартынова. Вид Эоловой арфы (Пятигорск, фотография)

От автора

В моем отношении к Лермонтову всегда было нечто мистическое. В Сибири, в эвакуации, в 1942-м я тяжело заболел. Ко мне привязалась «терциана» – малярия-трехдневка. Неизвестно как добредшая со мной до этих мест. До городка Старо-Кузнецка в Сибири, на реке Томь. В этих местах не было отроду ни хинина, ни акрихина. Может, здесь и не слышали о такой болезни жарких краев. А я погибал – мне было 11 лет. Каждые несколько дней меня трясла лихорадка. Три дня. И каждые три были трудней предыдущих. Длилось это месяцы. И моя тетка Мария, видный военный врач в блокадном Ленинграде, получив письмо матери, не знаю, каким способом, добилась разрешения послать посылку «на волю». Опять же не знаю, как посылка дошла из осажденного города через всю страну. (Наверное, это было уже после первого прорыва блокадного кольца.) Но до меня дошли в целости и сохранности, лишь обертка пострадала, – три книги: двухтомник Лермонтова 1941 года, под редакцией Б. Эйхенбаума (два первых тома: издание оборвала война) и детгизовский однотомник, тоже предвоенный, для старшего возраста: там был «Герой нашего времени». И во всех трех книгах между листами были порошки с хинином. Я стал выздоравливать.

Я увлекся Лермонтовым, как можно увлечься только в детстве и в отрочестве. В начале жизни. И когда нас приводили в госпиталя к умирающим или воскресающим здесь солдатам войны – тогда часто водили в госпиталя школьников: считалось, что раненым солдатам так легче, видеть детей, – я читал солдатам «Бородино», «Бой с барсом» из «Мцыри» и еще что-то… До «Валерика» я не дошел тогда – верно, не дорос. Да и как можно было прочесть солдатам Отечественной:

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек!
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем…

Каждому стиху – свое время и своя аудитория. Кстати, именно там, в госпитале, во время одного такого концерта перед праздником, я услышал весть – не весть, а крик, «победы торжество». Влетел кто-то с улицы: «Товарищи! Город Киева взяли!» Так и слышу сейчас – в родительном падеже! Потом все показывали молодого франтоватого лейтенанта, с одной рукой,

которого недавно выписали из госпиталя. За ним бегали решительно все местные девушки. (У них были в моде ребята с фронта, которым не нужно уже возвращаться на фронт.) Он получил Звезду Героя за то, что при наступлении, раненый, со знаменем переплыл Днепр.

Для меня самое сильное и нестерпимое – *личное* воспоминание о войне – железнодорожная станция в тылу с двумя поездами на путях. Пришедшими навстречу друг другу. И один – поезд теплушек, двери раздвинуты, и в дверях, за ограничительным брусом – словно упершись в него, молодые солдаты. Они молча глядят на тот, другой состав… Из спальных вагонов. Окна скрыты занавесками, но в окне все ж мелькают там и сям загипсованные ноги, забинтованные головы… Госпиталь. Это направляется в тыл отработанный человеческий материал великой войны. А те молодые, здоровые, со встречного поезда, – молча глядятся в этот состав, как в зеркало.

Так получилось, что Лермонтов вошел в мою жизнь в войну и в общем-то никуда не ушел из этой темы… Я только много после понял, что он принес ее с собой в нашу литературу, и не только в нашу – в том виде, в каком она разовьется после – у Толстого, Хемингуэя, Ремарка, Кондратьева, Быкова… Что он создал «Бородино», «Валерик», «Завещание» как первые произведения «окопной правды» – истинной «лейтенантской прозы», сильно отличающейся от «прозы Генштаба».

Так получилось, что в 15 лет я начал писать о нем роман. В 33 года пьесу, которая так и осталась в набросках. Потом в 43 года – драму «Плач по Лермонтову, или Белые олени». Она вошла в цикл моих «драм истории», посвященных пушкинско-лермонтовской поре: «Сто братьев Бестужевых» (трилогия), «Венок Грибоедову, или Театр для одного драматурга». Кажется, я всегда думал о нем – даже тогда, когда писал роман о Пушкине. После я открыл для себя тему тайного спора Лермонтова с Пушкиным – после смерти Пушкина. Я впервые обратился к этой теме в работе «Пейзаж с фигурами на заднем плане» («Вопросы литературы», 1998). А много позже это стало книгой (эссе) – «Лермонтов и Пушкин» в двух частях (2011–2012). И мне давно хотелось соединить эту книгу с пьесой.

Первое, что я ощутил в Лермонтове еще в юности, не зная как назвать, – само *дыхание трагедии*. Полной, неизбывной, настоящей. Такова была его жизнь и его гибель. Лермонтов, в сущности, первый на Руси трагический художник, хотя, в отличие от Пушкина, не написал ничего в жанре трагедии, кроме юношеских «Испанцев».

Признаемся, мы мало занимались нашими классиками не как

адептами тех или иных социальных или политических доктрин, но самим мировоззрением писателя. Его отношением к жизни, к смерти. К примеру, Пушкина не назовешь художником трагическим. Он искал «истину всеобщей жизни». Для него всегда существовал некий «поколенческий взгляд» на мир:

Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

Слышите? «В добрый час»! Это именно Пушкин. Поколение позади, поколение впереди. А нынешнее – лишь звено в цепи… «И пусть у гробового входа // Младая будет жизнь играть…» Ощущение Пушкина!

Как разнится оно с лермонтовским: «Бог знает, будет ли существовать это „я“ после жизни! Страшно подумать, что наступит день и не сможешь сказать: Я! При этой мысли вселенная есть только комок грязи!» (Из письма к М. А. Лопухиной. 2 сентября 1832.) Ему лишь 18 лет. Только что он написал «на берегу моря» «Белеет парус одинокий…» – то же письмо.

Лермонтов и Пушкин. Печорин и Онегин… Но если фамилия Онегин могла родиться в сущности как угодно, да и просто случайно, то фамилия Печорин несла уже определенный смысл. Это был откровенный вызов совсем еще юного автора «Княгини Лиговской» великому роману Пушкина. «Онега» и «Печора» – названия двух рек, но и два разных русла, по которым устремилась далее вся наша словесность. Тайный код нашей литературы. Эту связь «между Онегою и Печорою» и различие между ними отметил еще Белинский. «История души человеческой, даже самой мелкой души» – вот что занимало Лермонтова. Человек для него был «штучный товар». Уникальный случай. Единственный в своем роде. Это и позволило ему создать в русской литературе первый психологический роман.

Лермонтов – как творец и как человеческая судьба – одно из самых ярких выражений трагичности самого бытия человека с его смертным финалом. А трагедия есть драма, повернутая к общим законам бытия – Природы или Бога. Великий французский драматург уже XX века Жан Ануй в пьесе «Антигона» сказал устами Хора (что тоже важно для нашей темы): «Трагедия – дело чистое, верное, она успокаивает… В драме смерть похожа на несчастный случай… В трагедии чувствуешь себя спокойно.

В сущности, ведь никто не виноват… Не важно, что один убивает, другой убит. Кому что выпадет… И остается только

кричать – не стонать, не сетовать, а вопить во всю глотку то, что хотел сказать, что прежде не было сказано… В драме борются потому, что есть надежда выпутаться…»

Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом…

Лермонтов и прокричал в замолкшую эпоху то, «что прежде не было сказано». Прекрасно понимая, что нет «надежды выпутаться». Ему, как никому другому до него, была близка Аристотелева мысль о *катарсисе*, который имел в тысячелетиях много определений, но в «наш жестокий век», похоже, сохранил одно: «возвышение и очищение страданием».

«Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б ее, она бы произвела прежнее действие, Ее певала мне покойная мать…»

Из немногих автобиографических заметок Лермонтова.

От него осталось очень мало писем. Да он и не обладал великолепным пушкинским эпистолярным даром. К тому ж… в письмах он практически не говорит о литературе. Очень мало. Мы почти не знаем его литературных мнений: ни одной критической статьи. Да и другие – общественные, политические суждения его никто не отмечал, не фиксировал за ним. Просто не успели, пожалуй. Слава его только начиналась – соответственно, и интерес к нему. (Тоже – какая разница с Пушкиным!) И в поведении своем внешнем он, кажется, делал все, чтоб общество как можно меньше видело в нем поэта. Ему было свойственно скрывать от мира *Главного себя*…

В последний его проезд через Москву на Кавказ – в Пятигорск, на смерть, в будущем известный славянофил Самарин записал его слова: «Хуже всего не то, что известное количество людей страдает, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого». Формула простая – и суровая по-лермонтовски.

«В нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Луи-Филиппа. Второй раз не дают промаха», – констатировал Вяземский, когда он погиб.

Наверное, можно заподозрить Божественное присутствие в том факте, что он родился в 1814-м, за столетие до первой страшной войны, перешедшей в Гражданскую, а погиб в 1841-м, ровно за столетие – до войны еще более страшной…

Автор этих строк написал когда-то о Грибоедове: «В том нет ничего обидного, что художник уходит куда-то, после возвращается. Что его отношения с потомством, с движущимся временем развиваются по сложной кривой: из подъемов и спадов,

уходов и возвратов».

В наш постмодернистский век есть ощущение, что начинают забывать Лермонтова.

Но он возвращается снова и снова. Стоит только вспомнить, какое увлечение им царило перед Первой мировой, после Гражданской и в преддверии Великой Отечественной. Два полных издания подряд: 1940, 1941! Второе осталось незавершенным…

Трагический писатель Лермонтов возвращается в эпохи посттрагедийные или в предчувствии трагедии.

Это не исследование в прямом смысле слова. Только эссе, «опыт». «Метод читательской критики», как говаривал Л. Выготский. – Между прочим, очень точное определение! – А я – всего лишь пишущий, волнуемый текстами или историей этих текстов, или историей тех, кто эти тексты создавал. Чаще – и то, и другое, и третье, вместе взятое. Хотя следует признать, в последнее время сам термин – *эссе* стал как-то тускнеть или слишком мелькать – и, больше, у поверхности. Просто когда-то, когда жанр лишь родился, – его отличал, прежде всего, интерес к предмету разговора. В наши дни эссеистика нередко начинает с предмета – но после почему-то забывает о нем, ибо автор сосредотачивается на самом себе. В этом случае жанр невольно обезоруживает сам себя…

Часть 1
По направлению к «внутреннему человеку»

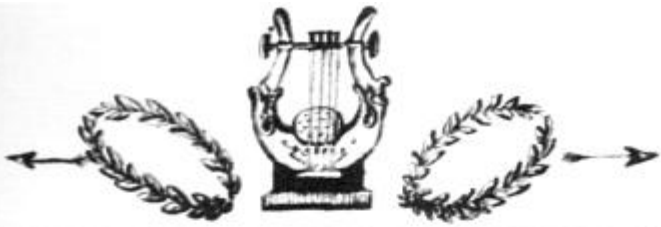
«Рассказ начат как будто по старинке: автор едет как бы навстречу Пушкину – не из Ставрополя в Тифлис, а из Тифлиса к Ставрополю. Они могли бы встретиться на Крестовой горе или на станции Коби…»[1] Б. Эйхенбаум отмечает некий параллелизм описаний Военно-Грузинской дороги Лермонтовым («Бэла») и Пушкиным («Путешествие в Арзрум») – и удивляется тому, что «автор „Бэлы“ пишет так, как будто он не читал пушкинского „Путешествия“»[2]. Он считает, что на основании этих совпадений «можно и надо сделать один существенный историко-литературный вывод: эти страницы „Бэлы“ и „Максим Максимыча“ написаны Лермонтовым так, чтобы они напомнили о „Путешествии в Арзрум“, как дань памяти великого писателя»[3].

Те же совпадения двух текстов наблюдал и В. Виноградов, говоря о «стиле Лермонтова», – только делал из этого полярный – и так же «существенный историко-литературный вывод»: «туристский характер кавказских впечатлений и описаний Пушкина разоблачает лермонтовский Максим Максимыч с его знанием кавказского быта». И далее: «В лермонтовском описании с беспощадным реализмом разоблачен иронический гиперболизм пушкинского стиля, прикрывающий, мы бы сказали, незнание функциональной семантики быта…»[4]

Бедный Пушкин! Он и слов таких не знал – «функциональная семантика»! А что бы сказал он – да и Лермонтов – про «беспощадный реализм»?.. И уж если чье «незнание функциональной семантики кавказского быта» и «разоблачает лермонтовский Максим Максимыч» – так это незнание ее самим Автором-рассказчиком. Ко времени создания повести и сам Лермонтов был на Кавказе, в достаточной степени, новичком.

А с другой стороны… Иногда можно пожалеть – честное слово! – что ты лишен от природы такого дара к созданию идиллии, каким обладал Б. Эйхенбаум. Только… Кто бросает вызов Богу – а так невольно поступает в искусстве всякий истинный творец (и Лермонтов принадлежал к их числу), – кто пытается создать другую действительность – и тем, что дерзает постичь первую, и тем, что присваивает себе право судить ее, – редко при создании собственных текстов способен действовать из чистого альтруизма по отношению к текстам чужим.

Впрямь есть ощущение, хотя и неявное, что пушкинское «Путешествие в Арзрум» как бы стелет путь – тому самому «путевому очерку», из которого на наших глазах родится «Бэла», а вместе с ней и вся «длинная цепь повестей» – лермонтовский роман. Только сдается… если крупный писатель включает в свой текст цитату (или цитаты) из других авторов, он что-то хочет этим сказать, он подает нам какой-то знак. Это подозрение, в данном случае, вело и нас – к «длинной цепи» размышлений… Часто грустных – ибо, следуя прилежно вдоль этой цепи, в случае с Лермонтовым мы могли наблюдать странное, но поучительнее явление – как не один, а даже несколько крупных исследователей подходили, один за другим, близко-близко к решению – почти к самому краю и… В последний момент, невесть почему, вдруг делали шаг в сторону. Отскакивали с поспешностью – как отшатываются от края пропасти…



ЧЕРКЕСЫ.

Подобно племени Батыя,
Из бикш праотцам Кавказ; —
— Забудь брани вещи глас,
Оставить стрелы боевыя . . . . .
. . . И к тем скалам где крылись вы,
Подъедет путник без боязни:
И возвестят о вашей казни
Преданья темныя молвы! . . . . .

А. Пушкин.

Глава первая
Спор

1

В середине января 1838-го Лермонтов наконец воротился в Петербург – «после долгих странствований и многих плясок в Москве» – как вскоре, несколько витиевато, будет сообщать он об этом в Ставрополь – в письме к дяде, генералу Петрову («… благословил, во-первых, всемогущего Аллаха, разостлал ковер отдохновения, закурил чубук удовольствия и взял в руки перо благодарности и приятных воспоминаний»)[5]. Приехал еще не насовсем – еще только проездом в «гродненские гусары»… Во всяком случае, ссылка за стихи на смерть Пушкина осталась позади.

(Заметим в скобках, время этой ссылки – самый смутный период в смутной биографии Лермонтова. – *Б. Г.*)

«Первые дни после приезда прошли в беспрерывной беготне: представления, парадные визиты… да еще каждый день ездил в театр…» И лишь где-то совсем с краешку этой суеты, как часто у Лермонтова – примостилось нечто важное:

«Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе, „Тамбовскую казначейшу“: он повез ее Вяземскому, чтоб прочесть вместе; сие им очень понравилось – и сие будет напечатано в ближайшем номере „Современника“…» Это из письма к Марии Александровне Лопухиной.[6]

С некоторых пор письма в дом Лопухиных – кому бы то ни было – всегда имеют в виду, втайне, и даже, вероятно, в первую очередь, еще одного адресата: Варвару Александровну, сестру Алексиса и Мари – ту самую Вареньку Лопухину, что в 35-м вышла замуж за тамбовского помещика Бахметева. Кстати, именно из письма, о котором речь, мы и узнали в итоге, *где* же происходит действие поэмы. (Поэма вышла в свет без поименования места: просто «Казначейша» – без «Тамбовской».)

Вообще к письмам Лермонтова нужно подходить с осторожностью! Ему трудно верить на слово. Его письма приходится дешифровывать сперва – а потом уж комментировать. Ими трудно располагать как чистым документом. Но данное письмо…

«В заключение посылаю вам стихотворение, которое я случайно (!) нашел в моих дорожных бумагах и которое мне даже понравилось именно потому, что я забыл его (!)…»

(Восклицательные знаки, конечно, расставлены нами. – *Б. Г.*)

Молитва странника

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного…

Когда «вручают» чью-то душу «теплой заступнице мира холодного» – не лгут в соседних строках: сам контекст стихов служит порукой достоверности эпистолярной прозы.

И тут мы временно свернем с тропы сюжета о несчастной любви и ступим на другую, чисто литературную.

Пока оставим в покое саму поэму про «тамбовскую казначейшу». Место ее в лермонтовской «игре стеклянных бус» неопределенно по сей день. Возможно, здесь «магистр игры» сделал ход, непонятный до конца и ему самому… Поэму с самого появления на свет без прекословий отнесли к аналогам таких же «шутейных поэм» Пушкина (с местом которых, правда, и в пушкинском литературном ряду тоже понятно не все).

Но история литературы – еще и история психологии времени, историческая психология и много чего еще. История контекстов, в частности. И мы должны отдать дань последней. Или последним.

Следует обратить внимание на почти ритуальность первого лермонтовского шага в Петербурге: молодой поэт, который впервые заявил о себе в обществе стихами на смерть Пушкина и пострадал за них, по возвращении из ссылки первым долгом почтительно несет новую вещь, написанную им, не куда-нибудь, а в журнал Пушкина: Жуковскому и Вяземскому… Тем, кто, конечно, с полным основанием могут считать себя – и считают – прямыми душеприказчиками Пушкина на земле. (Правда, непосредственно журнал ведет Плетнев. А другие, как сказали б в наше время – лишь *входят в редколлегию*.)

Поэма Лермонтова начиналась словами:

Пускай слыву я старовером,
Мне все равно – я даже рад:

Пишу Онегина размером,
Пою, друзья, на старый лад…

Это звучало почти как присяга на верность. Как целование знамени…

В последнем по времени «академическом» комментарии к поэме читаем:

«„Тамбовская казначейша“ по жанру продолжает традицию шутливых реалистических поэм Пушкина – „Граф Нулин“ и „Домик в Коломне“. В стихах заключительной строфы содержится не только **декларация** *Лермонтова об отходе его от эстетических норм романтической поэзии*, но, возможно, полемика с „Северной пчелой“. Ведь именно Булгарин, возражая Гоголю, прямо призывал: „Давайте действия, давайте страстей“ и утверждал, что тогда-то „поэзия воскреснет“. Лермонтов иронически откликнулся в своей поэме на эти слова Булгарина. Так *поэт продолжал литературную борьбу, начатую Пушкиным, за реалистическое, лишенное экзотики и мелодраматизма изображение повседневной действительности*»[7].

Не забудем, что Лермонтову еще предстоит создать или издать «Мцыри», «Демона», «Бэлу» и много еще чего – в этом самом не «лишенном вовсе экзотики и мелодраматизма» и осмеиваемом автором комментария «романтическом» духе. Потому я б не стал так быстро отлучать его от романтизма. Будем считать, что «это позволяет говорить о существовании в творческом методе Лермонтова романтических и реалистических начал»[8]. Бог с ним!

Однако… в этом месте истории и возникает «панаевский эпизод» биографии Лермонтова – вообще-то небогатой событиями именно чисто литературными. Или связанными с литературной средой и «литературным бытом».

Поэма вышла в свет где-то в июле 1838-го – цензурное разрешение от 1-го числа – в журнале «Современник», том 11, № 3 – и сильно потерпела в цензуре (якобы в цензуре) – начиная с названия: город Тамбов стал просто Т., а безликие черточки там и сям заменяли выброшенные строки.

«…я застал Лермонтова у Краевского в сильном волнении. Он был взбешен за *напечатание без его спроса* „Казначейши“ в „Современнике“, издававшемся Плетневым. Он держал тоненькую розовую книжечку „Современника“ в руке и покушался было разодрать ее, но Краевский не допустил его до этого.

– Это черт знает что такое! позволительно ли делать такие вещи! – говорил Лермонтов, размахивая книжечкою… – Это ни на

что не похоже!

Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке „Современника“, где была напечатана его „Казначейша“, набросал какую-то карикатуру…»[9]

Сегодня, больше 170 лет спустя, как тогда Панаеву, – гнев Лермонтова кажется нам каким-то ненатуральным. «Таков мальчик уродился…» Но… не мальчик же он был, в самом деле, чтоб не знать – как поступают в цензурном ведомстве с произведениями литературы? И сам он только что воротился из ссылки за стихи. Так что, при чем тут Жуковский, Плетнев?.. Почему весь гнев пал именно на издателей «Современника»? Столь яростный, что Панаеву как случайному свидетелю – показалось даже, что поэму напечатали «без его спроса». Какой там – «без спроса» – сам отнес! Хвалился в письме к друзьям, что приняли, что понравилось. Обычный комментарий к этому эпизоду гласит, что «раздражение Лермонтова было вызвано тем, что Жуковский не поставил его в известность о цензурных искажениях в поэме»[10]. Но это объяснение так же взято с потолка – как панаевское! Поставил в известность, не поставил – а мы откуда знаем?

И еще одно! Что русская цензура могла на всякий случай убрать город Тамбов, заменив безличным «Т» – тут сомненья нет. Могла! У ней и полтора века спустя была эта медвежья болезнь: боязнь всякой конкретики. Но что еще мы знаем? «Автограф неизвестен. Сохранились лишь черновые наброски „посвящения“ и двух строф (LI–LII)»[11].

Черновиков нет, цензурного экземпляра нет, ничего нет – и кто и что «марал» в поэме – неясно! И вторично напомним, что журнал вел Плетнев. И взгляд на поэму он мог обнаружить иной – чем Жуковский и Вяземский.

«Между тем Лермонтов был возвращен с Кавказа и, преисполненный его вдохновениями, принят с большим участием в столице, как бы преемник славы Пушкина, которому принес себя в жертву»[12] – таково, вероятно, было ощущение не только современников, но и самого Лермонтова!

Дальнейшая история проста, примитивна… И нужно лишь обратить внимание на некоторые детали.

Место действия «панаевского эпизода» – кабинет издателя А. Краевского. Время действия – июль 38-го. (Лермонтов к этому времени уже окончательно воротился в столицу – в свой прежний Царскосельский полк.) Краевский, в сущности, скорей всего – уже занят подготовкой нового журнала. Который начнет выходить в свет с начала 39-го, «Отечественные записки». Там будет напечатан весь «главный» Лермонтов. Последнего, самого зрелого

его периода…

И журнал с первых страниц, и Лермонтов – с первых номеров – попытаются взять слово от лица нового поколения. Наследующего пушкинскому – но *другого*… По системе поведения и системе ценностей. Этически и эстетически иного… С начала выхода в свет журнала под руководством Краевского Лермонтов напечатает здесь: **«Думу»** (том 1), **«Поэт»** (том 2), **«Не верь себе»** (том 3)… Вот в такой последовательности. – Целый манифест новой литературы в стихах!

Нужно сказать еще – Лермонтов, как ни странно, при его взрывчатом характере – не был «партизаном» тех или иных литературных партий. Не вел полемик, не писал критик… даже в письмах их нет. (Там он вообще почти не говорит о литературе. А чтоб он написал о чем-то какое-то впечатление свое!) Он был в литературной борьбе как-то странно миролюбив – свойство, которым не отличался во всем прочем. – Он не вел этой борьбы, она была чужда ему. Обругал его «Москвитянин» в статье Шевырева – а он в ответ передает в «Москвитянин» стихотворение «Спор»… Там принимают с благодарностью. Инцидент исчерпан. Но… «Современник» в этом смысле сделался исключением…

Больше Лермонтов до смерти никогда не печатался – в бывшем журнале Пушкина!

2

«Поэт» – странное стихотворение. И странно в нем более всего то, что оно ровным счетом никому таковым не кажется. Ну, прежде всего, конечно – само основополагающее сравнение «кинжал – поэт».

Аллегория надуманная. Или она таит в себе какие-то иные смыслы.

«Граф любил сопрягать отдаленные предметы», – заметил где-то Тынянов по поводу графа Хвостова (приведя в пример, кажется, басню «Лиса и пила»). Только Лермонтов – отнюдь не граф Хвостов!

Правда, Лермонтов вообще-то не отличается как-то особой новизной – сравнений, уподоблений. Не стремится эпатировать их экстравагантностью. Аллегории его, как правило, просты – даже примитивны. «Дубовый листок оторвался от ветки родимой…» «Тучки небесные, вечные странники…» «Три пальмы»… Весь вопрос в том, какую поэтическую нагрузку они несут.

И первое, на что следует обратить внимание в «Поэте», – вычурность центрального образа. Мысль о кинжале – не самое

естественное, согласитесь, что приходит в голову в соотнесении с поэтом! Но Лермонтов настаивает на этом сравнении – и самой композицией стихотворения. Оно как бы сплетено из двух разных частей – лишь авторской волей сопряженных друг с другом. Четко делится на две части: и в первой – речь исключительно о кинжале, а во второй, так же четко – о поэте. И подано все так – будто это само собой разумеется.

Вспомним, кстати, что в том же году, едва ль не в те же месяцы (может, даже дни) Лермонтов пишет еще один «Кинжал» – связь которого со стихотворением «Поэт» – едва ли менее явственна, чем у раннего «Поля Бородина» с самим «Бородино»… Кстати, привычный лермонтовский способ работы – вариативный. (К примеру, «Памяти Одоевского» – известные стихи, посвященные сиюминутному событию, потере друга, – и в них вплетаются строки из давнего юношеского стихотворения 32 года.)

Единственное, что можно сказать твердо, что первый «Кинжал» написан, верно, еще в «странствии»… (Говорят, в самом деле был такой кинжал, подаренный Лермонтову в поездке, – и он привез его с собой в Петербург.)

Что «Кинжал» и «Поэт» – в первой его части – два напева одной и той же темы, и что в «Поэте» определенно идет ее перепев – в том легко убедиться, положив рядом оба стихотворения. (Ну пусть в первом «Кинжале» – все проще, примитивней – хоть не сказать: ясней.) Литература, как и музыка, – профессия не столько «мотивов» – сколько разработок. В «Кинжале» автор повернул сперва к «лирической теме» («Лилейная рука тебя мне поднесла…»), но почему-то остановился. И пошла другая тема…

> Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
> И страннику в тебе пример небесполезный:
> *Да, я не изменюсь и буду тверд душой,*
> *Как ты, как ты, мой друг железный.*

А кому эта клятва в верности и чему – и кому (или чему) она противостоит – неизвестно. Знаем лишь, что на обороте листа с черновиком первого из «Кинжалов», может, случайно, может, нет, – идет Посвящение к «Тамбовской казначейше»!

В единственный прижизненный сборник «Стихотворения М. Лермонтова» первый «Кинжал» не вошел, как и «Поэт». Почему? Но дальнейшая разработка мотива приняла неожиданный оборот.

3

В стихотворении **«Поэт»** «биография» кинжала составляет 24 строки – из 44, – ну а дальше – 20 строк о поэте.

Если просто считать, что «Л. синтезировал в стих. целый комплекс идей, обсуждавшихся в рус. и европ. лит-ре, публицистике и философии его времени» и все сводится к тому, что «он сурово осуждает современную поэзию, к-рая…» и т. д. (ЛЭ)[13] – тогда нам приходится признать, что поэт сочетал две совершенно разных поэтических мысли – и произвольно свел их в одну по принципу «лиса и пила». Или… нам следует отнестись со всей серьезностью к замечанию Э. Г. Герштейн о «непонимании полемической направленности *многих* (подчеркнем! – *Б. Г.*) поздних произведений Лермонтова»[14].

Произведение литературы – как всякий культурный феномен – и слава Богу, и к сожалению (одновременно) – рождается не «вообще», в воздухе – а в неком поле напряжения – в контексте. Которым принято клясться – не слишком отдавая себе отчет в сущностях. Меж тем сущности эти различны – и сам контекст не один, их много… И даже количество их меняется во времени. Когда мы произносим это слово – «контекст» – мы говорим об уравнении, где число неизвестных – тоже входит в число неизвестных.

Есть контекст культурный, литературный… Это и творчество самого художника, и общехудожественный процесс в каждый данный момент. Есть контекст жизненный – временной: биографический, бытовой, социальный, политический… И про него или про них не скажешь, что их так легко определить. Есть временной контекст *стойкий* и есть *подвижный*. Эпоха Николая I, к примеру, – это *стойкий контекст*, целых тридцать лет. А *подвижный* за это время сто раз менялся… И сам Николай менялся, и время менялось… Иногда нельзя вспомнить, что было на прошлой неделе, – каково же следить изменения в контексте с расстояния в несколько эпох?.. С литературной «составляющей» – к счастью, все проще! Она остается во времени, она зафиксирована на бумаге. Здесь легче следить «лестницу контекстов» (выражение Е. Эткинда).

К примеру, «Поэт» Лермонтова нельзя рассматривать вне сопредельных ему – «Думы» или «Не верь себе»… Но нужно попытаться представить себе и Время (с большой буквы), и вполне конкретный, исчезающе малый временной отрезок, сопровождавший появление стихотворения: а) под пером автора; б) в «Отечественных записках», начавших выходить под новой редакцией – А. Краевского…

«Кинжал и поэт»?.. Смутная ассоциация носится в воздухе – и вскоре садится к нам на плечо…

Твой стих свистал по их главам,
Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-эвмениду!

Пушкин! «**Андрей Шенье**»[15]. Ода, стоившая Пушкину крупных неприятностей – года два спустя после написания, когда не пропущенные цензурой строфы как-то случайно стали расходиться в списках – и под многозначительным названием «На 14 декабря». («Дело кончилось в Государственном совете в июле 1828 г. учреждением секретного полицейского надзора за Пушкиным».)[16]

Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих…

Это повторяющееся пушкинское притяжательное «твой» – так естественно, по ритму и смыслу – переходит в лермонтовское:

Твой стих, как Божий дух, носился над толпой;
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.

Между прочим, Лермонтов в жизни еще не раз воспользуется этим приемом. Как бы «договариванья» за кого-то… Особенно за Пушкина. Что ж! Как скажет много позже Хемингуэй – «иногда родится писатель лишь для того, чтоб подсказать другому одну фразу».

Если отбросить мысль о том, что эти стихи – полнейшая

абстракция, что они – лишь «синтезированный в стих. комплекс идей», – а представить себе, что они, напротив, абсолютно конкретны – то есть имели конкретный смысл (и адрес), – о ком еще в русской поэзии того времени можно было такое сказать?

Вспомним, что Пушкин не скрывал «автобиографичности» «Андрея Шенье». Он писал Плетневу из Михайловского – узнав о смерти царя Александра в канун и в ожидании общественных потрясений: «Душа! я пророк, ей-богу, пророк! Я „Андрея Шенье“ велю напечатать церковными буквами во имя Отца и Сына etc. Кстати: Борька также вывел юродивого в своем романе. И он байроничает, описывает самого себя!..»[17] Пушкин не скрывал, что «байроничает», что описывает себя; хоть вряд ли не сознавал, что стихи не вовсе удались, что «Шенье» – стихотворение само по себе слабое, несколько косноязычное… Имея в виду некую пушкинскую планку, разумеется! («Суди об нем, как езуит – по намерению…» – писал Пушкин Вяземскому).[18] И все же дорожил им, несомненно – его общественной значимостью – и «описанием самого себя» в нем. Лермонтов всего этого, конечно, не знал. Но догадываться о связи «Андрея Шенье» с биографией его автора – это слишком на поверхности, и, чтоб это понять – не надо быть Лермонтовым.

К тому ж и у самого Пушкина тоже было два «Кинжала». Один – стихотворение 1821 года, посвященное «кинжалу Занда», – теракту, как сказали б нынче, немецкого студента Занда против «реакционного писателя Коцебу»[19]. «Лемносский бог тебя сковал // Для рук бессмертной Немезиды…» Стихотворение, какое в России, в советскую пору, любили относить к «вольнолюбивой лирике Пушкина».

Ритмическая и образная связь этого раннего пушкинского «кинжала» с «кинжалом» из «Андрея Шенье» и со всей одой «Шенье» – слишком очевидна. Даже неудобно приводить примеры…

> Апостол гибели, усталому Аиду
> Перстом он жертвы назначал,
> Но высший суд ему послал
> Тебя и деву Эвмениду.

(Но это означает и связь с «Кинжалом» и «Поэтом» Лермонтова!)

Начало наших размышлений сопровождал Б. Эйхенбаум. Это он счел аксиомой, что некоторые совпадения в тексте начальных глав «Героя нашего времени» с пушкинским «Путешествием в Арзрум» – не что иное, как «дань памяти великого писателя»… А

почему Лермонтов прямо не сослался на Пушкина? Сам Эйхенбаум признает, что в другом месте романа – в «Княжне Мери» – Лермонтов спокойно цитирует Пушкина! И все же, чтоб сделать свой «один существенный вывод» – Эйхенбаум хватается за спасительную для всех соломинку: проклятый царский режим – то бишь причины цензурного порядка: «потому, что „Путешествие в Арзрум“ (а отчасти и имя Пушкина) было почти запретным», – утверждает Эйхенбаум. – А что, когда писалась «Княжна Мери», оно вдруг перестало быть запретным?

Мысль о «запретности Пушкина» требует рассмотрения. Тут классический сдвиг по отношению к *временному контексту*.

Трудно спорить с мифами! И с заблуждениями многих десятилетий…

Ни Николай I, ни Бенкендорф – привычные персонажи страшных сказок российской истории и литературы – не были заинтересованы впрямую в гибели Пушкина. Во всяком случае, Николай был очень возмущен тем, что Пушкина убили! Это была его собственность. «Фасад царства». Он его приручил – ценой, как он полагал, огромных трудов. Но еще больше царь был напуган тем, что створилось в России после этой смерти – особенно в столице… Он считал Пушкина своей игрушкой – а она, оказалось, принадлежит всем. Обществу! Слово, которое Николаю было недоступно и отвратительно – как, впрочем, и более поздним русским правителям. (В сущности, вся «история государства Российского» – во всяком случае после Петра, а может, еще с Ивана Грозного и по сей день, – это история борьбы с нарождающимся гражданским обществом.)

С этим испугом правителей России тотчас после смерти Пушкина – и был связан краткий период «запрета на Пушкина» – который длился всего-то два-три месяца после гибели поэта. Почему так мало?.. Да потому, что вскоре стало ясно – что мертвый Пушкин куда удобней, чем живой. Нужней! Для тех же самых целей «государственного строительства». (Что всегда занимало правящих людей – и, право, не только в России – куда больше всей поэзии на свете!)

И так вышло… Что Лермонтов уезжал в ссылку от одной «пушкинской ситуации» – а вернулся к другой. Был сослан за стихи на смерть Пушкина и уезжал, когда, в самом деле, «Пушкин был почти под запретом». А вернулся к другому Пушкину: общепринятому. Уютному. Удобно уложенному среди прочего в прокрустово ложе Собрания сочинений, издаваемого Жуковским по постановлению «опеки, учрежденной свыше» над имуществом Пушкина. В том 38 году, за которым мы следим, – вышло 8 томов. (После, в 41-м, Лермонтов уже не доживет до этого, выйдет еще

три.)

«Многие стихи Жуковский переделал, некоторые смягчил или вовсе опустил…»

> И долго буду тем любезен я народу,
> Что чувства добрые я лирой пробуждал,
> Что в мой жестокий век восславил я свободу
> И милость к падшим призывал…[20] —

превратится в эти дни в «И долго буду тем народу я *любезен* // Что прелестью живых стихов я *был полезен*…» Всего только несколько месяцев прошло – а Лермонтов вернулся уже в эпоху «полезного Пушкина».

…Которого теперь кинулись активно читать во дворце, а «Современник» там стали именовать не иначе как «наш журнал» (замечание Э. Герштейн). Нужно добавить – последнему обстоятельству очень помогали дворцовые должности – и Жуковского, и особенно Плетнева. И методы редактуры Плетневым «Современника». Что при этом погублен был журнал, какой задуман был Пушкиным, – это другой разговор.

Не будем винить – того же Жуковского: он спасал, как мог, – и то, что мог спасти. В конце концов он заботился об осиротевших детях Пушкина. И его посмертной славе, которая ему казалась надежней – под сенью царских врат. Пусть так!

Но что должен был думать Лермонтов, который всего несколько месяцев назад стоял под судом, чуть не угодил в Сибирь или под разжалование – только за несколько смелых строк в защиту Пушкина – и этой самой пушкинской славы?..

В новом собрании Пушкина, которое выходило теперь, – не могло быть никакого запретного Пушкина. Опального. Мог быть только тот, на которого сверху взирали благосклонно. И это резко меняло акценты!

В сущности, на глазах у публики лепился новый образ Пушкина. Причесаны были его негритянские вихры…

Что-что – а пушкинский «самиздат» Лермонтов отлично знал! – То, что ходило в списках. Может, не весь, но… Историю с «Андреем Шенье» знал наверняка. И выброшенные строки тоже. И ранний пушкинский «Кинжал» – и так далее. Об этом говорят оба стихотворения его собственных: и просто «Кинжал», и первая часть «Поэта».

Откуда-то ведь рождалась вдруг эта неожиданная клятва в первом стихотворении?

> Да, я не изменюсь и буду тверд душой,

Как ты, как ты, мой друг железный. —

Такая странная и такая чуждая всему лирическому строю предыдущих стихов. Кому он давал ее?.. Ну хорошо, он, Лермонтов, – не изменится. А кто изменился?..

Покуда выходит в свет восьмитомное собрание сочинений Пушкина, исправленное – и даже чуть дополненное Жуковским. Где не будет «Кинжала» 21 года. И многого другого… И даже «Путешествия в Арзрум».

Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный;
Игрушкой золотой он блещет на стене —
Увы, бесславный и безвредный!

Есть в «Поэте» какая-то затаенная личная обида – которую, как ни тщись, – не спрятать никак:

Но скучен нам простой и гордый твой язык, —
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны…

Еще очевиднее – в последней строфе… В той, что смутила Белинского «ржавчиной презренья». Скорей всего, потому, что он так и не понял – о чем – верней, *о ком* идет речь.

Проснешься ль ты опять, *осмеянный пророк*?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

Как тут было не заметить «пророка» пушкинского? И мысли о том, что великий учитель ушел из жизни «осмеянным пророком»? Но самые естественные мысли обычно приходят в голову в последнюю очередь.

К теме того «Пророка» Лермонтов вернется еще – под занавес. Перед самым финалом.

Во всяком случае, «Поэт» возник не один, не сам по себе – но в цикле: «Дума», «Поэт», «Не верь себе». Это – грозный цикл. Отчаянное соседство.

Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом…

«Поэт» будет напечатан следом. «Поэт» – покуда спор еще не с самим Пушкиным, но с тем, что пытаются *сделать* из него – с интерпретациями его… Впрочем…

И прах наш с строгостью судьи и гражданина
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Дума

Вряд ли кто мог ожидать, что человек, осмелившийся произнести столь жесткий приговор своему поколению, – окажется более милосерд – к поколению отцов!

Глава вторая
Два предисловия к двум романам

1

Если бы был составлен частотный словарь языка не только Пушкина – но всего пушкинского поколения литературы – слово **«вдохновение»**, несомненно, заняло б там одно из самых почетных мест.

А потом является поэт, который говорит:

> Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
> Как язвы, бойся вдохновенья…
> Оно – тяжелый бред души твоей больной
> Иль пленной мысли раздраженье.
> В нем признака небес напрасно не ищи… —

Ну и так далее!

Что эти стихи имеют прямое отношение к знаменитому пушкинскому «**Поэт и толпа**» – не сомневались даже и такие сторонники прямого и бескровного процесса «лиронаследия». В самом деле, здесь как бы от имени Толпы в ответ на пушкинское:

> Подите прочь – какое дело —
> Поэту мирному до вас!
> В разврате каменейте смело:
> Не оживит вас лиры глас!..[21]

выдвигаются другие резоны – от лица Толпы. Достаточно жесткие, между прочим:

> Какое дело нам, страдал ты или нет?
> На что нам знать твои волненья,
> Надежды глупые первоначальных лет,
> Рассудка злые сожаленья?
> Взгляни: перед тобой играючи идет
> Толпа дорогою привычной;
> На лицах праздничных чуть виден след забот,
> Слезы не встретишь неприличной.
>
> А между тем из них едва ли есть один,

Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты!..

Невольно приходилось признать, что «Герцен был прав: Лермонтов не мог уже, как Пушкин, „спастись в лиризме“. Он берет под подозрение самую основу прежней лирики – „вдохновение“, он сомневается в самой возможности передать значение „простых и сладких звуков“ (ср. у Пушкина: „Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв“). Это не отрицание поэзии вообще, а недоверие к традиционной лирике, подсказанное требованием правды. Требованием не показного, не кокетливого, а строгого искусства, учитывающего действительность»[22].

Советские литературоведы – даже такой высокой пробы, как цитируемый автор, невольно отдавали (должны были отдавать) – дань вульгарному социологизму. И той особой форме социальной романтики, когда с истинным удовольствием воспринимался всякий факт «народности» мышления. (И принято хвататься за этот факт.) Лермонтов защищает народ – «толпу»? И даже от Пушкина? Браво, Лермонтов!

Хотя «Не верь себе» по природе гораздо сложней – чем просто эпизод полемики, пусть хотя бы и с Пушкиным. Это, в сущности, начало выстрадывания (Лермонтовым) нового «воззрения» – философского, этического, эстетического, – где важнейшим элементом станет то, что вослед Жуковскому Гоголь назовет, в применении к Лермонтову, – «безочарованием». (Вопреки «очарованию» – очарованности – Шиллера или Пушкина – и «разочарованию» Байрона.) «…Если бы только сохранилось в нем самом побольше уваженья и любви к своему таланту, – вздыхал Гоголь. – Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов…»[23] Это «безочарованье» было, на самом деле, сомненьем – в способности поэта, лирики, лирического волнения – стать инструментом познания человека и мира. Гоголю, в соответствии с его «воззреньем», – это показалось слабостью Лермонтова. Но это было, похоже, его главной силой. И уж точно – главным источником его поэтического несходства со всеми. Но в этом смысле, скажем – и забегая чуть вперед, – Лермонтов сомневался не только в Пушкине, но и в себе самом!

«Не верь себе» являет нам возможность узреть, в какой мере и столетья спустя – а теперь гораздо боле – «нас тешат блестки и обманы». И как мы способны, едва ступив на край истины, –

тотчас отшатнуться от нее…

Замечательный филолог, а таким был Б. Эйхенбаум, – готов признать, что Лермонтов «не отказывается от основных принципов своей художественной системы и даже продолжает своего рода историческую полемику с Пушкиным, но (следовало затем. – *Б. Г.*)… исходными точками его дальнейшего пути становятся намеченные Пушкиным темы, образы и жанры. „Евгений Онегин“, „Домик в Коломне“, „Повести Белкина“, „Путешествие в Арзрум“ – такова литературная основа его новой работы»[24].

Эта мысль из статьи 1941 года в «Литературном наследстве» (первый Лермонтовский том) нигде, сколько нам известно, по-настоящему не была опровергнута.

(Мы далее увидим – к каким фантазиям для ее защиты должен был прибегать сам автор ее.)

Воистину, только греки способны были признавать, что боги на Олимпе тоже ссорятся меж собой и во всем остальном ведут себя как обычные люди. Что там вовсе не царят – *мир и благоволение*…

«– Беги, Александр, – тебе Державин лиру передает!» «Пистолетный выстрел в Пушкина пробудил душу Лермонтова» – ну и так далее… (О, эти вечные российские побудки!) На это «представление о преемственности, о мирной последовательной эволюции от Пушкина к младшим явлениям» – указывал еще Тынянов. «В результате история литературных отношений окрашивалась розовым цветом. Старший поэт не только принимал нового замечательного (при этом, как гласит легенда, внезапно явившегося) поэта, но и благословлял его приход – „передавал ему лиру“. А между тем здесь, в этой трогательной схеме проявляется удивительная слепота на факты…»[25]

Действительность – как всякая действительность – была куда грустней. Суровей – чтоб не сказать – проще, жесточе!..

2

«Напечатано при первой главе „Евгения Онегина“» – пометил Пушкин в бумагах непосредственно при стихотворении **«Разговор книгопродавца с поэтом»**. Будто напоминал. Хотел подчеркнуть…

С тех пор, как появилось позднее Посвящение к «Онегину»: «Не мысля гордый свет забавить…», все привыкли к тому, что оно есть, и стали принимать его за полноправное предисловие к роману, хотя это не так. Начисто забывалось, что существовало некогда уже одно предисловие. Известное нам как «Разговор

книгопродавца с поэтом». И что смысл его состоял лишь во вторую очередь в споре – Искусства с Рынком, Поэзии с Корыстью. Но главное – там было обозначено художественное кредо автора той поры. И что таково было *назначение этой публикации* – «при первой главе „Евгения Онегина“».

20 марта 1840-го, на Арсенальной гауптвахте в Петербурге, в ожидании суда за дуэль с де Барантом, Лермонтов пишет свой диалог в стихах: **«Журналист, читатель и писатель»**.

Лермонтов сидит на гауптвахте, а в типографии печатается его роман. Тот самый! Который довольно скоро назовут основой русской прозы. Во всяком случае, прозы психологической. Но он еще не знает об этом и сомневается – как всякий автор. Пушкин тоже сомневался – когда готовился выдать в свет свою первую главу… И если мы вспомним, что существующее Предисловие к роману Лермонтова появится лишь во втором издании… Перед нами – первоначальное и истинное Предисловие к «Герою нашего времени». Ситуация схожа до тождества. (Иногда уже начинает раздражать – это упорное стремление нашего героя ступать след в след Пушкину!)

Меж тем «Разговор книгопродавца с поэтом» тоже не принято слишком связывать с «Онегиным» – в редких комментариях укажут тебе на эту связь. А уж «Журналист, читатель и писатель» Лермонтова в связи с «Героем» почти вовсе не рассматривается. Хотя ни для кого не секрет – время и контекст написания его…

«В стихотворении поставлен центральный для поздней лирики Лермонтова вопрос о судьбе поэта в обществе. Следуя Пушкину („Поэт и толпа“, „Поэт“, „Разговор книгопродавца с поэтом“), в постановке этой темы Лермонтов еще более драматизирует ее…»[26] Вот все, что-то в этом роде! (Из последнего по времени собрания, близкого к академическому.)

Потому-то еще меньше оказалось желающих положить рядом эти два стихотворения. Рассмотреть их в этом качестве *двух предисловий к двум романам*.

Как мы сказали ранее, Пушкин не просто спорит с Книгопродавцем «о месте поэта». Он выражает некую общую концепцию творчества. Духа. Ругает Толпу – почти как в более позднем и помянутом нами уже – стихотворении «Поэт и толпа». Там мы прочтем: «Душе противны вы, как гробы // Для вашей глупости и злобы…» и так далее. А в «Разговоре книгопродавца»:

> Блажен, кто про себя таил
> Души высокие созданья
> И *от людей, как от могил*,
> Не ждал за чувство воздаянья.[27]

А что по этому поводу думает Лермонтов, мы как бы рассмотрели уже («Не верь себе»).

Автор «Разговора книгопродавца» отрицает также любовь – как стимул творчества и «вниманье красоты», какое он искал прежде, и прежних «муз»…

Книгопродавец спрашивает его:

Теперь, оставя шумный свет,
И муз, и ветреную моду,
Что ж изберете вы?

Поэт
Свободу.

Правда, Поэт Пушкина несколько сужает это понятие *свободы*. Ибо страницей раньше убеждает нас в том, что речь идет больше все-таки о «покинутых музах». О женщинах, не понимающих Поэта.

…Теперь в глуши
Стон лиры верной не коснется
Их легкой ветреной души;
Не чисто в них воображенье;
Не понимает нас оно,
И *признак Бога, вдохновенье,*
Для них и чуждо? и смешно…

Но стоит обратить вниманье: слово «вдохновенье» звучит здесь в стихотворении уже в третий раз! То самое слово, которого, по Лермонтову, следует «бояться, как язвы».

«В нем *признака небес* напрасно не ищи!..» – говорил он («Не верь себе»). А Пушкин уверяет нас, что оно – «признак Бога»!

Почему-то никогда и никому не приходило в голову спрашивать у Пушкина – кто есть кто в этом его стихотворении: кто – «Книгопродавец», а кто – «Поэт»?.. И это было б, между прочим, не безынтересно, ибо финальная «сдача» Поэта резонам Книгопродавца – не просто торгаша от литературы, но представляющего собой торгашеский век («век-торгаш» – по Пушкину), – в сущности, и есть наступление житейской прозы: не только на поэта – на человека вообще, – мысль, которая пронижет собой «самое задушевное произведение Пушкина». И

стихотворение, в этом плане, выполнит еще роль *предуведомления* читателя – о чем роман… Кроме того, тут в образе Поэта происходит нечто вроде предварительного представления двух из четырех главных персонажей романа: Автора и Ленского… (Пока безымянным – еще до первого появления его во Второй главе.) И более того, тут на наших глазах происходит как бы расщепление образа: отделение Автора от Ленского. «Рождение Ленского из ребра» – Автора…

Ну а у Лермонтова *кто есть кто* – стали спрашивать чуть ли не с появления этих его стихов на свет – и тут открылись поразительные возможности догадок и домыслов!

Во-первых, стихотворение Лермонтова, признаемся, сложней пушкинского. Хотя бы по количеству персонажей: их трое вместо двух, и все несут в себе какие-то истины – и сложность увеличивается естественно.

А во-вторых… сами «истины», какими порой они начинают оперировать у Лермонтова, – все какие-то неочевидные!

Ну, в самом деле – произносит человек, персонаж, Читатель – важные и прекрасные слова:

> Когда же на Руси бесплодной,
> Расставшись с ложной мишурой,
> Мысль обретет язык простой
> И страсти голос благородный?

Все критики довольны – от Белинского до Николая I и советских литературоведов. Те вообще готовы были признать в Читателе предтечу соцреализма и прямого протагониста автора, его alter ego… Но и Николай I считал себя «государем народным».

Да, но кто ж тогда Писатель? И потом… Читатель в стихотворении, вкупе со своей «народностью» и тягой к простым страстям – как персонаж, несет такое!..

> И я скажу – нужна отвага,
> Чтобы открыть хоть ваш журнал
> (Он *мне уж руки обломал*):
> Во-первых, серая бумага,
> Она, быть может, и чиста;
> *Да как-то страшно без перчаток…*

Такой дешевый аристократизм – который, что греха таить, был свойствен «пушкинскому кругу писателей» – за что им крепко доставалось порой, и не всегда несправедливо. Кроме того, они

частенько здесь себя подставляли под удары – Булгарина, например, и делали себя из правых – неправыми.

…Вряд ли Лермонтов говорил бы так от собственного лица! И все это в речах Читателя – вперемежку – с упреками в «сотнях опечаток», в «недочете в рифмах» и в «пустоте стихов». Пройдет немного лет – 120 примерно – и Эмма Герштейн обнаружит, что всё это или почти всё – прямая цитата – из письма кн. П. А. Вяземского к А. Готовцевой, в свое время опубликованного князем в периодике! Право зваться «Журналистом» в этом диалоге дружно разделят меж собой (под пером разных исследователей) В. Белинский и Н. Полевой… Ну, будет маячить еще на горизонте Сенковский. – А вопрос (кто Поэт) ах, простите – Писатель, конечно! – Лермонтов как-никак печатает в этот момент роман в прозе, не в стихах! – так и останется открытым.

Уж если можно высказать столь дикую мысль, что, печатая «Героя нашего времени» – и создавая вроде бы стихотворное Предисловие к нему (что бесспорно!), – Лермонтов самого себя изобразит в роли Читателя… то ничего удивительного – если Писателю он придаст черты, например, Хомякова. Так какое-то время думал Эйхенбаум, который нигде далее не вернулся к этой мысли, но и нигде не отказался от нее. Правда, никому не понятно, почему, выдавая в свет свой роман, Лермонтов должен говорить от лица… Хомякова. Но, конечно, всё запутал сам автор! Эти «намеки тонкие на то – чего не ведает никто»… и полемические выпады, какие трудно расшифровывать!

Нет слов – диалог на то и диалог, что он – диалектичен! И со времен Платона или ранее, так или иначе – всякий автор диалога выражает в нем себя и в каждом персонаже себя – даже как своего антипода или свою иронию над кем-то.

В этом смысле и Пушкин, и Лермонтов шли в своих двух диалогах одним и тем же путем: и Книгопродавец пушкинский формулировал, в какой-то мере, спор автора с собой, и во всех трех персонажах Лермонтова есть сам Лермонтов. И все-таки… В первом случае Пушкин рисует нам в Поэте – не Пушкина А. С., сына Сергея Львовича и Надежды Осиповны. – но *образ* поэта, каким этот образ видится ему в данный момент; а Лермонтов, в свой черед, проделывает то же самое – создавая Писателя. И вот тут и возникает «противуречие» – как говорили наши предки «к противуречию склонны»…

«Толпу ругали все поэты…» И Писатель Лермонтова ругает толпу, почему же нет? Но как-то странно ругает! То говорит:

> Зачем толпы неблагодарной
> Мне злость и ненависть навлечь,

Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?..

хотя и не советует нам, как Поэт Пушкина, – «от людей, как от могил, не ждать за чувство воздаянья…», и не говорит этой «толпе»: «душе противны вы, как гробы…» А потом вообще – делает поворот на 180 градусов, как свойственно его автору, – и утверждает уже нечто совсем иное:

…Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток?.. —

…являя нескрываемое участие по отношению к этой самой – «руганной всеми толпе» – и стремясь, как бы, оградить ее от разрушительной силы духа. А это – мысль, новая, свежая… ее не было *до* Лермонтова – и нескоро будет после! Да неизвестно – возникнет ли она в таком виде вообще? Нужно всю жизнь свою писать «Демона» – чтоб выразить ее!.. Такой путь к Толстому – и перепрыгнув Достоевского. Есть тут что-то, может, от возникшей у Гоголя периода – после Лермонтова, – боязни самого себя и собственной художественной силы. Но… все равно это иное – совсем иное! Тема, о которой нужно будет еще поговорить – возможно, весь наш длинный опус – в сущности, об этом. Только… не будем забегать вперед и обратимся прежде к двум явным сущностям, которые перед нами.

К главной части обоих стихотворений, которые, как мы сказали уже, представляют собой кредо двух авторов, – к двум главным персонажам: к Поэту Пушкина и Писателю Лермонтова.

Первое, что они высказывают, – оба, заметьте, в унисон! – сомнение*: стоит ли вообще* в данный исторический *момент писать?* И поскольку лермонтовское стихотворение лет на шестнадцать «моложе» пушкинского – то это обретает значение почти «вечной темы». И пушкинский Поэт вспоминает то время, когда писать имело смысл, и лермонтовский Писатель. Всем мнится некий идеальный вариант… Духовные условия, в которых творчество *возможно*…

О чем вздохнули так глубоко,
Нельзя ль узнать?

Покуда просто отметим этот оборот речи!

Поэт
…Я был далеко:
Я время то воспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.
Я видел вновь приюты скал
И темный кров уединенья,
Где я на пир воображенья,
Бывало, музу призывал.
Там слаще голос мой звучал;
Там доле яркие виденья
С неизъяснимою красой
Вились, летали надо мной
В часы ночного вдохновенья…
Все волновало нежный ум…

(Впрочем, эта, ставшая расхожей, строка принадлежит, скорей, Ленскому, чем Пушкину. Хотя… ею столько упивались, вынося в заголовки книг, статей, – порой создавалось впечатление, что к ней и сводилась, в сущности, вся поэтика Пушкина!)

…Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;

За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов иль вихорь буйный…

А лермонтовский герой – Писатель повторяет дважды: «О чем

писать?..» В первый раз, почти в начале диалога, на прямой вопрос Журналиста, просто повторяющий вопрос пушкинского Книгопродавца:

– Ну, что вы пишете? *нельзя ль*
Узнать?

Заметьте, он просто копирует вступительный вопрос Пушкина!

Писатель Лермонтова вполне мог бы здесь продолжить разговор с Книгопродавцем. Но он отвечает своему Журналисту:

– Да ничего…
– О чем писать? Восток и юг
Давно описаны, воспеты;
Толпу ругали все поэты,
Хвалили все домашний круг;

Все в небеса неслись душою,
Взывали с тайною тоскою —
К NN – неведомой красе —
И страшно надоели все.

Если б мы даже рискнули поверить в это безличное «все», мы б и то не могли не вспомнить, что именно в «Разговоре» у Пушкина (и не только там) ругают ожесточенно «толпу», а фраза – «хвалили все домашний круг» уж слишком напоминает известные пассажи из «Онегина»: «Когда бы жизнь *домашним кругом* // Я ограничить захотел…» «Я модный свет ваш ненавижу // *Милее мне домашний круг*…» Не говоря уже о финальном, авторском признании в IX главе: «Мой идеал теперь // *хозяйка*, – Мои желания – покой, // ***Да щей горшок, да сам большой…***» (Подчеркнут курсив Пушкина.) И сразу же лермонтовское «страшно надоели все» – обретает особый смысл.

Повторно то же самое «о чем писать?» – возникает у Лермонтова и после перепалки Читателя с Журналистом по поводу состояния журнальной литературы.

Вздохнем! «Судьбою несть // Давно нам тяжкие вериги», подчиняться всяким табу – только потому, что есть простые вещи, каких мы сами повелели себе – не замечать и не касаться. В этой работе и дальше, во второй ее части, – мы с этим не раз столкнемся еще. Возникнут совсем удивительные вещи. К примеру, скажет Читатель у Лермонтова:

Зато какое наслажденье,
Как отдыхает ум и грудь,
Коль попадется как-нибудь
Живое, свежее творенье!
Вот, например, приятель мой:
Владеет он изрядным слогом,
И чувств, и мыслей полнотой
Он одарен Всевышним Богом…

Сразу ясно, что речь идет о присутствующем Писателе, о ком же еще? По простейшей драматической ситуации! Диалог происходит тогда, когда Журналист и Читатель пришли к Писателю навестить его – своего приятеля, в связи с болезнью… Но исследователь (Э. Г. Герштейн) почему-то считает, что речь не о нем. Ибо впрямую принимает читателя за кн. П. А. Вяземского – и тогда уж относит и слова его… к П. И. Козловскому – пятистепенному литератору пушкинской и лермонтовской поры, но зато прилежному автору «Современника», – и к рецензии означенного Козловского на… парижский ученый ежегодник. А почему Лермонтов, в предисловии к своему роману, столь важном для него, должен вести речь о Козловском и о парижском ученом ежегоднике – не спрашивайте! Это еще менее понятно, чем появление Хомякова вместо самого Лермонтова в роли Писателя.

Тут – «системная ошибка», как говорят в наше компьютерное время, но она неслучайна – напротив, симптоматична! Вся тирада Читателя относится, несомненно, к Писателю, который находится в комнате. Но содержит похвалу сугубо ироническую. Это подтверждается и точным, почти наверняка, наблюдением самой Герштейн, что Читатель Лермонтова как-то проецируется на князя П. А. Вяземского. Одно выражение «изрядный слог» несет, без сомненья, насмешливый оттенок. «Да, изрядно, изрядно… и чувств, и мыслей полнота… но – не Пушкин, не Пушкин!» – примерно так хвалили Лермонтова в пушкинском кругу до самой его смерти! Да и после тоже! Висковатов приводит письмо П. А. Плетнева Коптеву, писанное в годовщину смерти Лермонтова – через четыре года: «О Лермонтове не хочу говорить потому, что и без меня о нем говорят гораздо более, чем он того стоит. *Это был после Байрона и Пушкина фокусник* (подчеркнем! – *Б. Г.*), который гримасами своими умел напомнить толпе своих предшественников. В толпе стоял К(раевский). Он раскричался в „Отечественных записках“, что вот что-то новое и, следовательно, лучше Байрона и Пушкина. Толпа и пошла за ним взвизгивать то же. Не буду же я пока противоречить этой ватаге, ни вторить ей.

Придет время, и о Лермонтове забудут, как забыли о Полежаеве»[28].

Мы ведь никогда не задавались праздным вопросом – то есть казавшимся нам праздным: чего стоило, в сущности, человеку заявить себя великим поэтом – след в след Пушкину, почти над гробом Пушкина! Кстати, это письмо Плетнева, пожалуй, дает право утверждать, что мы угадали третьего участника разговора – Журналиста: это, безусловно, Краевский!

По драматургии сцены – а это у Лермонтова – именно сцена и драматургия – хотя и литературная, – эта самая тирада и взбесила Писателя! И он начинает говорить грубости! То есть высказывать *свое* кредо…

– О чем писать?.. Бывает время,
Когда забот спадает бремя,
Дни вдохновенного труда,
Когда и ум, и сердце полны,
И рифмы дружные, как волны,
Журча, одна вослед другой
Несутся вольной чередой.
Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва:
На рифмы, дышащие силой,
Как жемчуг нижутся слова…
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт…

И тут, невольно, мы должны признать со всей очевидностью, «что вся сия тирада есть не что иное, как тонкая…» **пародия** на то, что сказано Поэтом у Пушкина – в «Разговоре» с ним Книгопродавца, а заодно и вызов – всему пушкинском кругу. Где так не любили новых поэтов – и новой поэзии. Правда, сделано это достаточно тонко – не придерешься, никакой прямой цитации, но смысл совершенно очевиден. Сравните:

…И тяжким пламенным недугом
Была полна моя глава;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались…

С лермонтовским: «И рифмы, дружные, как волны, // Журча одна вослед другой, // Несутся бурной чередой…» Или: «На мысли, дышащие силой, // Как жемчуг нижутся слова…» Или… «Восходит чудное светило // В душе, проснувшейся едва…» – как-то странно – ритмом и характером фразы напоминает раннее пушкинское: «Погасло дневное светило…» (близкое по времени к «Разговору»). И Лермонтов Михаил Юрьевич, должно быть, потирал руки от удовольствия, что «его блистательная шутка дошла», – как говорил Ежи Лец про нашу с вами жизнь – как всего только шутку Господа Бога.

А почему ж мы не видим – этой прямой связи и этой пародии – вот уж столько лет?

Причин, как минимум, две. Во-первых, потомкам свойственно принимать эстафету, в том числе, и заблуждений современников, а во-вторых… В самом деле, трудно поверить, если дальше… у Лермонтова идут столь суровые строки:

…Но эти странные творенья
Читает дома он один,
И ими *после без зазренья*
Он затопляет свой камин.
Ужель *ребяческие чувства,*
Воздушный безотчетный бред
Достойны строгого искусства?
Их осмеет, забудет свет…

– О ком это он?.. – Да что вы!.. Как можно-с!..

– Да, но… а что же он предлагает взамен?.. Этот странный человек?

…Бывают тягостные ночи:
Без сна горят и плачут очи,
На сердце жадная тоска;
Дрожа холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подъемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется – и язык
Лепечет громко, без сознанья,
Давно забытые названья;
Давно забытые черты
В сияньи прежней красоты
Рисует память своевольно:
В очах любовь, в устах обман —

И веришь снова им невольно,
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран…

Воот его кредо – собственное! И если считать, что в образе Писателя выведен кто-то другой – не автор «Героя нашего времени» (например, Хомяков) – то мы должны признать и то, что в России в тот момент было, как минимум, два великих писателя, которые могли сказать это от своего лица.

Перед нами в самом сжатом – в почти обнаженном виде – вся концепция творчества, предложенная Лермонтовым. А он продолжает:

…Тогда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум:
То соблазнительная повесть
Сокрытых дел и тайных дум;
Средь битв незримых, но упорных,
Среди обманщиц и невежд,
Среди сомнений ложно черных
И ложно радужных надежд…

Положите рядом 40-е Примечание к «Онегину»! Там, где Пушкин приводит сокращенный в основном варианте, но оставленный в Примечаниях финал VII главы…

…Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных,
Среди вседневных модных сцен,
Учтивых ласковых измен… —

и вы убедитесь вновь в этой странной манере нашего героя «договаривать за Пушкина» – но так, чтоб сказанное меняло знак на обратный!

Судья безвестный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьем скрашенный порок
Я смело придаю позору;
Неумолим я и жесток…

А как же тогда известное всем: «Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит „Онегина“ (Белинский)?»[29] И ясно, что «любил» и «благоговел» – как же иначе? Если без любви – разве можно так спорить – с такой яростью – и так *знать* Пушкина?!.

П. В. Анненков писал в «Замечательном десятилетии»: «Выдержка у Лермонтова была замечательная: он не сказал никогда ни одного слова, которое не отражало бы черту его личности, сложившейся, по стечению обстоятельств, очень своеобразно; он шел прямо и не обнаруживал никакого намерения изменить свои горделивые, презрительные, а подчас и жестокие отношения к явлениям жизни на какое-либо другое, более справедливое и гуманное представление их. Продолжительное наблюдение этой личности забросило в душу Белинского первые семена того позднейшего учения, которое признавало, что время чистой лирической поэзии, светлых наслаждений образами, психическими откровениями и фантазиями творчества миновало и что единственная поэзия, свойственная нашему веку, есть та, которая отражает его разорванность, его духовные немощи, плачевное состояние его совести и духа. Лермонтов был первым человеком на Руси, который навел Белинского на это созерцание…»[30]

Не забудем, что это еще и слова *первого биографа Пушкина*!

Да, но это особое «состояние» никак нельзя было выразить при помощи только…

В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря шум глухой,
Иль шепот речки тихоструйной…

Так же… «язык простой и страсти голос благородный» – были для этого решительно непригодны. И это никак не могло стать девизом литературы лермонтовской поры. Когда искусство запутывается в каких-то внутренних сложностях, когда эти сложности, уже сами по себе – и независимо от предмета – становятся самоцелью, чистым формотворчеством – тогда, пожалуй! Тогда начинают говорить о «простоте» и о «расставании с ложной мишурой». Но хаос невыразим – вне самого хаоса! «Разорванность, духовные немощи… плачевное состояние совести и духа» не переводимы на язык «страсти благородной»…

Искусство развивается циклами. Оно наступает и пятится назад, уходит от истоков и вновь норовит вернуться к ним. К

прежней посылке – но на другом витке. И в тот момент, когда, допустим, живопись достигла искомого рубежа… «остановила мгновение», почти-почти выразила собой его – в тот же момент, и среди тех же художников, появляется некто – и, может, не один, а несколько, – кто готов начать немедля опасный спуск с горы – с вершины, достигнутой только что с таким трудом… возвращение – к условному миру и условному языку. Так было с постимпрессионизмом в живописи – в конце прошлого века. Так было в нашем веке – с крушением неореализма в кино – переворотом, который был совершен крупнейшими из неореалистов.

…Но, право, этих горьких строк
Неприготовленному взору
Я не решуся показать…
Скажите ж мне, о чем писать?..

Повторим! Эта забота Лермонтова о «неприготовленном взоре» оказалась чем-то новым. На столетия вперед. Представьте себе Достоевского с его открытиями «бездн и язв духа», которого вдруг взволновала опасность смутить чей-то «неприготовленный взор».

В свое время прекраснодушье наших предков оставило нам в наследство нечто трудно выразимое словами – с чем, тем не менее, много лет мы должны были считаться, – представление о некоем «Гоголевском периоде русской литературы». – Коего никогда не было и в помине – и не могло быть. Гоголь был один – и остался один. Его никто не понял. Он и сам себя не слишком хорошо понимал! Подлинные последователи Гоголя пришли много поздней – и он бы первым отшатнулся от них. Мало кто был так одинок и остался одинок в литературе, как Гоголь… И если говорилось о «Гоголевском периоде» – совсем непонятно было, с какого боку в нем мог примоститься Лермонтов.

Или для него нужно было придумывать еще один период. Особый.

Но все это – чушь, конечно. Был всего один период – пост-Пушкинский. И он длился больше полувека – до конца XIX, а может, дольше. Тынянов где-то сказал, что после Пушкина весь девятнадцатый век русской литературы только и делал, что боролся с Пушкиным.

Спор шел, конечно, не с самим Пушкиным, – но с художественной системой Пушкина. С пушкинским ощущением мира.

Лучшим рассказом Лермонтова стал бы, верно, «Штосс», если б автор успел дописать его. То есть то, что мы называем «Штосс»: «У графа В. был музыкальный вечер». Рассказ навеян, конечно, «Портретом» Гоголя – больше нежли чем-нибудь. (Иные определяли ему в отцы Гофмана. Не знаю. Мне легче отталкиваться от Гоголя.) Тема: проигрыш возлюбленной в карты. Тот же художник – только Лугин. Тот же портрет, случайно доставшийся герою о казавшийся вдруг в центре происходящего. Интересно сопоставить описания лиц на портретах… У Гоголя: «Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм…»[31]

В. А. Лопухина

У Лермонтова: «…поясной портрет, изображавший человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней»[32]. Даже «азиатский костюм»

пришел из Гоголя. У Лермонтова это – «бухарский халат».

Несколько расходится оценка самой живописи: «…когда удалось счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен, но сила кисти была разительна» (Гоголь). «Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, платье, волосы, рука, перстни, все это плохо сделано» (Лермонтов). «Высокий художник» и «ученическая кисть». Но важно главное, что отмечено в том и другом портрете. У Гоголя «Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание сам художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью». («Разрушая гармонию… живостью» – это очень сильно!) У Лермонтова: «В выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно». «Такая страшная жизнь» в лице – тоже надо запомнить. В одном случае – глаза: сильные, беспощадные, разрушающие… В другом случае: «изгиб губ», выражающий, прежде всего, насмешку. Может, над судьбой? (Что такое игра в штосс – как не сама Судьба?) «Насмешливое, грустное, злое и ласковое» – это про Лермонтова. Про него самого. Ниже он скажет: «В лице портрета дышало именно то *неизъяснимое*, возможное только гению или случаю». «Гений или случай» – уж подчеркнем мы сами.

И дальше… сон или явь о старике, покидающем ночью свой портрет, и «уходящем в рамки» после. Но тут две фабулы расходятся – чтоб больше, очевидно, не встретиться.

Одно удовольствие следить, как Лермонтов отрывается от своих образцов. Как он оставляет от них скорлупки и выплевывает. Так интересно наблюдать, как он без разбору берет ноты из пушкинского аккорда «Путешествия в Арзрум» в своем «путевом очерке» из «Героя» – переставляя их местами, чтоб получался новый аккорд. (Непосредственно об этом – чуть ниже.)

Так в «Маскараде» он беззастенчиво «отработал» Шекспира. Взяв, в сущности, весь его ход в «Отелло» – любовь стареющего человека к юной, прекрасной и добродетельной женщине. И показывая, что делают с этой любовью злые языки – светская сплетня, которая легко заткнет за пояс наглого и воинственного «возрожденческого» Яго… Быстро превратив любовь в зеро, а разуверение в любви – в преступление.

Я потерял ее, и я обманут.

Мне может только ненависть помочь.
О, ужас брачной жизни! Как мы можем
Считать своими эти существа,
Когда желанья их не в нашей воле?..[33]

Разве это – не одно и то же? Даже платок Дездемоны превращен в браслет Нины. Да и сама Нина не являет собой никакой новый характер: как две капли воды, Дездемона – только из другого мира. Но Отелло доверчив, наивен, благороден, а Арбенин – циник и один из тех, кто сам споспешествовал превращению этого мира в мир без любви и сострадания. У него была одна вера: частичка веры – его любовь. Единственное прибежище, где эта вера скрывалась. Он думал, что не ошибся, – только единственный раз. А жизнь умело подбрасывает ему доказательство мнимой ошибки.

У Гоголя в «Портрете», в сущности, реальны все обстоятельства, кроме находки нищим художником Чартковым денег в рамке картины, по случаю доставшейся ему на распродаже, и ночного сна героя… У него картина – портрет ростовщика, начинает распространять на героя свою власть только потому, что герой сам изменил себе как художник… В «Штоссе» история художника, которому по случаю, однако уже – достаточно темному и инфернальному, досталась картина, портрет (ростовщика или игрока – мы не знаем) – быстро поворачивает к «фэнтези», как мы сказали б сейчас, к истории любви… к поиску идеальной женщины и смертельной схватке за нее с судьбой. Штосс у Лермонтова – и фамилия ростовщика, и игра… женщина – и образ, мелькавший еще в набросках художника, и пленница в руках (то есть в банке): игра идет *на нее* – и за нее… Заметим, что эта история происходит с человеком, всегда искавшим любви – но так и не нашедшим ее. «Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное – то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был пустой и ложный призрак… потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда…» (Где-то в затылке, в подсознании – почти на грани, мелькнет: «Но не тем холодным сном могилы // Я б хотел навеки так уснуть…») Согласитесь, никто еще не писал в ту пору такой прозы на русском языке – и вряд ли напишет впредь.

«И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина

болезненно сжималось сердце – отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту». Последние слова рассказа: «Надо было на что-нибудь решиться. Он решился».

На что решился, мы не знаем. И будь проклят Мартынов – и ныне, и присно, и во веки веков – что мы так и не узнали. Можем добавить только – этот мотив игры с судьбой в борьбе за женщину – у Лермонтова не нов. Он связан почти со всей, такой недолгой – «взрослой» биографией его. Самый нутряной мотив этого нелегкого – и в высшей степени скрытного человека.

5

Связь «Казначейши» с более поздним «Штоссом» – вроде примитивна. И вместе с тем очень сложна. Общая только основа фабулы – игра в карты на женщину.

С другой стороны – это чисто лермонтовский ход: вариаций. Вариативного мышления. Разработка одного и того же мотива – в разных регистрах, в разных жанрах. Возвращение к пройденному – только на другом витке. Главные темы следуют за ним чуть не с детства. Впрочем – почему «чуть»? Вспомнить только «Демона» и сколько он работал над ним. Все редакции, начиная с совсем детской, имели первой строкой: «Печальный демон, дух изгнанья…»

В сущности, эту верховную тему сочинений своих Лермонтов трижды написал в завершенном виде в трех главных жанрах. В поэзии, в прозе, в драматургии. **«Маскарад», «Герой нашего времени», «Демон»**. Можно бы их вполне объединить под заголовком: **«Три „демона“ Лермонтова»**.

Неизвестно, читал ли Лермонтов повесть Гофмана «Spilersgluck», которую сватали в источники «Штоссу» Лермонтова, но «Гофман наверняка не знал, – пишет Лотман, – о нашумевшей в Москве 1802 года истории, когда князь Александр Николаевич Голицын, мот, картежник и светский шалопай, проиграл свою жену, княгиню Марию Гавриловну (урожденную Вяземскую), одному из самых ярких московских бар – графу Льву Кирилловичу Разумовскому, известному в свете как le comte Leon, – сыну гетмана, масону, меценату… Последовавшие за этим развод княгини с мужем и второе замужество придали скандалу громкий характер»[34]. Гофман не знал, конечно, а Лермонтов знал наверняка – он был коренной москвич, и кто в московском свете не вспоминал об этом?..

Вероятно, из этой истории и вырос сюжет «Тамбовской

казначейши», чтоб после прорасти в инферналии «Штосса».

В личном плане, какой всегда существует у всякого художника, сюжет «Казначейши» тяготел к одному из главных событий лермонтовской биографии – к замужеству Варвары Лопухиной в Москве, к ее браку с Н. Ф. Бахметевым. А это, в свой черед, заставляет нас продолжить эти связи до соответствующих линий и образов в «Княгине Лиговской» (Вера Дмитриевна) и в «Герое нашего времени» – в «Княжне Мери» (Вера).

Чтоб быть внятными, скажем прямо: в этом браке и в крушении с ним жизни Вари – да и, вероятно, самого Лермонтова – повинен был более всего он сам. Мы чаще и сильнее виним других именно в собственных ошибках. Уж так устроен человек. Выйдя из стеснительных рамок казарменного житья и юнкерской школы, в которую неизвестно какая глупость завлекла его, он, мало того что окунулся в светскую жизнь со всем неистовством монаха, удравшего из кельи, – детали этого нового и бесконечно привлекательного на первых порах для него бытия он, судя по всему, с удовольствием воспроизводил в своих письмах в Москву, избрав для откровений почему-то именно круг, близкий Варе, – и более всего, ее сестру Марию и ее брата Алексиса. Зачем-то ему понадобилось наказывать Екатерину Сушкову за то, что она, несколько лет назад, будучи чуть старше его, отвергла его ухаживания, – для чего симулировать на первых порах отчаянную влюбленность в нее, и так далее… Из Петербурга в Москву бешено неслись ошеломляющие подробности этой мутной интриги. Сушкова была сирота. Воспитывалась родственниками, она нуждалась побыстрей в достойном союзе… А за Сушковой ухаживал также родной брат Вари – Алексей Лопухин, и Лермонтов жестко расстроил возможность этого брака. Короче… Варе был самый выход – замужество, и она вышла за некоего Н. Ф. Бахметева. Он был, судя по всему, достаточно богат и был помещик тамбовский. Несомненно отсюда появилось:

Тамбов на карте генеральной
Кружком означен не всегда…

Возможно, это объясняет, среди прочего, бешенство Лермонтова, когда название города сняла цензура, заменив его точками, – бешенство, почему-то обращенное им на издателей «Современника». Название-то, несомненно, цензура сняла! Плетневу и Жуковскому – редакторам «Современника» – оно точно помешать не могло. А вот кто снимал остальные строки, которых не оказалось в печатном тексте, мы не знаем. Есть вероятие большое, что в каких-то из них был силен пародийный

оттенок – которого друзья покойного Пушкина, конечно, допустить не могли. И, возможно, этим объяснялось столь ярое возмущение Лермонтова. Быть может, этими строками он особенно дорожил, и они выражали, в какой-то мере, настрой поэмы. Напомним еще раз – Лермонтов больше не печатался никогда в бывшем журнале Пушкина.

Что касается пародийности поэмы по отношению к Пушкину – то мы чуть-чуть задели эту тему в начале нашего размышления. Охотно можем привести еще несколько примеров…

Но скука, скука, боже правый,
Гостит и там, как над Невой…

…сразу погружает нас в атмосферу не просто пушкинскую – но конкретно романа «Евгений Онегин». Помните? Онегин в деревне…

…потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов…

Поскольку Онегин приехал сюда из Петербурга, то, естественно, и здесь – «скука, как над Невой»!

Чего только стоит описание местных (тамбовских) дам:

И там есть дамы – просто чудо!
Дианы строгие в чепцах,
С отказом вечным на устах.
При них нельзя подумать худо;
В глазах греховное прочтут
И вас осудят, проклянут.

У Пушкина:

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима…
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:

Оставь надежду навсегда…

И дальше поэма Лермонтова полнится сплошными перепевами «онегинских» мотивов.

О героине – Авдотье Николаевне, Дуне, супруге казначея, говорится:

Для большей ясности романа
Здесь объявить мне вам пора,

Что страстно влюблена в улана
Была одна ее сестра.

Поскольку сестра Дуни для фабулы вовсе не имеет значения – и после разговора сестер об улане вообще больше не появляется – и нам все равно, была у героини сестра, не была – не понять сей пассаж как прямой намек на пушкинскую Ольгу просто нельзя. «Улан умел ее пленить // Улан любим ее душою…», ну и дальше – про то, как она стоит с ним «стыдливо под венцом».

Вот описание самого героя у Лермонтова:

Штабротмистр, строен, как корнет,
Взор пылкий, ус довольно черный…

Пушкин во Второй главе романа представляет нам Ленского: «Дух пылкий *и довольно странный*…» Откровенная замена «духа» «взором» и «усом» при той же конструкции фразы…

И дальше – про штабротмистра Гарина:

Шутя однажды после спора
Всадил он другу пулю в лоб…

Тоже, как вы понимаете, некоторое сходство – с неким героем Пушкина.

Страстьми земными не смущаем,
Он не терялся никогда…

Этот «не смущаемый страстьми земными» герой сильно напоминает Онегина, покуда тот не ощутил укол истинной любви к Татьяне.

Про героиню у Лермонтова:

Она картавя говорила,
Нечисто Р произносила;
Но этот маленький порок
Кто извинить бы в ней не мог…

Пушкин тоже оттенял нечто подобное:

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю…

Забавно объяснение Гарина с Дуней на вечере у губернского казначея, ее мужа:

Она, в ответ на нежный шепот,
Немой восторг спеша сокрыть,
Невинной дружбы тяжкий опыт
Ему решила предложить —
Таков обычай деревенский!
Помучить – способ самый женский.

«Богат, хорош собою, Ленский // Везде был принят как жених // *Таков обычай деревенский*». (Заметим, это все он делает так же открыто и в вызывающе пародийном – «Журналисте, читателе и писателе»!)

Но уж давно известна *нам*
Любовь друзей и дружба дам.

«Врагов имеет в мире всяк, // Но от друзей спаси нас, Боже! // Уж эти мне друзья. Друзья! // О них недаром вспомнил я!» – можно цитировать до бесконечности из Пушкина по тому же поводу. «Надзоры теток, матерей // И дружба тяжкая мужей».

А это бесконечное множественное число, тоже откровенно – из «Евгения Онегина». «Мы», «нам»:

Тогда, как мы, враги Гимена,
В семейной жизни зрим один
Ряд утомительных картин…

«Я жить спешил в былые годы…» – напоминает нам автор в своем лирическом отступлении – эпиграф к Первой главе из Вяземского («и жить торопится. И чувствовать спешит…») – эпиграф, кажется, не менее известный, чем сам роман Пушкина.

Или в другом – столь же лирическом:

Ужель исчез ты, возраст милый,
Когда все сердцу говорит,
И бьется сердце с дивной силой,
И мысль восторгами кипит…

Так и хочется продолжить пушкинским:

Ужель, и впрямь и в самом деле,
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?.
И ей ужель возврата нет,
Ужель мне скоро тридцать лет?..

А объяснение Гарина с Дуней, похожее на известное письмо Онегина к Татьяне:

Я вижу, вы меня не ждали —
Прочесть легко из ваших глаз;
Ах, вы еще не испытали,
Что в страсти значит день, что час!
Среди сердечного волненья
Нет сил, нет власти, нет терпенья!..

А у Пушкина это…

И я лишен того: для вас
Тащусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни…

Такое ощущение, что два текста Пушкина и Лермонтова можно бы просто переставить местами.

А сцена в поэме Лермонтова – появление мужа героини в момент объяснения героев:

Штабротмистр преклонил колени
И молит жалобно; как вдруг,
Дверь настежь – и в дверях супруг…

Можно бы просто продолжить – по Пушкину:

И тут героя моего
В минуту злую для него
Мы, мой читатель, оставляем…

Но Лермонтов продолжает по-другому:

И через час ему приносит
Записку грязную лакей.
Что это? чудо! Нынче просит
К себе на вистик казначей…

Драматический финал и «злую минуту» для героя Лермонтов заменяет грязной запиской, принесенной лакеем. Ничего не произошло. «Нынче просит – к себе на вистик казначей…» Все! Карточная игра – вместо жизни и смерти.

В ответственный момент – пред тем как герою его шагнуть в кабинет и вступить в игру с казначеем, автор вступает сам и останавливает действо:

Но здесь спешить нам нужды нет,
Притом спешить нигде не надо.
Итак, позвольте отдохнуть,
А там докончим как-нибудь.[35]

…тут, как две капли воды, пушкинский обрыв действия перед тем, как Татьяне предстать перед Онегиным – после письма (концовка Третьей главы):

Но следствия нежданной встречи
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять, и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь.

У поэмы еще – весьма выразительный конец:

…Признайтесь, вы меня бранили?
Вы ждали действия? страстей?
Повсюду нынче ищут драмы,
Все просят крови – даже дамы.
А я, как *робкий ученик*,
Остановился в лучший миг;
Простым *нервическим припадком*
Неловко сцену заключил,
Соперников *не помирил*
И *не поссорил их* порядком…

«Друзей поссорить молодых // И на барьер поставить их // Иль помириться их заставить, // Дабы позавтракать втроем…» Опять же… «Трагинервических явлений // Девичьих обмороков, слез»…

Цитировать можно больше, но и так понятно… «Тамбовская казначейша» таит в себе, среди прочего… почти пересказ… переложение весьма известных мотивов и строф «Онегина». И это – никак не подражание Пушкину и не выплеск творческой молодости. Это – установка литературная. Пора подражания для Лермонтова давно прошла к этому моменту. Да она и длилась не так долго в прямом смысле. Среди многих дорог, частью проложенных, а частью едва намеченных Пушкиным, – он очень быстро нашел свою. И занялся ее «дноуглублением». В чем и будет заключаться, собственно, его судьба в литературе. Такая краткая, такая наполненная…

«Казначейша» была несомненно пародией на «Евгения Онегина». Очень тонкой, достаточно злой. Зачем, почему?.. Трудно сказать. По той же причине, вероятно, по какой век спустя Хемингуэй и Фолкнер, почти одновременно, оба нападут на Шервуда Андерсона, в не в самые лучшие для него времена… когда слава его станет меркнуть, да и собственные творческие достижения его – начнут угасать… А они, стольким обязанные ему, творчески и человечески (он на первых порах их жизни и писаний активно помогал обоим), – напишут оба, не сговариваясь, по жестокой пародии на него – с единственным чувством, вероятно, – утишить тоску зависимости – одного художника от другого, освободиться внутренне – ото всего, и от благодарности в том числе. Чтоб заставить других слушать свое собственное слово.

В чем состояла пародийность у Лермонтова? Взята скрупулезно и *применена* блестяще – стилистика «Онегина», включая саму онегинскую строфу. И в этой стилистике – вместо

истории любви, очарования жизнью и разочарования в ней – путешествия по жизни автора вместе с героями – рассказан провинциальный анекдот. Банальщина, пустячок. Мелкая история. И с этим вместе – весь роман Пушкина как-то снижался. Терял в своем значении.

Потому, вероятно, какие-то строки убрала вовсе не цензура. Но они показались слишком «пушкинскими» Плетневу и Жуковскому. Или, не дай бог, ироничными?.. Хотя все-таки пародии на великий роман они не раскусили сразу – иначе б не стали вообще печатать поэму. – А может, что-то понял один Плетнев и сопротивлялся, как мог, публикации?.. Напомним: «О Лермонтове я не хочу говорить, потому что без меня говорят о нем гораздо более, чем он того стоит. Это был после Байрона и Пушкина фокусник…» Бедный Плетнев! Он был поэт малодаровитый. Но он любил поэзию и обожал Пушкина и был ему вернейшим литературным другом. Занимался изданием его книг, вычитывал рукописи после переписчика… Но то был Пушкин! Потерпеть же нового гения следом, рядом, да еще с его молодым, явным пренебрежением к старшим… Как было сказано в одном историческом романе: «Для этого мало быть сыном Людовика – для этого надо быть Людовиком!» – Чтоб понять и принять Лермонтова в ту эпоху – мало было роли «ученика и последователя» Пушкина, поэта «пушкинского круга»… Надо было быть Пушкиным! А что такое, вообще, человеку пишущему жить в эпоху Пушкина или Лермонтова – мы об этом, возможно, поговорим в своем месте, хоть чуть-чуть. Искусство жестоко – ничего не попишешь – жестокое занятие. Оно не убивает, не ранит впрямую – но способно покалечить душу.

Лермонтов «обожал „Онегина“, знал его наизусть» – по известным свидетельствам. Но дело в том, что в пору написания «Героя нашего времени» «Евгений Онегин» уже не устраивал его. Своим подходом к человеку… Самим рисунком человеческой души в романе.

В этом смысле «Тамбовская казначейша» была еще одним предисловием к «Герою». Ибо демонстрировала отказ от избранных кем-то путей. Она писалась не «мальчиком предрассуждений, но мужем». Автором VI редакции «Демона».

Что касается биографии Лермонтова – внутренней, а не только литературной… Поэма была из того, что печаталось Лермонтовым – то есть становилось достоянием общим, – первым знаменьем ожесточенного спора со своей личной судьбой. Сказать жестко: откровенным печатным выпадом против брака Варвары Лопухиной, ставшей Бахметевой.

В «Казначейше» впервые появляется тема женщины, которая в

плену у старика, во всяком случае у человека, который ей не пара… «…Жил некто господин Бобковский, Губернский старый казначей…» Женщина у него «в банке». Проигравшись в пух, он ставит на жену – и проигрывает.

Вариация этой темы возникнет в «Штоссе»…

И, быть может, именно «Казначейша» была той первой каплей яда, которая изъязвила сердце г-на Бахметева Н. Ф., тамбовского помещика, – мучила его и подвигла в итоге заставить жену сжечь все письма поэта… Оставшиеся рукописи и альбомы с рисунками Варенька срочно передала, чтоб не пропали, Александре Верещагиной (в замужестве Хюгель) – своей кузине и другу Лермонтова.

А незаконченный, а верней – только начатый роман «Княгиня Лиговская» напечатают лишь много лет спустя. Ни Лермонтова уже не будет в живых, ни Вари… Пьесу «Два брата» тоже, кажется, напечатают. «Пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мной в Москве. – О, Москва, Москва, столица наших предков, златоглавая царица России великой, малой, белой, черной, красной, всех цветов, Москва, преподло со мной поступила»[36]. (Это про встречу с Варей в Москве, когда Варя уже вышла замуж.) Лишь бедный господин Бахметев, кажется, доживет – и возможно, будет все это читать, хотя бы в отрывках. Но «Герой нашего времени» явится на свет очень скоро и станет известен ему. Там появится Вера с родинкой – правда, на щеке, а не над бровью… и замужем за «хромым старичком». Который сперва трясет руку Печорину как заступнику княжны Мери и выражает радость, что у него нет дочерей, а потом узнает о любви своей жены к этому самому Печорину…

Бьюсь об заклад, он часто пытался представить себе – каково Варе в браке с Бахметевым. Иногда жалел ее, иногда злился отчаянно. А что он имел, в конце концов, против Пушкина, «Онегина»?.. Да ничего, в сущности. Он ими восхищался. Он только считал, что «Онегин и его причт» (как назвал сам Пушкин) – лишь внешний ряд жизни. «Несчастной ревности мученья, // Разлука, слезы примиренья…» А его занимал другой ряд.

А между тем из них едва ли есть один
Тяжелой пыткой не измятый,

До преждевременных добравшийся седин
Без преступленья иль утраты…

«История души человеческой, даже самой мелкой души…»

Во всяком случае, когда он начал писать «Героя» – он уже точно понимал: его собственный путь лежит по направлению к *внутреннему человеку*.

Глава третья
Грани истории души…

1

«…автор едет как бы навстречу Пушкину – не из Ставрополя к Тифлису, а из Тифлиса к Ставрополю. Они могли бы встретиться на Крестовой горе или на станции Коби»[37].

Может, следует подумать, наконец, над этим встречным ходом?.. И вообще – над этими случайными-неслучайными «совпадениями», которые отмечали многие и которые так по-разному трактовали исследователи. Займемся, наконец, текстом того самого «путевого очерка», который представляет собой вступление в роман.

Сперва вернемся к пушкинскому «Путешествию в Арзрум».

У **Пушкина**: «На другой день около 12-ти часов услышали мы шум и увидели зрелище необыкновенное: 18 пар тощих малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О***. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно во Владикавказ и ехать верхом до Тифлиса. Граф Пушкин не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку, нагруженную припасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет»[38].

У **Лермонтова**: «Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, – а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам, одним почти криком.

За моею тележкою четверка быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки…»[39] (первое появление Максима Максимыча).

Именно эти «18 пар волов» и «целое стадо волов» – в одном случае и «шестерка» и «четверка быков» в другом – сумели вызвать такой переполох в литературоведении, что заставили говорить о «незнании Пушкиным функциональной семантики кавказского быта» и даже о «беспощадном реализме», с которым Лермонтов «разоблачает» Пушкина.

По-моему, здесь нет ровно никакого повода для издевки над автором «Путешествия в Арзрум»: он сам-то поехал верхом, в то время как прочие персонажи – и приятель автора О*** с его «венской коляской», и однофамилец автора – граф Пушкин (В. А. Мусин-Пушкин) – двинулись «через снеговой хребет» путем более обычным и менее опасным, что вызывает вроде иронию и у самого автора «Арзрума».

Да и сходство двух текстов – Пушкина и Лермонтова – здесь весьма относительно: пожалуй, они оба лишь описывают один реальный эпизод: переезд через горы – в одном и том же месте.

Чуть более убедителен другой пример – с «оказией».

Пушкин: «С Екатериноградa начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до

Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются: это называется *оказией*»…[40] (У Пушкина – выделено. – *Б. Г.*)

И сызнова такое ощущение, что два путешественника описывают одно и то же событие вне связи друг с другом.

Лермонтов: «*Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо „оказия“ из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может.* Что за оказия!.. но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я для развлечения вздумал записывать рассказа Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое „оказия“? Это – прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград»[41].

По Эйхенбауму: «Здесь сходство становится настолько разительным, почти цитатным, что в вопросе: „А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»?“ слышится другой вопрос: „Помните ли вы «Путешествие в Арзрум» Пушкина?“»[42]

Но я нарочно привел цитату подряд, а подчеркнул в ней только то, что взял в рассмотрение Б. Эйхенбаум. Остальное выпущено при цитировании: так делают многие, когда хотят настоять на каком-то единственном прочтении текста! На самом деле, при таком расстоянии между двумя пассажами об «оказии» сходство решительно размывается – тем паче что в промежутке автор-рассказчик успевает сообщить нам вещи куда важней: о том, что с «Бэлы» началась по «случаю» вся «длинная цепь повестей».

Но исследователь приводит и третий пример:

Пушкин: «С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, – и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога»[43].

Лермонтов: «И точно такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы похожие одна на другую, – и все эти снега горели румяным блеском так

весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особое внимание. „Я говорил вам, – воскликнул он, – что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!“ – закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки…»[44]

Вы видите здесь какое-нибудь реальное сходство? Я не вижу! Ни как внутреннюю цитату, ни как знак читателю. Потому что… мной, опять же, отмечены места, приведенные Эйхенбаумом, совместно, слитным текстом… между тем, как в тексте Лермонтова они разорваны меж собой – в одном случае на две строки, в другом – на целых одиннадцать! Цитируя подобным образом, можно что угодно сделать похожим на что угодно! Или надо быть таким слишком «проницательным читателем». К сожалению, Лермонтов, как всякий автор, обращался к другому!..

И все же… не будем отмахиваться совсем от этого размытого сходства.

Рассмотрим еще один отрывок. Случайный… Не имеющий отношения ни к Пушкину, ни к Лермонтову, но приоткрывающий для нас завесу…

«Спуск с горы, около полторы версты, кончается на косогоре Гут-горы. Косогор этот продолжается версты на две, так что можно сказать, плечом касаешься Гут-горы, а ступень лошади становится на край пропасти. На дне пропасти видишь скалу, покрытую лесом и отделяющуюся, подобно острову, от всех высот.

С вершины горы осетинские деревни кажутся не более чернильницы, а скот, пасущийся по лугам, не более мухи. Из ущелья вытекает Арагва, которая принадлежит уже к системе рек грузинских, так как Терек, вытекающий за этим хребтом, но только с другой стороны Крестовой горы, принадлежит системе рек кавказской линии. Мы ехали среди облаков, некоторые ходили гораздо ниже нас, а иногда попадали во влажные облака или тучи, и крупный дождь осыпал нас; иногда тучи, пробежав, давали место солнечным лучам, от которых местоположение принимало особую прелесть»[45].

Этот текст написан, скорей всего, раньше пушкинского. Хотя, несомненно, был Пушкину известен; Лермонтову – трудно сказать! А может, знакомый – и одному и другому. Не в этом

дело! Это – из «Записок во время поездки *в 1826 году* из Москвы в Грузию» **Дениса Давыдова**. И если здесь есть сходство – с первым текстом, пушкинским, и особенно со вторым – лермонтовским, почти тождественное, – то исключительно по причине географической. Речь идет об одном и том же месте. Кто бы ни стал описывать это самое место – неизбежно впал бы в повтор!

И Лермонтов никому не отдает здесь «дани памяти» – и уж точно не «разоблачает с беспощадным реализмом» никого. Тем паче Пушкина. Он просто смотрит с тех же точек, с каких смотрел Пушкин. А вот почему он захотел выбрать именно эти точки, или только эти точки, и упрямо описывает одни и те же места – это другой разговор.

Спросим себя: что остается в памяти читателя – даже самого внимательного – от самого лучшего путевого очерка? Описания? Вряд ли. Скорей всего и более всего – сам путь! Та самая география местности. «Имена местностей – имя», как говорил Пруст. Движение в пространстве.

«Бэла» – а за ней вся «длинная цепь повестей» – сознательно создается Лермонтовым на пушкинском пути. Только Лермонтов проходит этот путь нарочито – в противоположном направлении. И все, что он хочет подчеркнуть здесь, – именно этот вектор. *Противоположно направленный!*

И Б. М. Эйхенбаум, и те, кто шли за ним в создании идиллических картин прямого литературного наследования, возможно, быстро б отказались от всех иллюзий своих, и от «дани памяти» в том числе, – если б обратили внимание на строки Лермонтова, которые совсем уж на виду – не надо далеко ходить. – Это – первые строки «Максима Максимыча»:

«Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел во Владикавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет»[46].

Маршрут пушкинского пути в «Арзруме»: Владикавказ – Ларс – Дарьяльское ущелье – Терекское – селение Казбек – пост Коби… «В Коби мы расстались с Максимом Максимычем…» (это еще первое их расставание). Прочертите путь назад, в обратном направлении!

Я еще сопротивлялся этой мысли, и слово «статистика» смущало меня. Оставляло крохотную надежду. «Статистические замечания»?.. Где у Пушкина «статистические замечания»? Словарь Даля… «**Статистика** – …история и география в

известный срок»[47].

«Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелие замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет речка Диориодорис»… (Пушкин. «Арзрум»)[48].

К сожалению, с точки зрения словаря Даля – «Путешествие в Арзрум», в этом самом месте – полно именно «статистических замечаний».

И какая издевка так «спрямить» пушкинский маршрут! Заменив все подробности пути чисто гастрономическими: «завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел во Владикавказ». (Но это все – места, где Пушкин останавливается подробно.) «Избавляю вас от картин… и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет». Невольно вспомнишь:

…Но эти странные творенья
Читает дома он один,
И ими после без зазренья
Он затопляет свой камин…

Но зачем это понадобилось ему именно в этом месте – скажем поздней. Покуда обратим внимание на одно

обстоятельство…

Пушкин, как мы помним, в «Арзруме» едет в Грузию – из России. Автор-рассказчик Лермонтова – держит обратный путь: вовнутрь, во «внутреннюю Россию». И путь, который автор-рассказчик прочерчивал в своем «путевом очерке», неслучайно шел в противоположном Пушкину направлении.

2

И прежде романы начинались часто с путевого очерка – с путешествия, которое словно дарило нам потом сам роман. Нечаянная встреча в дороге и чей-то рассказ – или вторжение в путешествие некоего события. Лермонтов раздвигает границы этой к тому времени уже подуставшей формы и превращает ее в нечто более подвижное… Путешествие не кончилось на истории Бэлы – оно только началось. Что сулило следующий поворот событий – встречу с тем самым Печориным, а потом – его дневник… который в финале снова вернет нас в крепость, где они служили некогда с Максимом Максимычем. – Добавим – в крепость в ту пору, когда, кажется, еще не случилась история Бэлы. И пред финалом в «Княжне Мери» – перед дуэлью с Грушницким – опять возникнет эта крепость, в которой Печорин будет записывать задним числом все, что произошло, – и возникнет концовка дуэли и всего пятигорского «малого романа».

Странствие продолжается, и у него свои задачи в тексте. Да и финальное в романе появление Максима Максимовича (конец «Фаталиста») – подтверждает эту мысль, что оно и не прекращалось. Здесь сама жизнь вторгается в «роман-путешествие», подсекая его на разных уровнях… А эти случайности, в свой черед, связаны меж собой уже не фабулой, даже не сюжетом… чем-то другим, некой вязью раздумий о жизни и загадках бытия. «Бэла» словно «любовь Свана», вправленная в жизнь Марселя, – вставлена в роман, где главное все-таки – история в Пятигорске. Ибо только после нее в жизни Максима Максимыча – и автора-рассказчика – и тем самым нашей с вами жизни – появится Печорин. Загадочная фигура.

«Таманью» обрывается Первая часть его «Дневника». И слова «конец первой части» звучат даже несколько обескураживающе. Как, уже все?.. Дневник только что начался! Возникнет часть вторая – куда более обширная и значительная в разработке. Но автор, словно нарочно, являет нам автономность первой части и ее особую значимость. Намекая на что-то… И о чем этот рассказ «Тамань» – по-настоящему нельзя сказать. Чтоб понять, что эта случайность и есть сердцевина романа, надо, ох, сколько пройти!

И… в этом одна из главных черт лермонтовского психологизма. Или один из главных его приемов. История, разворачивающаяся сторонне, вне связи с основным движением фабулы, – на самом деле, может статься, объясняет все… Фабула и сюжет, сюжет и фабула мешаются меж собой и на каждом шагу ставят подножки друг другу.

Фабула романа: некто Печорин едет на Кавказ, верно в действующую армию («с подорожной по казенной надобности»), в Тамани его обокрали и чуть не убили (встреча с «честными контрабандистами»), через какое-то время, уже побывав в боях, он оказывается в Пятигорске на водах («Княжна Мери» – княжна, Грушницкий, Вера) – в итоге (вероятно, за дуэль) он попадает в крепость за Тереком, где служит Максим Максимыч; история Бэлы; во время службы в крепости Печорину случилось прожить «две недели в казачьей станице, на левом фланге»: поручик Вулич («Фаталист». Было ли это до или после истории с Бэлой, мы так и не узнаем – скорей всего, *до*…). Через несколько лет, возвращаясь во внутреннюю Россию, его сослуживец Максим Максимыч рассказывает случайному попутчику (Автору-рассказчику) эту историю; потом во Владикавказе они встречают Печорина, – Автор в первый и в последний раз видит его. – Обида, нанесенная Печориным старому служаке; разговор о каких-то бумагах, оставленных Печориным: «– И что за бумаги? – А Бог его знает, какие-то записки…» Бумаги в руках рассказчика. – Еще через какое-то время – весть о том, что Печорин умер, возвращаясь из Персии, позволяет Автору эти записки опубликовать…

По *фабуле* части романа выкладываются следующим образом:

«Тамань» – «Княжна Мери» – «Бэла» – «Фаталист» (до или после «Бэлы») – «Путевой очерк» – встреча с Печориным и попадание его записок к Автору – смерть Печорина – публикация записок…

По *сюжету*: «Путевой очерк» – «Бэла» – вновь путевой очерк – встреча с Печориным («Максим Максимыч»), записки попадают к Автору – весть о смерти Печорина, публикация записок – «Дневник Печорина» (те самые «записки»): «Тамань» – «Княжна Мери» – «Фаталист».

Иными словами: когда происходит действие, допустим, «Тамани» – нам уже известно о герое много больше, чем мог бы дать отдельный эпизод его столкновения с «кругом честных контрабандистов»; и когда мы обращаемся к главной повести в «цепи повестей» – «Княжне Мери» – мы тоже уже знаем историю Бэлы и про случай в Тамани и так далее. И естественно, нам известно это все, когда читаем мы новеллу «Фаталист».

Композиция Лермонтова напоминает собой решетку атома с

ядром в центре и электронами на орбитах. Вот Максим Максимыч, кто-то «третий», случайный рассказывает о некоем, неизвестном нам, Печорине: герой покуда для нас – будто электрон, расположенный на внешней орбите. Но вот он перешел на другую орбиту – ближе к ядру, к сердцевине своей истории – и тем самым ближе к нам: мы встречаем его, и Автор-рассказчик может со стороны описать его и наблюдать его в действии – став невольным свидетелем обиды, нанесенной им Максиму Максимовичу. А потом в руках Автора оказывается дневник Печорина, и мы очутились в самом центре ядра… Но и здесь что-то вроде «решетки атома». Сперва – чисто «внешний» ряд: эпизод с героем – мало что говорящий о нем самом… «Тамань». Роль этого эпизода мы поймем много позже – а может, и вовсе не поймем. И вот мы уже – в самом центре ядра: «Княжна Мери» – внутренняя история героя. Печорин не только *действует* здесь, но пытается объяснить себе себя. А в конце романа, совсем внутри «ядра», оказывается еще один атом: новая «решетка». Сам Печорин, ставши «электроном на внешней орбите», рассказывает нам о поручике Вуличе… И… если б Вулич оставил свои «записки», мы имели бы новый «дневник» – только Вулича. И пытались бы понять другую загадку… Конец романа: Максим Максимыч «вообще не любит метафизических прений». Слово «метафизика» возвращает нас к самой теме «загадки» – с ним мы вернулись к началу: к путевому очерку. Все!..

Сюжет романа расставил по каким-то своим местам все отдельные эпизоды фабулы – так, что возникла словно еще одна фабула – *над* первоначальной; еще одно движение, резко отличное от первого: *внутрифабульное* движение частей по отношению друг к другу и взаимозависимость этих частей. Фактически это и есть композиция романа.

Композиция часто представляется нам только отношением *сюжета* к *фабуле*. Мы уже наткнулись на это обстоятельство, говоря об «Онегине». И впрямь бывает, что это – главный рычаг композиции. В «Герое нашего времени» тоже – нечто в этом роде. Только… В отличие от «Онегина», тут не сказать, что герои психологически слабо разработаны, а весь психологизм ушел в композицию… Здесь композиция сама восходит куда-то, возвышаясь над фабулой и сюжетом, и составляет уже новую самостоятельную структуру. В том числе – психологическую. Структуру психологической загадки. И тем олицетворяет собой *тайнопись* книги.

По-настоящему сложные композиции станут возникать лишь в XX веке. Пруст – «В сторону Свана», Булгаков – «Мастер и Маргарита». Но и здесь можно сказать, что композиция

лермонтовская гораздо сложней…

Тема «загадки современного молодого человека», которую ставит перед Автором-рассказчиком Максим Максимыч, – это первый аккорд, идущий в разработку. Он звучит дальше в различных модификациях, превращаясь в загадку человека вообще. Какую Бог ставит перед каждым человеком и которую каждый человек вынужден решать для себя…

3

Я был уверен, что Хемингуэй почти не знал Лермонтова. Ну не больше, чем мы знаем Вордсворта или Китса. Это – обычный принцип размежевания разноязычных литератур. Которые иногда даже не подозревают значения каких-то величин в литературе другого… Русских, вообще, по-настоящему стали читать на Западе, начиная с Тургенева. Толстой, Достоевский, Чехов… Не уверен, что там читают Бунина, несмотря на Нобелевскую премию. И вместе с тем, мне казалось, Хемингуэй не мог не подозревать о существовании Лермонтова. Какие-то фразы, повороты мысли в прозе автора «Фиесты» и «Белых слонов» напоминали автора «Героя нашего времени». В самом деле. Смотрите!

«Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми… Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется.

Я уехал один». («Княжна Мери».)

«Теперь, кажется, все. Так, так. Сначала отпусти женщину с одним мужчиной. Представь ей другого и дай ей сбежать с ним. Теперь поезжай и привези ее обратно. А под телеграммой поставь „целую“…

Я пошел в отель завтракать». (Э. Хемингуэй. «Фиеста»)

Потому я не сильно удивился, когда в одном из последних интервью писателя (оно было напечатано в «Иностранной литературе») увидел имя Лермонтова чуть не на втором месте среди тех, кого Хемингуэй назвал своими учителями…

Эти лермонтовские обрывы сцен, вроде приведенной выше, и мгновенные переходы – необыкновенно питательны в плане психологическом. Они незаметно выстраивают за сказанным еще целый ряд – того, что в умолчании… «Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай». Или: «Тут между нами начался один из тех разговоров,

которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере». В самом деле, здесь *молчание* и *умолчание*, «значение звуков заменяет значение слов» – чисто музыкальный прием.

Набоков упрекал Лермонтова в отсутствии *стиля* в его понимании: «Надо быть критиком-аскетом, у которого вызывает подозрение роскошный изысканный слог и которого, по контрасту, неуклюжий, а местами просто заурядный стиль Лермонтова приводит в восхищение своим целомудрием и бесхитростностью. Но подлинное искусство не есть нечто целомудренное и бесхитростное…»[49]

Набоков ошибается. Подлинное искусство очень часто есть нечто – «целомудренное и бесхитростное». От «хитростей» оно редко выигрывает. Впрочем, Набоков и Хемингуэя называл «современным Майн Ридом». Его собственное барокко, временами переходящее в рококо, было чуждо спокойной мужской сдержанности лермонтовской прозы. Ее грустному равнодушию к миру – от полного понимания беспросветности и ничтожности его и одиночества самого себя – и человека в мире… («В себя ли заглянешь, там прошлого нет и следа // И радость, и муки, и все там ничтожно…») Где уж тут «роскошество»?..

«История души человеческой, даже самой мелкой души едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа». Эта максима из предисловия к «Дневнику Печорина» – вместе с тем кредо Лермонтова. То, что Лермонтов спаял в одном романе столь разнородные вещи, как романтическую повесть, реалистический, почти бытовой рассказ и светский реалистический «малый роман» «Княжну Мери», соединив это все с путевым очерком и готической новеллой о предопределении, – и есть путь познания человека, который он предложил.

В сущности, «Бэлой» и «Максимом Максимычем» задан лишь подступ к психологии героя. К загадке ее. С первым приближением к разгадке мы столкнемся только в Тамани – «самом скверном городишке из всех приморских городов России».

Вот краткий диалог в финале слепого мальчика и Янко, контрабандиста:

«…а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.

– А я? – сказал слепой жалобным голосом.

– На что мне тебя? – был ответ».

Но потом и главный герой скажет про себя самого: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной

надобности!..» И окажется, что его отношение к миру – странствующего офицера, дворянина и прочее – мало чем отличается от позиции контрабандиста Янко. И мелькнет еще нечто важное, что мы сперва можем оценить лишь как бойкое сравнение: «Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну».

Этот «камень» станет главной метафорой романа.

Зачем ему хочется быть этим камнем?.. или… зачем он стремится им быть?…

Есть определенное сходство фабул «Онегина» и «Княжны Мери». Странно, что это сходство фактически не бросилось в глаза при появлении романа Лермонтова на свет. «Онегин» Пушкина был слишком известен. Но никто не обратил внимания – не помню, чтоб Лермонтову это ставили как-то в вину. А почему?.. Может, потому же, почему в «Маскараде», по сравнению с «Отелло» Шекспира, – сходство размывается тотчас, как только мы приближаемся к самим персонажам…

Имя Онегин, конечно же, родилось случайно. А вот Печорин уже случайным не был. Был отраженной волной. Вызовом. Хоть Лермонтов еще и не мог читать Белинского – про «разницу между Онегою и Печорою». Он сразу взял этот подъем. С «Княгини Лиговской». Возможно, он догадывался, что когда-нибудь должен будет заменить Пушкина, он знал себе цену. Хотя и не думал, что это произойдет так скоро. Он, вообще, полагаю, ни о чем таком не думал – как всякий молодой человек.

Сравните! «Разочарованный молодой человек», скептик, «демонического складу», как могли сказать тогда, – влюбляет в себя романтическую барышню… эта ситуация приводит его к ссоре с приятелем, который приревновал девицу… дело доходит до дуэли – и на дуэли «скептик» убивает «романтика»… Тут, правда, сходство обрывается, но… даже драгунский капитан, автор дуэльной интриги, вполне мог бы сойти за Зарецкого пушкинского. («Глава повес, трибун трактирный…» «И человека растянуть // Он почитал не как-нибудь, // Но в строгих правилах искусства…») Конечно, у Пушкина две барышни – а не одна… хоть некоторые и полагают (Набоков), что в замысле Пушкина была сперва одна барышня (Татьяна без Ольги).

Что касается внешнего сходства фабулы «Княжны Мери» с «Онегиным» Пушкина – это сходство мгновенно размывается, как только мы приближаемся к самим персонажам.

Параллели: Печорин – Онегин; княжна Мери – Татьяна; Грушницкий – Ленский.

Начнем с княжны. Она, безусловно, романтична – читает Байрона, сентиментальна, способна полюбить, и тот, кого она избирает в итоге, являет собой несомненно *духовное начало*. – То есть ей в жизни дано отличить – недюжинное в человеке, дух истинный (натуру глубокую и сильную) от обманки… суррогата. Но… «Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала… а это великий признак…» – это после мрачных откровений Печорина. Она безумно кокетлива, честолюбива, заносчива, даже взбалмошна. И… вы можете представить себе Татьяну, торгующую в лавке персидский ковер и испытавшую (или явившую наглядно) «восхитительное бешенство» от того, что ковер достался кому-то другому?

Это – Татьяна без *письма к Онегину*. Без клятвы: «Другой!.. Нет, никому на свете // Не отдала бы сердца я…» Без *единственности* ее любви.

Без мольбы о спасении: она вполне согласна с жизнью, какую вынуждена вести.

Без судьбы старших, нависающей над нею угрозой…

Даже без природы вокруг и связи с этой природой… Она ее не замечает.

Грушницкий… «Приезд его на Кавказ так же следствие его романтического фанатизма», – говорит о нем Печорин. Но что за «романтизм»?.. «Грушницкий слывет отличным храбрецом, я его видел в деле; он махает шашкой, кричит и бросается вперед зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость». Можем ли мы представить, чтоб Ленский согласился стреляться с бывшим приятелем, как бы ни был оскорблен, – на условиях, придуманных драгунских капитаном?.. (То есть так – чтоб пистолет противника не был заряжен?) Ленский – чистая природа, какое-то светлое начало романтизма, Грушницкий – всего лишь – выродившаяся ипостась образа…

«Он так часто старался уверить других, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился». Но тут мы останавливаемся – и перестаем ругать Грушницкого. Мы вспоминаем другое:

«– Да! такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали – и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве; я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен. Я был угрюм – другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их – меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир – меня никто не понял, и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом;

лучшие мои чувства, боясь насмешки, я сохранял в глубине сердца; они там и умерли. Я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаянье». Монолог Печорина перед княжной Мери. Но не видим ли мы тут Грушницкого?..

Тут, кстати, почти повтор речи Александра Радина перед Верой – из пьесы Лермонтова «Два брата» – той самой, что была «взята из происшествия, случившегося в Москве». Неудавшейся пьесы, конечно. Там этот монолог был вполне искренен, хоть и не без рисовки – пред самим собой. Произносился перед женщиной, которую страстно любят. Здесь это говорят княжне… приводят ее в трепет, вышибают слезу, но это – лишь повод разжалобить ее качнувшееся в его сторону сердечко – которое, по правде, Печорину вовсе не нужно. Его амбиция – и только. Хотя, кажется, со времен Белинского и до наших дней здесь видели откровение «лишнего человека». Пытающегося выплыть с трудом – среди житейских бурь и мировых и человеческих несовершенств.

Если б это говорилось Вере, доктору Вернеру – близким ему людям, кому-нибудь, в общении с кем мы могли бы предполагать душевную откровенность героя – мы б поверили ему. Однако в этой ситуации пред нами – почти монолог Грушницкого! «Он так часто старался уверить других, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям…» Вот что о Печорине говорит Вера, которая слишком хорошо знает его: «… никто больше не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном».

Сам герой скажет о себе: «А что такое счастие? Насыщенная гордость».

Кажется, что в «Княжне Мери» – дан поединок несчастий: *подлинного* и *мнимого*. Истинного – и взятого напрокат, приклеенного к лицу для вящей выразительности – как маскарадная маска. Но… Главный антипод Печорина в «Княжне Мери» – есть тень, но вовсе не Ленского или какого-нибудь другого романтического персонажа. Это – тень Печорина – пародия на него самого. Его проекция в мире. Издевка автора над своим героем – или насмешка героя над собой… или насмешка автора над самим собой?

Забегая чуть вперед, скажем – Лермонтова тоже убила пародия на него самого: Николай Соломонович Мартынов. Который также писал стихи – и даже были среди них, говорят,

сочувственные декабристам. – Не какой-нибудь там официозный злодей и фанфарон…

Это столкновение человека с пародией на себя – в сущности, центр психологизма «маленького романа» – или главной «повести», входящей в роман.

Может, это и главный ключ к тому обстоятельству – почему 15 июля 1841-го, в седьмом часу вечера, у подножья неизвестно какой горы под Пятигорском – отставной майор Мартынов застрелил на дуэли тенгинского пехотного поручика Лермонтова – хотя они совсем недавно были (или считались) друзьями.

Такой «двуобъектности» – человек и его тень – начисто нет у Пушкина в антиномии «Онегин – Ленский». Там герои принципиально различны. Два измерения жизни. Два возраста – жизни и любви.

И еще одно… может, самое важное… «Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно», – говорит Печорин, услышав первую реляцию доктора Вернера о матери и дочери Лиговских и об интересе, явленном княжной к Грушницкому. Почему ему хочется досадить Грушницкому? Потому что он так плох или так антипатичен ему? Ну конечно, Грушницкий «из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания». Нет, возможно. Грушницкий неприятен Печорину именно этой своей пародийностью по отношению к нему. Какое-то кривое зеркало – Репетилов рядом с Чацким. Но все же… согласитесь, это – не повод, чтоб раздразнить его, как зверя – и погубить.

«Я его понял, и он за это меня не любит… Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь столкнемся с ним на узкой дороге и одному из нас несдобровать».

Но… одна деталь… Вернер говорит о Грушницком:

«– Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль…

– Надеюсь, вы оставили ее в этом приятном заблуждении…

– Разумеется.

– Завязка есть! – закричал я в восхищении: – об развязке этой комедии мы похлопочем…

– Я предчувствую, – сказал доктор, – что бедный Грушницкий будет вашей жертвой».

Эта «завязка» приведет к смерти Грушницкого и к горькому разочарованию во всяком случае – а скорей, к глубокой душевной травме – княжну Мери.

«Послушай, – сказал Грушницкий очень важно: – пожалуйста,

не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем…. Видишь, я люблю ее до безумия… и я думаю, я надеюсь, она также меня любит…» – Это все написано. Он изливался в своих чувствах Печорину – по глупости, не ожидая подвоха… на самом деле он не испытывает никакой неприязни к Печорину.

Однако… Тот начинает действовать лишь потому, что ему скучно!

Курортная скука, бесплодные занятия, ненужные романы – и в итоге погубленная человеческая жизнь – все это будет не раз описано еще, и после Лермонтова тоже. Однако…

Откровения Печорина об истоках своего жизнеотношения, приведенные нами выше в разговоре его с княжной Мери – дают нам лишь возможность сформулировать, почему им решительно нельзя верить! Поступки героя Лермонтова обусловлены каким-то *побуждением*, но это побуждение всегда тёмно. Тайна духа героя сокровенна – в том числе она – тайна и для него самого. Герой перебирает причины, тасуя их про себя, – но сам понимает, что не в них дело. А дело в чем-то другом. Он признается себе: «Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы…» – Это, разумеется, все не так грубо и примитивно – как в речах простого контрабандиста Янко в «Тамани». Но это – решительно то же самое. «Зло порождает зло, – рассуждает Печорин, – первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он захотел приложить ее к действительности; идеи – создания органические, сказал кто-то; их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие…»

«Как камень, брошенный в гладкий источник…» И вот серьезный, умный, явно прочитавший много книг и много над ними думавший человек, и не скажешь чтоб лишенный вовсе благородства – понятия о благородстве, – становится орудием зла… Ибо существует страсть ко злу – которой он сам не может понять и унять в себе.

Сделаем ход, может, самый неэтичный по отношению к роману и его герою. И сосчитаем души, погубленные этим «камнем»: старуха и слепой (в «Тамани»), княжна Мери, Грушницкий, Бэла, Вера, несчастный Азамат – мальчишка с его дикой мальчишеской, типично восточной идеей – украсть родную сестру в обмен на чужого коня… и совращенный старшим, далеко не «восточным» – российским, светским человеком, помогающим ему сделать это… (в то время как он, кажется, по воспитанию

своему – должен был содрогнуться от одной этой идеи и помешать ее осуществленью) – и смертельно обиженный Максим Максимыч… И мы можем вспомнить еще загнанного коня… который после, в «Холстомере», воскреснет у Толстого (гонка за возлюбленной).

«Детерминированность поведения и характера – основная установка реализма XIX века», – указывает Гинзбург[50].

У нас долго не замечали, что у Лермонтова нет вовсе этой *детерминированности*. Что приближает его к нам. С этим он перепрыгивает в XX век. Может, в XXI.

Термин «лишний человек», столь понравившийся когда-то в России, открывший когда-то целую плеяду таких личностей – но самых разных людей и создавший стройную теорию их существования, – начисто отбил у нас охоту искать других объяснений. Или заставил расписаться в бессилии?..

Мне скажут – что Грушницкий сам нарвался на все безвкусицей своего поведения. Которое заставит нас всю дорогу – почти до конца повести – любоваться вместе с героем тем, как он вертится в силках, расставленных умелой рукой приятеля… совершая ошибку за ошибкой и даже преступая границы обычной порядочности. Все правда, но никто нас не убедит, что в Грушницком не открыли этот клапан почти силком извне… не вытащили из человека неопытного и нестойкого – и эту безвкусицу, и эту непорядочность – со дна его души, не скажем ничтожной, нет! – не ничтожной, только слабой, пожалуй, – все эти качества, которые мирно там дремали, – не извлекли их на свет и не сделали новостью для него самого. При всей его примитивности – он был молод, влюблен… он приехал на воды после ранения и отчаянно жаждал жизни и любви.

Скажут, что княжна Мери – уж точно не Татьяна Пушкина со своим честолюбием, кокетством, своей мелкостью – если хотите! Ну да, она – не Татьяна – обычная светская барышня – не лучше, не хуже других. Но и ее маленькая душа чего-то стоит в этом мире. И они оба сталкиваются с человеком, который мог наедине с собой сказать о себе: «Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил, я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца…»

Может, это – главная тема романа Лермонтова: «странная потребность сердца». Мы с вами жалеем ее? Да. Лермонтов заставляет нас жалеть тех, кто не так уж заслуживает жалости. И в этом – одна из вершин психологизма в прозе. И он был первым, возможно, кто этой вершины достиг.

С другой стороны, даже Вера – нежное, болезненное,

бесконечно любящее, трагическое создание – все же снабжено автором неким ограничителем нашей к ней приязни. Вот их первая встреча после разлуки.

«– Мы давно не видались, – сказал я.

– Давно, и переменились оба во многом!

– Стало быть, уж ты меня не любишь?..

– Я замужем!.. – сказала она.

– Опять? Однако несколько лет тому назад, эта причина также существовала; но между тем…» И дальше:

«Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем – тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре: она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: *она его уважает, как отца! и будет обманывать, как мужа!..* Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!»

Эта «*странная вещь*» и парализует невольно – и безо всякого ханжества, наше прямое сочувствие персонажу. Все становится много сложней. И это несмотря на то, что перед тем идет выразительное:

«Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий…

„Может быть, – подумал я: – ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда…“»

Вера сама уговаривает его поухаживать за княжной Мери: «Я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание». Она настаивает на этом: «Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими?.. Мы только там можем видеться…» – Так что она косвенно берет на себя вину за все дальнейшее. Тем более что она знает Печорина: «…это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями…» А уже – через сцену: «Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, поверять ей свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор! …лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь!..

– Но если я ее не люблю!..

– Так зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?..»

Но она же сама говорила ему: «О, я тебя хорошо знаю!..» Однако… эгоизм лермонтовских персонажей поразителен. В них полное отсутствие самоотвержения или простой осторожности, какую испытывают люди, боясь причинить кому-то вред. Печорин – всего лишь центр этого клубка – безумного столкновения отдельных эго… Но никак не единственный эгоцентрик повести.

«Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь удовольствие сказать ему…»

Впрочем, что сказать – уже все равно. «Что такое счастие? Насыщенная гордость» – не больше и не меньше.

«А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она, как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге; авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность…» Достаточно?..

«Княжна Мери», пожалуй, более всех в «длинной цепи повестей» (хотя и не такой длинной, признаться) выражает это отчуждение человека от себе подобного – и его безжалостность по отношению к другому.

Впрочем… «Бэла» выражает все это не меньше. Разве что – романтический антураж, кавказский колорит смягчают невольно ощущение. (Там, в горах, в диком образе жизни гор – что только не случается!) И потом… Это, напомним, рассказ со стороны. И, несмотря на его жесткость, жестокость, оставляет впечатление восточной сказки. Темы абрека Казбича, его коня, бесстрашного и не по-европейски коварного юноши Азамата – несколько разжижают кровь повествования.

В «Княжне» Печорин рассказывает о самом себе и судит себя со всей откровенностью. (Иногда, правда, несколько любуясь

собой.) Его исповедь, говорит нам автор в предисловии к самому дневнику, «следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и… писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям».

Печорин в самом деле – таков характер его дневника – пишет только для себя и о самом себе. Его цель – попытка понять себя. И автор через него дает нам понять, что эта попытка проваливается.

Человек остается загадкой – в том числе для себя самого.

«Неужели зло так привлекательно?» – спрашивает он себя, прекрасно понимая, что это зло. Жизнь и женщины часто убеждают его в этом сами: «Ни в ком зло не бывает так привлекательно, ничей взор не обещает столько блаженства, никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами…» Это говорит Вера. Все так! Но природа этой власти, ее «преимущества» над другими людьми, скорей, не в собственном его характере или силе – но в понимании пружин действительной жизни. Печорин властвует – потому что он *знает* других людей и не ждет от них ничего хорошего. (Даже от доктора Вернера в итоге – не ждет!) Он почему-то уверен заранее, что Грушницкий, пытаясь защитить свою любовь, начнет совершать неблаговидные поступки. Потом просто подлости… Иногда он пытается обманывать себя: «Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя».

Врет. Не сделали бы.

Он не может мечтать – потому что все знает наперед. Мечта есть надежда, возникающая от несовершенства знания.

«Неужели, – думал я, – мое единственное назначение на земле разрушать чужие надежды? С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязкам чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был *необходимое лицо пятого акта*; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?» Последний вопрос нуждается в ответе. Но… «дай ответ – не дает ответа».

Этот «камень» Господь бросает в какой-нибудь «гладкий источник», где и без того – черти водились. Только камень помог им обнаружить свое существование.

Какие-то вещи в финале Печорин мог бы уже и не говорить. И так все понятно. Мы вполне сознаем к концу, что он не будет пред дуэлью писать завещание и умирать, «произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос». Этот вызов, скорей, залихватский, чем

искренний, все равно не снимает генеральной загадки характера и поступков героя – и, как все прочее, все равно не способен ничего объяснить. Ибо это – не его загадка, а загадка мира!

Необыкновенен финал мрачной истории Грушницкого.

У Лермонтова очень точно *выделано* буквально – как он бьется в тенетах созданной приятелем интриги. Мы это уже говорили. Как он начинает терять себя. В «Онегине» у Пушкина было:

> Приятно дерзкой эпиграммой
> Взбесить оплошного врага;
> Приятно зреть, как он упрямо,
> Склонив бодливые рога,
> Невольно в зеркало глядится
> И узнавать себя стыдится.
> Приятней, если он, друзья,
> Завоет сдуру: это я!..

Грушницкий и впрямь завыл сдуру: «Это я!» Его, неплохого, в сущности, парня, не знающего мира и людей – оскорбленного, униженного и жаждущего мщения, – подтолкнули опять извне – драгунский капитан – к неправедным поступкам… которые сначала казались, верно, просто насмешкой, издевкой над обидчиком, – но стали дуэлью с преступным нарушением правил. Дуэль с незаряженным пистолетом у одного из дуэлянтов, по дуэльному (и уголовному даже) кодексу тех времен, – это преступление.

И Лермонтов совершает здесь нечто недоступное пониманию – с точки зрения возможностей языка искусства. Мы ведь слушаем рассказ Печорина, а значит, смотрим на все *с его* стороны! – Есть такая магия рассказа от первого лица: мы почти всегда на стороне рассказчика, и, даже если он говорит нам что-то противоречащее нашим представлениям о добре и зле – мы до конца остаемся с ним и лишь задним числом начинаем вводить в действие правила морали, существующие в нас самих. Сознавать несоответствия.

И вдруг мы, продолжая слушать этот рассказ одного, – переходим на сторону другого. Мы сочувствуем ему – видим его колебания. Мы улавливаем движения его простенькой души, которой вовсе не хочется брать на себя грех, а с другой стороны – обида, обида… Сознаем, что Грушницкого раздразнили, как быка, вытащили все дурное – со дна его души. Извлекли почти насильно. – То, что он никогда не подозревал в себе. Что, может, никогда бы и не вышло на свет. Не открылось: «Аз есмь!» Его просто затянула воронка ненависти и обиды. Просто он виноват в

том, что встретился в жизни с человеком «пятого акта» всеобщей драмы.

И вдруг понимаем, что сейчас, на наших глазах – и при нашем участии, как сочувствующих Печорину, – ни за понюх табаку погибнет мальчишка двадцати одного года, вчерашний юнкер… который приехал с фронта после ранения – и только хотел быть счастливым, и виноватый лишь в том, что кому-то были непереносимы его восторженность и… собственное ощущение курортной скуки.

«Грушницкий, – сказал я, – еще есть время. Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все; тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено, – вспомни, мы когда-то были друзьями».

Вспомним – друзьями они никогда не были. И Печорин вовсе не вел себя как друг – с самого начала.

«Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

– Стреляйте, – отвечал он. – Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места…»

Печорин выстрелил. Для того, чтоб сказать: «Стану я стрелять в этого дурака?» – он должен был быть Лермонтовым. Не забудем, что все происходило на площадке в горах, где у каждого за спиной – пропасть. В последний момент мальчишка показал, что умеет проигрывать.

Печальная история.

Скука Онегина разрушительна для него самого и его веры в жизнь. Но он следует только за случайностями своей судьбы. Он их не проектирует.

Скука Печорина разрушительна для него самого и убийственна для других людей. И он сам творит своими поступками губительные случайности. Может, Лермонтов спорил с Пушкиным потому, что явление показалось ему более глубоким, более опасным… Катастрофическим.

> И вслед за шумною толпою
> Идти, не разделяя с ней
> Ни общих мнений и страстей…

…как шел Онегин – Печорин не может. Он вовсе не идет вслед за толпой. Он ее знает наизусть, изучает ее и пользуется ее слабостями. В его знании этих слабостей его *демоническая* сила.

> Смертельный яд его лобзанья
> Немедля в грудь ее проник…

Поцелуй Демона убивает Тамару.

Лермонтов глядит на своих героев без ухмылки и сострадания. Он – только «путешествующий и записывающий» автор. Он смотрит на них *со стороны* – с иронией и вместе с печалью необыкновенной. «И с грустью тайной и напрасной // Я думал: жалкий человек // Чего он хочет?..» – мы это услышим еще – в другом месте. Он знает им цену – всем людям – не исключая себя. Он «посторонний». Что из того, что так писать человека начнут через какие-нибудь сто лет или больше?.. Его герои не имеют ни идей, за которые стоило б бороться и объединяться или сталкиваться друг с другом («идеологический роман»), ни настоящих объяснений себе и другим («объяснительный реализм»). Все это придет потом…

Хотим мы признать или не хотим, но Лермонтов первый нащупал тему *сверхчеловека*, которую позже свяжут прочно с именем Ницше. И об этом сверхчеловеке он, Лермонтов, словами Печорина, «отнесся дурно». И в поэме, и в пьесе, и в романе. Попросту говоря – он *испугался* его! Про Лермонтова можно сказать с полным правом: *антиницшеанство – до Ницше*.

И еще одно замечание…

«Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания», – сообщает доктор Вернер Печорину после беседы о нем с княгиней Лиговской. И еще: «Кажется, ваша история наделала там много шума» (то есть в Петербурге. – *Б. Г.*). Но никакой истории нет и в помине. Это, кстати, в корне отличает Лермонтова от Пушкина. Вспомните, как подробно, начиная с детства, дается у Пушкина личная история Онегина, вспомним вообще эту особую тягу Пушкина к истории. Он был по природе *историчен*.

Но…

Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю, за что не знаю сам…

«История души человеческой…едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа» – с этим первый экзистенциалист в русской литературе вступил в свой XIX век. Кстати, он был современником Кьеркегора и, значит, современником самого рождения этого слова.

Здесь можно вернуться уже – и к теме *композиции романа*. Композиция эта настолько странна, что мало кто решался заниматься ею всерьез. Повторим нашу схему сюжета:

«Путевой очерк» наподобие «Путешествия в Арзрум» (Автор-рассказчик и Максим Максимыч) – «Бэла» – «путев. очерк» (продолжение – встреча с Печориным) – «Дневник Печорина»: «Тамань» – «Княжна Мери» – «Фаталист».

В романе несколько рассказчиков: Автор, Максим Максимыч, сам Печорин…

И рассказывают они разного рода эпизоды: Автор – про встречу с Максимом Максимычем, Максим Максимыч – историю Бэлы и Печорина, Печорин – про встречу в Тамани с «кругом честных контрабандистов», историю в Пятигорске и дуэль с Грушницким и странный эпизод с поручиком Вуличем.

Напомним снова: Максим Максимыч передает нам историю Бэлы, как загадку человека – некоего Печорина… потом мы встречаем его, видим его в действии, потом читаем его дневник…

И тут пред нами тоже – три ветви рассказа: встреча героя с кем-то чуждым ему – со сторонними людьми (мы это уже говорили): намек на попытку что-то узнать о них, столкновение с тайной; попытка человека понять себя («Княжна Мери») и финал – история о сбывшемся предопределении – поручик Вулич, который так и остается для нас тайной.

Нет никаких причин, почему Вуличу вздумалось рискнуть жизнью. Нет, возможно, и есть, – но мы их не знаем, читатели. И не узнаём в итоге. Разумеется, не знает их и сам Печорин – «автор» рассказа, приведенного в дневнике… Он просто остановился – перед загадкой человека. Как прежде все останавливались перед другой загадкой – *его самого*.

Но Вулич рискнул – а пистолет не сработал. Осечка. Он остался жив – только ночью его зарезал пьяный казак, которого удалось в итоге схватить Печорину. «Офицеры меня поздравляли – и точно, было с чем!» – чуть хвастливо или иронически добавляет он. Впрочем…

На его месте мог быть кто-то другой – и схватить казака. Для сюжета это не так важно: что Печорин храбр – мы знали и без того – он стоял, не дрогнув, в дуэли на шести шагах, на узенькой площадке в горах и знал, что пистолет противника заряжен, а его – нет, и медлил… и пытал судьбу – смелый человек. Но рассказ-то вовсе о другом. О *предопределении*. И даже не о нем – о чем-то большем. Человек пошутил с жизнью, с Богом, а Бог той же ночью предъявил ему счет. Сам Печорин долго шутил с жизнью, с

Богом… а Бог был рядом и смотрел. «Осторожно – Бог!» А может, и весь этот странный роман тяготеет к этой мысли в финале?.. Но рассказ не о Печорине – о ком-то ином, скажете вы. О поручике Вуличе. Правильно! В этом и манок лермонтовской композиции. Ее особость. В «Тамани» он предостерегает героя от собственного его жизнеотношения – случайным вторжением героя в судьбу чужих ему людей – с чужими словами, подслушанными им. А в финале – метафизикой чужого поступка. История с Вуличем звучит предостережением – и предопределением для самого героя.

«– Да-с! конечно! – это штука довольно мудреная! Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны, – приклад маленький, того и гляди нос обожжет… Зато уж шашки у них – просто мое почтение!..» – будет рассуждать Максим Максимыч по этому поводу. И Лермонтов снова напомнит нам Хемингуэя или кого-нибудь еще из писателей XX века, а может, они напомнят его? «– А если я это сделаю, то все опять пойдет хорошо, и если я скажу, что холмы похожи на белых слонов, тебе это понравится? – Я буду в восторге».

«Потом он примолвил, несколько подумав (Максим Максимыч. – *Б. Г.*):

– Да, жаль беднягу… Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений».

Слово «метафизический» – «метафизика» – чуть не последнее в этом романе.

Мы готовы сказать: *метафизический роман Лермонтова*.

5

Что касается ряда чисто автобиографического… Мы можем наблюдать, как Печорин из «Княгини Лиговской» переходит в Печорина из «Героя нашего времени», и как при этом иссекается буквально из героя – образ автора.

В первом романе: «…мы свободно можем пойти за ним и описать его наружность – *к несчастию вовсе непривлекательную*[51]; он был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению. Но сквозь эту холодную кору

прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться, и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтоб скрыть собственное смущение, и в свете утверждали, что язык его зол и опасен… ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что могло бы обличить характер и волю: свету нужны французские водевили и русская покорность чуждому мнению. Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера…» Внешне здесь многое напоминает, кажется, самого автора романа.

Во втором случае – Автор-рассказчик первый и единственный раз видит Печорина вживую… еще *до* чтения его дневника: «Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение; его запачканные перчатки казались сшитыми по его маленькой аристократической руке, и, когда он снял перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива… С первого взгляда на лицо его я дал бы ему не более 23 лет, хотя после готов был дать ему 30. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую… Несмотря на светлый цвет его волос, усы и брови его были черные – признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади; чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; об глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском… То не было отражение жара душевного или играющего воображения; то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его, непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы показаться дерзким, если не был бы столь равнодушно спокоен».

Не знаю, как кому, – мне этот «фосфорический блеск, подобный гладкой стали», это сочетание «злого нрава или глубокой постоянной грусти» – напоминает врубелевского «Демона». Две длинные выписки, в сущности, демонстрируют

нам, как автор расходится со своим героем – и как из почти автопортрета – рождается образ Демона.

Автобиографически – и в «Княгине Лиговской», и в «Герое» существует след обрыва отношений Лермонтова с Варей Лопухиной… в обоих романах героинь зовут Вера (почти Варя). В «Княгине» всё больше похоже на действительность лермонтовской судьбы: роман с Лизой Негуровой (читай, с Катериной Сушковой) – как повод к замужеству Веры: она выходит замуж за старого князя Лиговского. Потом они встречаются с Печориным – уже в Петербурге. В дальнейшем, наверное, должна была быть тема несчастья этого замужества (она уже намечена в описаниях и впечатлении Печорина от мужа новоиспеченной княгини).

В Вере из «Героя нашего времени» автобиографической осталась лишь тоска по несбывшемуся. И Варя, какой она рисовалась Лермонтову, сквозь годы и расстояния… Как будто еще – он преувеличивал «светское значение» дальнейшей жизни Вари. Это сказалось, наверное, и в «Валерике». Во втором романе очевиден намек на сам облик Вари. Родинка, которая у Вари Лопухиной была над бровью, у Веры в «Герое» появилась на щеке. Мотив был очевиден, намек все поняли. И про мужа – «хромого старичка» – всё всем было понятно. На что г-н Бахметев – который не был, кажется, таким уж «старичком» (ему было под 40, когда писался роман, 42 – когда роман вышел в свет) и не был хром – реагировал естественным способом: прилюдными заявлениями, что он никогда не ездил с семьей на Кавказские воды… Они оба с ее мужем ее не щадили.

Мы уже говорили о «трех демонах», созданных Лермонтовым в трех разных жанрах или даже родах литературы: в поэзии, в прозе, в драматургии. Его работа над «Демоном» чуть не с детства, многочисленные редакции, повторявшие без конца первоначально мелькнувшую мысль, – говорят о том, сколь он был предан самой постановке вопроса, насколько она занимала и не отпускала его… В 35-м рождается «Маскарад» – первая редакция. Вспомним, за что – в основной редакции пьесы – Неизвестный мстит Арбенину. Свести это, как у нас делалось очень долго, к простому продолжению байроновской или пушкинской темы («обратившись к этой теме, Лермонтов продолжил пушкинские традиции»[52]), – значит упростить Лермонтова и вовсе не замечать, какие всходы через столетие даст его поэтический порыв.

Николай I, которого у нас опять стали любить, как других царей – может, в «бесплодных усилиях любви», в потребности полюбить вообще кого-нибудь, – отозвался, как мы знаем, о

романе крайне недружелюбно.

Кто только не цитировал этот упрямый текст из письма к императрице:

«Я прочел „Героя“ до конца и нахожу вторую часть отвратительною, вполне достойною быть в моде. Это то же преувеличенное изображение презренных характеров, которые находим в нынешних иностранных романах. Характер капитана прекрасно намечен. Когда я начал эту историю, я надеялся и радовался, что, вероятно, он будет героем нашего времени, потому что в этом классе есть более настоящие люди, чем те, кого обычно так называют. В кавказском корпусе есть много подобных людей, но их слишком редко узнают; но в этом романе капитан появляется как надежда, которая не осуществляется…»[53]

Ну и дальше, всем известное: «Счастливого пути, господин Лермонтов; пусть он очистит свою голову, если это возможно, в сфере, в которой он найдет людей, чтоб дорисовать характер своего капитана, предполагая, что он вообще в состоянии его схватить и изобразить». Это Лермонтов уезжал во вторую ссылку.

Все-таки ничего! Другой диктатор написал на полях другого романа («Чевенгур») просто-напросто: «Мерзавец!» А еще один диктатор в сфере идеологии, спустя лет сорок, сказал автору другой книги: «Ваш роман увидит свет лет через триста!» Так что, надо признать, сравнительно с этим, Николай Павлович был все-таки достаточно культурный и милостивый человек.

Одно, чего он совершенно не понял в романе: отношения автора к герою. И к Максиму Максимычу тоже, кстати! Максим Максимыч – единственный персонаж в романе, кроме Бэлы, разумеется, – кто вызывает у автора живейшую симпатию. Правда, царь Николай еще не мог читать в то время предисловия ко второму изданию.

Что касается Печорина… автора он не восхитил ни в какой мере, мы говорили уже – он его *напугал*. Даже если это был в какой-то мере испуг человека перед самим собой – или перед чем-то в себе.

«Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это *портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии*[54]. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что, ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина?» и так далее. – Предисловие ко Второму изданию романа.

И вместе с тем нельзя отрицать трагичность Печорина. «Характер человека есть его демон, в конечном счете – его

судьба», – говорил Гераклит. Не только сам человек – демон для других, но он и одержим этим демоном.

Демон Печорина – его знание человеческих слабостей. Знание самого человека – каким его сотворил Господь. Это – печальная награда судьбы. Она мешает наслаждаться жизнью. Познание есть плод, сорванный с древа Добра и Зла. И суть в том – что это одно дерево! Но библейский смысл романа как-то остался в стороне от исканий поздних комментаторов, упрямо державшихся за байроновское или пушкинское начало в Лермонтове и почему-то не хотевших признавать того нового и неожиданного поворота, какое сии начала в нем приобрели. Человек не знает, что делать с собой, и приносит зло другим. На вершинах духа – холодно. На этом ветру мерзнет и скукоживается милосердие. «Но есть и Божий суд… Есть грозный суд, он ждет…»

Тема чисто экзистенциальная. Лермонтов был первым экзистенциалистом в нашей литературе. Может, единственным – на долгий срок. Может, ему наследовал только Бунин «Темных аллей», не знаю.

Кажется, эта мысль уже высказывалась. Шестов писал: «Кьеркегор называл свою философию экзистенциальной – словом, которое само по себе нам говорит мало. Того, что можно бы назвать определением экзистенциальной философии, он не дал». (Он называет Кьеркегора Киркегардом.) И указывает далее: «Начало философии не удивление, как учили Платон и Аристотель, а отчаяние».

Философия отчаяния человека, который жаждет добра и любви, но способен причинять только зло, – может, главная из загадок нашего бытия – и есть философия лермонтовского романа. И странно, что, отдав столько места связи Кьеркегора с Достоевским, тот же Шестов совсем оставил в тени Лермонтова.

«Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел во Владикавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет».

Зачем ему это понадобилось – как раз там, где «куколка» у него превращается окончательно в «бабочку», а «путевой очерк» – в роман, – вдруг так заторопиться, так пришпорить коня – и так лягнуть Пушкина?

Но вспомним композиционное значение этого поворота в романе: начало «Максима Максимыча»…

Сейчас на его страницах – в первый и единственный раз – перед нашими глазами (и глазами Автора-рассказчика) – не в повествовании Максима Максимыча, а вживую – появится Печорин – чтоб навсегда исчезнуть дальше. Останется только его дневник. «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало…» – Вы можете представить себе – чтоб Пушкин «обрадовался», узнав о смерти Онегина?

Но непосредственно в романе, сейчас, на фоне гор – эта встреча роковая и самая важная. Ибо весь пейзаж до сих пор писался для нее. Тут не просто пейзаж – Кавказ, горы, Арагва, – но *пейзаж с фигурами на заднем плане*. И фигур этих две – ОНЕГИН И ПЕЧОРИН.

В этом месте совсем молодой автор «Героя нашего времени» бросал вызов – великому роману Пушкина.

Глава четвертая
Война и мир

1

Наша батальная проза и поэзия часто забывают, что они в долгу перед Лермонтовым. И в каком долгу! Фактически он – первый в России мастер-баталист в литературе. Мы до сих пор не разделили в пространстве солдатскую – суровую и грустную картину, которую писал Лермонтов на войне и о войне, – от поэтических лубков, более ранних, рисовавшихся пристрастным и поверхностным взорам тех, кто, подобно Туманскому в «Онегине», начинал воспевать Одессу чуть не прямо с колес своей кибитки…

Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом,
Один над морем, и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Всё хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом.

Самое странное в Лермонтове – его предвидение и предугадывание той действительности – которая лишь когда-нибудь еще должна была открыться ему.

Первые строки истинного «Бородина» написаны совсем мальчиком. Еще не думавшим, кстати, что он когда-нибудь пойдет в гусары. В «Поле Бородина» уже есть рождение батальной поэзии в ее истинном виде – разве что еще слабое поэтически:

Марш, марш! Пошли вперед, и боле
Уж я не помню ничего.
Шесть раз мы уступали поле
Врагу и брали у него.
Носились знамена, как тени,
Я спорил о могильной сени,
В дыму огонь блестел,
На пушки конница летала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Как видим, строки истинной поэтической картины боя, каких до той поры, кажется, не существовало в русской военной поэзии, – уже есть. Надо только найти лапидарную строфу – могучее семистишие «Бородина», – чтоб эти строки вставить:

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел…

Музыкальный аккорд – свистящий, жужжащий, звенящий… З-з-Ч-ч-Ж-ж… (почти такой, как будет у Блока, когда будут визжать тормоза на железной дороге: «ТоССка дорожная, Ж-железная // СвиСтела, СердЦе раЗЗрывая…»):

«Звучал булат, КартеЧь виЗЖала…» Настолько сильней теперь, чем прежнее – светское, «аристократическое» «я спорил о могильной сени…», взятое целиком из поэзии более раннего

времени! – это простое, почти будничное, чуть свысока – и вместе, с неизъяснимой тоской: «Вам не видать таких сражений!» …Когда он будет писать «Бородино», до настоящего его участия в войне останется более трех лет.

Вообще, все направление переделки «Поля Бородина» в «Бородино» есть путь к конкретности. К солдатскому ощущению войны. К детали – простой и ясной:

Всю ночь у пушек пролежали
Мы без палаток, без огней,
Штыки вострили да шептали
Молитву родины своей.
Шумела буря до рассвета;
Я, голову подняв с лафета,
Товарищу сказал:
«Брат, слушай песню непогоды;
Она дика, как песнь свободы».
Но, вспоминая прежни годы,
Товарищ не слыхал.

Поле Бородина

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый,
Кто кивер чистил, весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

Бородино

Общепоэтическая буря и «дикая песнь свободы» сменились простым ощущением предсмертной тоски на тихом ночном биваке и каких-то примитивных – сиюминутных, но важных дел…

И вождь сказал перед полками:
«Ребята, не Москва ль за нами?..»

В «Бородине» уже нет никакого поэтизированного «вождя». Конкретный человек с биографией заменил его – командир, стоящий рядом со своими солдатами.

Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой…
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята, не Москва ль за нами?..»

Здесь, по сравнению с «Полем Бородина», идут сознательные упрощения. Но они дают фантастический взрыв эмоций. И взросление автора видно на каждом шагу.

Что Чесма, Рымник и Полтава?
Я, вспомня, леденю весь.
Там души волновала слава,
Отчаяние было здесь.

Поле Бородина

Одическое дыхание исторических штудий и воспоминаний сменяется в «Бородине» простым *эффектом присутствия* человека в трагедии. Его места в ней:

Живые с мертвыми сравнялись;
И ночь холодная пришла,
И тех, которые остались,
Густою тьмою развела.
И батареи замолчали,
И барабаны застучали,
Противник отступил:
Но день достался нам дороже!
В душе сказав: помилуй Боже!
На труп застывший, как на ложе,
Я голову склонил.

Поле Бородина

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять.
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,

Товарищей считать.

Бородино

В «Бородине» Лермонтов почти нигде не нарушил уже солдатской интонации рассказа. Принятого на себя обязательства видеть событие глазами участника и действователя. Он был достаточно одинок в этом своем желании. Даже поэт-партизан Давыдов писал более о перерывах между боями. Или:

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу…

«Бородино» было одной из первых попыток описания боя изнутри. Напомним еще: первый вариант («Поле») написан почти мальчиком, – а второй тоже совсем молодым человеком, который еще пороху не нюхал.

2

Конечно, вершиной батальной лирики Лермонтова – а это, несомненно, лирика! – не элегия, не ода… является это стихотворение без названия: «Я к вам пишу, случайно, право», которое в скобках, в ряде изданий, называют «Валерик»[55].

Здесь бой не только бой с врагом, но внутреннее действо и личностное ощущение смертного человека. И опять надо вспомнить Пушкина. Ибо Лермонтов явно поставил пред собой образцом – именно его, и именно – «Полтавский бой»: великий военный апофеоз «Полтавы».

И нужно напомнить снова: Пушкин трижды бросал на весы правду Человека и правду Государства, Истории… Чтоб в «Полтаве» твердо вырешить эту антиномию в пользу Государства. В данном случае государства Петра. Вспомним, несчастная любящая Мария – жертва политической распри – вообще исчезает в финале. Ее нет – и судьбы ее тоже нет… («Она вспрыгнула, побежала // И скрылась в темноте ночной».) Остается лишь правда героики: сражения, победы. («Эроика» – был такой великий польский фильм о прошедшей войне режиссера Анджея Мунка, рано погибшего.)

В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

Пройдет немного лет, и этот герой уже будет «горделивым истуканом» мчаться по площади, с угрозой за «безумцем бедным» – Евгением… (Кстати, вряд ли случайно простой герой «Медного всадника» носит имя главного героя Пушкина!) И возникнет еще одна антиномия – и вряд ли автор вырешит ее теперь в пользу Государства!

Но сам «Полтавский бой» непременно нужно вспомнить – чтобы перечесть «Валерик» Лермонтова.

И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,

Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь рубятся с плеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский – колет, рубит, режет,
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.
……
Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! О славный вид!
Еще напор – и враг бежит:
И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Как роем черной саранчи.
Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его…

У Тынянова, в романе «Смерть Вазир-мухтара», Грибоедов спрашивает автора:

«– А вы заняты военной поэмой?

Тут Пушкин поморщился.

– Полтавская битва. О Петре. Не будем говорить о ней. Поэма барабанная.

Он посмотрел на Грибоедова откровенно и жалобно, как мальчик.

– Надобно же им кость кинуть!»[56]

Это звучало красиво в те времена, когда надо было во что бы то ни стало показать, что Пушкин был противник царской власти. Это касалось даже Петра. Потом понадобилось совсем иное… возвышать Петра. – Чем и займется «красный граф» – Алексей Толстой. А после даже и Ивана Грозного… Он и за это возьмется. И Тынянов с его шутками времен отошедшей революции – уже больше не понадобится. Но… Я никогда не верил, что Пушкин мог такое сказать Грибоедову. Да и кому угодно тоже. Создавая «Полтаву», он именно так и думал. Не в этом дело. Но Лермонтов точно думал иначе. И о войне вообще…

…Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало;
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовалися на них
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет.
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет…

Он точно «видал представленья», каких не было на пушкинской «сцене»!

Раз – это было под Гихами,
Мы проходили темный лес;
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.

Знакомые названия, не правда ли? Аул Гихи – еще недавно мелькал у нас в сводках. Да и речка *Валерик*… – «А перевесть на ваш язык так будет речка смерти…» – она тоже вряд ли пересохла с тех пор.

…Ура – и смолкло. – Вон кинжалы,
В приклады! – и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,

Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть…
(И зной, и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.

«И мы услышали великое безмолвие рубки», – скажет Бабель, почти столетие спустя, ставши свидетелем битвы Первой конной. Вот это «*великое безмолвие рубки*» – открыл в литературе Лермонтов. Как люди крошат людей. Он писал войну, какую никто не писал до него. Ее простоту и не героическую природу. Мудрую и обыденную завершенность «трагического балета».

На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленях; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью… на шинели
Спиною к дереву лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно поднималась, взоры
Бродили страшно…
……..
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые…
И тихо плакали… потом
Его остатки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли. Тоской томимый,
Им вслед смотрел я недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли,
Но не нашел в душе моей

Ни сожаленья, ни печали.

Как так? Почему не нашел?.. Впрочем… Он сам не сразу ответит. Может, не знал ответа.

А где же кода? Где «пир Петра» – пушкинский? Пожалуйста! Есть и «пир»:

Уже затихло всё; тела
Стащили в кучу. Кровь текла
Струею дымной по каменьям,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал….

И тогда начинается прозрение – и автора, и читателя:

Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там, вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной
Тянулись горы, и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?..

Это мрачное равнодушие человека – как равнодушие самой природы. Или Бога?..

Уже в первом рассказе Л. Толстого «Набег» будет явствен этот след «Валерика»[57]:

«Природа дышала примирительной красотой и силой. Неужели тесно жить людям под этим неизмеримым звездным небом? Нужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непосредственным выражением красоты и добра»[58].

«Да! будет, – кто-то тут сказал, —
Им в память этот день кровавый!»
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал….

Лермонтов писал войну, как вскоре станет писать Толстой свой Севастополь, свой Аустерлиц и свое Бородино. Как век спустя будет писать свою «Конармию» Бабель, а Хемингуэй – Италию Первой мировой или Испанию времен гражданской войны. Как В. Некрасов и В. Гроссман будут писать свой Сталинград, а Твардовский и Вячеслав Кондратьев – свой Ржев… И когда С. Гудзенко скажет:

Бой был короткий. А потом
Глушили водку ледяную
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую… —

…он тоже будет наследником Лермонтова.

«Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в моей повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны. Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, правда»[59].

В старости уже, ворча на всех и вся – и на себя, и на литературу в особенности: «Все литераторы, все литераторы!» Толстой все ж будет признавать: «Я и Лермонтов – не литераторы!»

3

В этом большом стихотворении о войне с опоясывающей его темой частной жизни и любви таится зерно «Войны и мира». *Война*, обрамленная *миром*, неверием в любовь, неверием в себя, – была шагом на пути, который не продлился… Необыкновенна сама композиция стихотворения – тоже, верно, единственная в своем роде.

Это не описание, нет – это *перевыражение* боя в Слове – взято в рамку сугубо лирического послания к женщине. Им начинается, им заканчивается. И какие-то личные отношения, достаточно трудные, – на полях войны продолжают обсуждаться. Только, к кому обращено послание, неизвестно. «В списках не значится». В

смутной – сплошь лакуны, просветы – личной биографии Лермонтова эту женщину обнаружить не легче, чем адресата: «Нет, не тебя так пылко я люблю…»

Я к вам пишу случайно; право,
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? – ничего.
Что помню вас? – но, боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, все равно.
И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души…

Адресат письма сперва словно низводится к персонажу «Завещания» Лермонтова. Кстати, в «Завещании», тоже одном из величайших стихотворений о войне – только уже о «настоящем конце большой войны», – тоже будет это невероятное сочетание прозы войны и лирики любви:

А если спросит кто-нибудь…
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был;
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю.

Кстати, он сам на дуэли будет ранен в грудь навылет…
А дальше о женщине, о любви, прощанье и забвенье…

Соседка есть у них одна…
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит… все равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит!

Но в «Валерике» все вдруг срывается – в иное качество чувства:

…Но я вас помню – да и точно,
Я вас никак забыть не мог!
Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаянье бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.

Лик Вари Лопухиной возникает пред нами со всей очевидностью – «во-первых, потому, что много и долго, долго любил»… Кого же еще он любил долго? А может, Мария Щербатова? «Смеется сквозь слезы. Любит Лермонтова…» – была такая запись А. И. Тургенева – времен дуэли с де Барантом. Кстати, ее считали в свете причиной дуэли. Может, она? Последняя любовь, от которой почти бежал на Кавказ?..

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла.
Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света…

…И «беспощадный свет», и все прочее… Тем более, мы говорили уже, что «светское значение», то есть участие в светской жизни Варвары Александровны Бахметевой, урожденной Лопухиной, он явно преувеличивал. Эта женщина, ее тихая судьба и тихое угасание остались в тени для нас, как многое, имеющее отношение к судьбе и биографии Лермонтова. Вряд ли можно было сказать о действительной Варе его жизни:

Свой ум вы не привыкли мучить
Тяжелой думой о конце;
На вашем молодом лице…

…и так далее. Это не она! А с другой стороны, могло ли относиться к Щербатовой: «…и вы едва ли // Вблизи когда-нибудь видали // Как умирают…»? Она была вдова. У нее умер ребенок в Москве. – Как раз, между прочим, когда Лермонтов сидел на гауптвахте за дуэль и писал свое предисловие к «Герою»: «Журналист, читатель и писатель». Вспомним снова мрачное кредо автора:

В очах любовь. В устах обман —
И веришь снова им невольно
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран.

В общем, Щербатова не подходит сюда. – Она-то уж несомненно видела в жизни, как умирают. А может, героиня «Я к вам пишу…» – лишь некое соединение образов? Поток – из разных русел… подобный тому, каким была пушкинская Татьяна в глазах своего создателя?.. И кто она? Княгиня Вера Дмитриевна Лиговская из одноименного романа? Или Вера с родинкой на щеке и с мужем – «хромым старичком» на водах в Пятигорске?.. Мы это не можем сказать. Может, только, в «Валерике» – продолжение их обеих?..

У нас так часто цитировали Белинского – знаменитое письмо к Боткину о Лермонтове (16–21 апреля 1840 года): «Дьявольский талант! Молодо-зелено. Но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь…» – и про то, как он «перед Пушкиным… благоговеет и больше всего любит „Онегина“», – что невольно забывали, как правило, еще несколько строк письма: «Женщин ругает: одних за то, что; других за то, что не. Пока для него женщина и – одно и то же. Мужчин он также презирает, но любит одних женщин и в жизни только их и видит. Взгляд чисто онегинский. Печорин – это он сам, как есть». Как плохо понимали Лермонтова современники, и не один Николай I! Кстати – и Пушкина, и Онегина тоже. Правда, у Лермонтова не было вовсе того заранее прощающего за слабость и понимающего взгляда на женщину, каким в полной мере обладал Пушкин. Взгляд Лермонтова был неприютный – иногда жестокий. Не онегинский точно – но и не печоринский взгляд. И все-таки концовка стихотворения «Я к вам пишу…», прощание с *Ней* автора – звучит каким-то глубинным нежным мотивом, прочувствованным переживанием. Может, с тайной надеждой на встречу?..

Теперь прощайте: если вас
Мой безыскусственный рассказ
Развеселит, займет хоть малость,
Я буду счастлив. А не так? —
Простите мне его как шалость
И тихо молвите: чудак!..

Мы тоже скажем – *чудак*! «Тайное страдание изображалось на ее лице, столь изменчивом, – рука ее, державшая стакан с водою, дрожала… Печорин всё это видел, и нечто похожее на раскаяние закралось в грудь его: за что он ее мучил? – с какой целью? – какую пользу могло ему принесть это мелочное мщение?..» («Княгиня Лиговская»). Несправедливо, конечно, но… Лермонтов и не брал себе патентов на справедливость.

Когда-то он послал Варваре Лопухиной (уже Бахметевой) – через ее сестру Марию, свою «Молитву странника»[60]. «Но я вручить хочу деву невинную // Теплой заступнице мира холодного…» Притом сопроводил, как мы помним, типичной своей преамбулой: «стихотворение, которое я случайно нашел в моих дорожных бумагах и которое мне даже понравилось, потому что я забыл его…»[61]

Поди-разбери у него – кому он что пишет, и к кому что обращает! Что помнит, а что забыл!

Образ Вареньки с родинкой не раз трансформировался у него, и в этих трансформациях нежность сменялась досадой и злостью… чтоб вновь возникнуть в «Штоссе» – почти на уровне «Молитвы»: «никогда жизнь не производила ничего столь воздушно неземного, никогда смерть не уносила ничего столь полного пламенной жизни: …краски и свет вместо форм и тела…»

Эпилог

Есть у Лермонтова раннее стихотворение «К***» – 1830–1831 гг.

О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец,
Златой венец – не твой венец.[62]

«Прямых указаний на то, кому посвящено это стихотворение, не имеется. Большинство исследователей склоняется к точке зрения, высказанной еще в 1909 г. А. М. Горьким, который считал, что Лермонтов обратился со словами суровой укоризны к Пушкину»[63]. Скорей всего так. Но по какому поводу? И дата, дата! Стихотворение могло быть создано в течение двух лет, значит, и твердая уверенность комментаторов, что оно написано именно «после того, как 26 мая 1830 г. в „Литературной газете“ было опубликовано стихотворение Пушкина „К вельможе“, адресованное именитому придворному кн. Н. Б. Юсупову», вызывает серьезные сомнения.

Эти стихи Пушкина смело можно отнести к тем, которые Пушкину писать не следовало. Что правда – то правда. С. А. Лурье недавно, в цикле эссе, посвященных Пушкину, стихотворение, как нынче говорят – обнулил. (Наверное, справедливо!) «Семь строк беспримесной халтуры…» Возможно, даже больше. Пушкину иногда изменял вкус – что в жизни, что в литературе… В литературе гораздо реже, к счастью. Но *было*, что греха таить! (Одна «Рефутация г-на де Беранжера» чего стоит!) Но конкретно о реакции Лермонтова, какая могла быть на пушкинские стихи «К***» («К вельможе»), все же стоит подумать. Лермонтов – человек иного времени, чем мы. Принципиально иного. Отстоящего от нас на много-много лет… Он был не прочь лягнуть высший свет в некоторых своих стихах, да и в пьесах, и в прозе. Но сам принадлежал к нему – что естественно. И для него (тем более в юности его) именно это произведение Пушкина вряд ли могло стать поводом для столь жесткой отповеди. Н. Б. Юсупов был, конечно, циник… и, наверное, порядочный негодяй со своими крепостными гаремами и такими же крепостными театрами. Но это с нашей точки зрения! «Злодеем» в глазах

Лермонтова он вряд ли был. Да и где в стихотворении Пушкина так уж проводится мысль, что «щитом» Юсупову являлась государева (государыни) порфира?.. Кроме того, что…

«Посланник молодой увенчанной жены // Явился ты в Ферней…» – То есть вельможа Пушкина был некогда послан Екатериной к Вольтеру. Как-то не тянет на «щит порфиры» над «злодейством»!

Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказил;
Чредою шли к тебе забавы и чины…[64]

Нет! У Пушкина речь все-таки о гедонизме, не о злодействе!

Поздней Лермонтов скажет: «И предков скучны нам роскошные забавы – // Их добросовестный ребяческий разврат…» Скучно – и все. До «злодейства» – далеко.

И слово «разврат» в то время зачастую несло в себе разные смыслы. К примеру, преступления политические тоже именовались «развратом». Стихотворение Лермонтова могло быть создано в 1831 году – и тогда поводом к нему могло стать… и стало, возможно, другое стихотворение Пушкина: «Бородинская годовщина».

Посвященное взятию Варшавы войсками генерала Паскевича. И напечатанное в брошюре «На взятие Варшавы» вместе со стихами Жуковского. Но, если, помещенное там же стихотворение Пушкина «Клеветникам России» поднималось до уровня истинно патриотических стихов – и оставалось стихами на все времена, что частично снимало их сугубо злободневный смысл, не всегда корректный, – то «Годовщина» была стихотворением совсем иного ряда… В наше время его б назвали грубой агиткой.

Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь…[65]

…говорилось о тех парламентариях Запада (в основном, Франции), кто призывал помочь полякам. Это бы еще ничего – но дальше, дальше:

Ступайте ж к нам: вас Русь зовет!
Но знайте, прошеные гости!
Уж Польша вас не поведет:

Через ее шагнете кости!

Ужасные стихи! И кости поляков, между прочим, тоже славянские (напомним). Да и вообще… «шагать через кости» – поэту как-то неприлично.

Сбылось – и в день Бородина
Вновь наши вторглись племена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк…

Плохое слово: «раздавленный». Очень плохое!

Словно спохватившись, автор пытался успокоить побежденных:

Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

Но обиды оказалось больше чем достаточно. Пушкину будет отвечать Мицкевич… Мицкевичу опять – Пушкин. Обиды на полтора века хватит.

Вяземский в «Записной книжке» возмутится – и Жуковским, и Пушкиным: «Мало ли что политика может и должна делать? Ей нужны палачи, но разве вы будете их петь?.. Смешно, когда Пушкин хвастается, что мы *не сожжем Варшавы их*. И вестимо, потому что после нам же пришлось бы застроить ее». И в другом месте записи: «И что опять за святотатство сочетать Бородино с Варшавой? Россия вопиет против этого беззакония…»[66] Возможно, один такой вопль принадлежал юному Лермонтову.

При любых идеях для Пушкина это были стихи, на которые он – то есть поэт его ранга – просто не имел права.

Но стоит напомнить вторую половину стихотворения Лермонтова:

Изгнаньем из страны родной
Хвались повсюду, как свободой;
Высокой мыслью и душой

Ты рано одарен природой;
Ты видел зло, и перед злом
Ты гордым не поник челом.
Ты пел о вольности, когда
Тиран гремел, грозили казни;
Боясь лишь вечного суда
И чуждый на земле боязни,
Ты пел, и в этом есть краю
Один, кто понял песнь твою.

«Изгнаньем из страны родной // Гордись повсюду, как свободой…» – это уже Лермонтов, хоть и ранний. Пушкин изгнан не был – разве что в Михайловское. (И какое это изгнание!) Но ощущение «изгнанника в стране родной» – не из страны, в стране – это ощущение Лермонтова.

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!

Или…

Послушай! Вспомни обо мне,
Когда, законом осужденный,
В чужой я буду стороне —
Изгнанник мрачный и презренный.

Да много что можно вспомнить. Откуда это было в нем? Балованный мальчик, барчук. Любимый внук достаточно богатой барыни. Но было – почти от рождения. Во всяком случае, с тех пор как он стал складывать мысли в слова. И это, обращенное к Пушкину – «один, кто понял песнь твою» – необыкновенно трогательно. И скорей всего – в самом деле, обращено к Пушкину!

Что до спора с Пушкиным – он длился… можно сказать, почти до последней черты лермонтовской жизни. В чем-то напоминая собой спор в другом веке акмеистов с символистами. Пушкинской гармонии, необыкновенной поэтичности стихотворного мира – новый великий поэт противопоставлял жесткую, почти прозаическую конкретность. В сущности, он изменил самое дыхание стиха. Величайший русский прозаик –

Лермонтов прозаизировал русский стих в такой степени, в какой мало кто в пушкинскую пору мог себе позволить. Хотя… Напомним еще раз из Гончарова: «Пушкин занял собою всю свою эпоху, сам создал другую, породил школы художников…» Иначе говоря, начатки такой реформы или такого преобразования можно найти у самого Пушкина. «Я вас любил, любовь еще быть может…» «Пора, мой друг, пора…» Почти полное отсутствие тропов, осенняя голизна стиха, жесткая выразительность, трагичность в самой поэтической ситуации, спокойное смирение перед ней – да тут уже – шаг, полшага до Лермонтова.

В целом сама мысль о внутреннем споре Лермонтова с Пушкиным, признаемся, – не самая распространенная – ибо наши пушкинисты, а также лермонтоведы старательно обходили ее: всегда легче признавать прогресс и поступательное движение литературы – и если взаимозависимость, то учтивую, благородное уважение и даже самоуничижение младших по отношению к старшим. Кто хочет думать так – я не спорю. Только знаю…

Борьба с Пушкиным требовала титанических усилий по преодолению Пушкина в себе.

Последней вспышкой спора – или вершиной его – следует считать лермонтовского «Пророка». «Написано между маем и началом июля 1841 г.» – гласит комментарий[67]. Если так, то это – почти уже на пороге последней дуэли.

Видеть в этом стихотворении, как долго считалось: лишь «продолжение пушкинской темы», одно лишь развитие ее – вовсе не достаточно:

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

А Лермонтов, ничтоже сумняшеся, продолжает стихотворение Пушкина. Он пишет откровенно вторую часть – что дальше произошло…

С тех пор как грозный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В сердцах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Пушкин тоже писал о приземленности обыденной частной жизни поэта… «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон». «И средь существ ничтожных мира // Быть может, всех ничтожней он» – то есть до призвания поэта Богом. Однако веровал в то, что…

И лишь Божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.

Пушкинский пророк – целиком в традиции библейского текста. Его сюжет – *поручение*, какое дает Господь Призванному им и возвышенному им смертному. То, как человек смертный стал Пророком… Но «вторая часть», лермонтовская, – из другой поэтики, другой художественной природы. Бытовая история – того, кто это поручение Бога принял. Вместо высокого штиля Библии – мрачное признание итога жизни человека, одаренного свыше. Личная трагедия – принявшего на себя неподъемную ношу… И в сущности, эта трансформация поэтики напоминает собой отказ в «Валерике» от классической патетики в описании войны и замену ее тем, что после назовут «окопной правдой».

Бог пошлет Пророка – но его не примут. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их».

Вместе с тем Лермонтов тоже, в сущности, перелагает в стихи главу 6 из Книги пророка Исайи – только вторую часть, в то время как Пушкин в «Пророке» – перевыражает первую. От лермонтовских стихов веет мрачной футурологией Исайи: «И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет»[68]. У Пушкина – возвышение Пророка, у Лермонтова – горький конец его:

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи.

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Подлинно религиозное ощущение. И вообще, Лермонтов – религиозный поэт. Иной никогда не написал бы: «Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, // И звезда с звездою говорит…», «Я, матерь Божия ныне с молитвою…» – много чего не написал бы. «Демона» в том числе!

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой.

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами,
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!»

Стоит напомнить из Пушкина: про «божественный глагол», который касается «чуткого слуха», и про «вдохновенье», как «признак Бога»!

Смотрите же дети на него:
Как он угрюм и худ, и бледен,
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его.

Это – уже не просто парафраз из пророка Исайи или вторая часть стихотворения Пушкина. Но проекция самой пушкинской судьбы. 130 000 долгу по смерти поэта. Опекунский совет и проч. Оплата государем долгов. Моченая морошка, за которой послали в лавку, когда умирал, – тоже взята в долг.

Пушкин еще мог позволить себе отрекаться от толпы, взирать свысока: «Паситесь, мирные народы // Вас не разбудит чести клич!» «Подите прочь, какое дело // Поэту мирному до вас!» – и так далее… Лермонтов знал уже, что нужно пробираться сквозь толпу, «через шумный град», когда бросают каменья. «Пробираться торопливо» – словно стесняясь себя и своего

знания.

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк,
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья.

Пушкинский Пророк превращался вновь у него в «осмеянного Пророка». Почти в финале своей жизни он возвращался к себе 1838 года. И к стихотворению «Поэт»: один поэт возвращался к другому… и к общей судьбе поэтов России. Он уже знал, что его самого тоже послал в мир «грозный судия». Но что «грозного суда» над убийцами Пушкина не будет.

Странное ощущение! Судьба Пушкина словно манила его – до самого конца. Она была его примером – его приятием и его отрицанием. Мне кажется, он даже от любви бежал в 1840-м – потому что перед ним, грустным образцом, стоял итог жизни Пушкина.

В этой связке двоих невольно можно ощутить Божественное присутствие. Представьте себе… Поэт выходит на поэтическую арену со стихами на смерть другого. С этого начинается новая художественная судьба. – Дальше – внутренняя полемика – и вечное сравнение в глазах всех – с Пушкиным. («Изрядно, конечно… но не Пушкин, не Пушкин!»)

И последним человеком, который обедает с ним и провожает его на дуэль, последним, кто видит его живым, – кроме противника и секундантов в дуэли, конечно, – будет майор Пушкин Лев Сергеевич – родной брат Пушкина!

Часть 2
Две дуэли

Памяти Стеллы Абрамович и Семена Ласкина

Порой мне кажется – нам вообще не следовало заниматься дуэлью Пушкина и его преддуэльной историей. Издавать книги: «Дуэль и смерть Пушкина» или «Пушкин в 1836 году» (беру, несомненно, самые лучшие). Печатать столько статей на эту тему… Можно было ограничиться фразой типа: «Дуэль поэта произошла по сугубо личным обстоятельствам». Все. Дальше неинтересно.

В отношении к Пушкину у нас всегда было что-то особое. А уж в советскую пору тем более… Возможно, кому-нибудь, паче за рубежом, – вообще было трудно понять, как такое бывает. Что-то наше, российское – трогательное, беззащитное – а что-то, не побоюсь сказать, даже болезненное. Ни с одним из классиков не было ничего подобного. Дуэль Пушкина играла в жизни людей разных поколений какую-то важную роль. Двойственную по меньшей мере. В самой по себе любви не столько к самому поэту, сколько к его гибели, согласитесь – таится нечто порочное. Будто утешение смертью ближнего. Или тем, что в старину тоже убивали поэтов. Что ж! сам Пушкин написал в «Маленьких трагедиях» четыре страсти человеческих, из них одна – страсть к смерти. Но дело не только в том. Событие, с одной стороны, осознавалось как национальная трагедия, а с другой – было некой точкой, в которой приблизиться к гению было легче всего. Вызывало ложное ощущение простоты: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы! Он и мал, и мерзок – не так, как вы – иначе»[69].

Сама коллизия, связанная с дуэлью, невольно вела нас по этому пути. Вносила в жизнь поэта характер простой истории – домашней, семейного чтива… Любовь, ревность, измена, сплетни. И в этой зоне все уже отвечало давнему предостережению Пушкина. Сам он как личность, как художественная природа – отодвигался при этом куда-то в тень – в область собственной дуэли и смерти.

Теперь… когда изданы – притом уже по-русски – письма Дантеса к Геккерну и, более полно, его письма к Екатерине

Гончаровой – невесте, мы вынуждены признать со всей очевидностью то, что так долго не хотели признавать, – и стало понятней, что мы долгие годы вторгались в область чувств и поступков, правда которых нам не по плечу.

Надо сказать, ничего подобного не было с дуэлью Лермонтова. Этот «закрытый человек» и ушел из жизни каким-то «закрытым способом». Без подробностей и без всякой «преддуэльной истории». Хотя, скорей всего, и она тоже была.

«Документы врут, как люди, – говорил Тынянов и добавлял: – Надо проколоть документ».

Он вспоминал, как в работе над «Вазир-Мухтаром» прочел сообщение, что русские дезертиры, бежавшие в Персию и служившие у шаха, – не участвовали в боях против своих… Он мучился. Не знал, что делать с этим, – как ему казалось, фальшивым знанием. А потом случайно набрел на донесение одного генерала: он просит помощи: на фланге нажимают русские дезертиры. Все стало на свое место.

Но у нас есть заблуждение, что почти во всех случаях – когда-нибудь, да найдется такой документ. – Несомненный, неопровержимый. Как указующий перст.

Чаще всего таковой, к сожалению, не находится.

Почему Тынянов не поверил первому сообщению? Ответ прост и вместе следовать по этому пути крайне сложно: Тынянов очень хорошо знал психологический ряд, стоящий за событиями, которые описывал. Он представлял себе косвенности разного рода, которых обычные исследователи или исторические романисты не представляют себе или боятся и не хотят представлять. Он ощущал ауру событий. За ним стояли интуиция и отвага догадки.

Мы никогда не узнаем с точностью до буквы – кто послал пасквиль Пушкину и почему Мартынов застрелил Лермонтова. Все наши знания сомнительны. Но иногда следует настаивать и на сомнительных. Когда все вроде остается в сфере догадок, но чувствуешь, что догадки – значимые: они приближают нас к истине. Некое сочетание косвенных знаний, которое приводит к подозрению или почти уверенности в существовании фактов прямых, – я решился бы назвать рабочим термином: *художественный факт*.

Что значит – «проколоть документ»? Это не только поставить его в связь с другими – что необходимо… Но испытать на неком стенде: проверить косвенным знанием – не только той коллизии, о которой речь, но разных сопредельных коллизий… И, по возможности, стараться не изменять двум вещам: психологии эпохи, в которую все произошло, не путая ее с нашей, – и

контексту события. Имея в виду, что этих контекстов несколько, но, прежде всего, два: *стойкий исторический* и *временной*, то есть быстро меняющийся.

Вглядываясь, вдруг начинаешь понимать, что история пушкинской дуэли чуть не вся состоит из таких «не проколотых документов». Как история дуэли лермонтовской, в сущности – из одних документов отсутствующих.

«И пыль веков от хартий отряхнув…» «Пыль веков» оседает не только на «хартиях» и прочих документах в архиве. Она способна оседать в головах. Она заметает следы, которые могут привести нас к истине. Она рядит в одежды привычного любые нелепости и придает характер подлинности самым странным вещам. И, каменея постепенно, возносится над произведением или над событием – бетонным саркофагом *мифа.*

Глава первая

1

В 1982 году в журнале «Нева», № 6, ленинградский писатель Семен Ласкин опубликовал статью – фактически, документальную повесть «Тайна красного человека», вызвавшую шумную реакцию и весьма острую и неблагожелательную полемику. В том числе в печати.

В статье автор вводил в научный оборот и комментировал письма князя П. А. Вяземского к его светской корреспондентке, отбывшей в Москву, – графине Э. К. Мусиной-Пушкиной (Эмилии Карловне). Которую Вяземский называл Незабудкой. На эти письма Ласкин набрел достаточно случайно, но понял их значение и вцепился в них, как положено исследователю. И их перевела для него на русский известная переводчица французской прозы А. Л. Андрес.

На обсуждении статьи в Пушкинском Доме был полный разгром. До сих пор грустно вспоминать. Основным оппонентом Ласкина выступила С. Л. Абрамович, сотрудник музея Пушкина.

Ласкина я знал со школьных времен… мы были приятели – хотя и неблизки. Он был врач по образованию – успешный беллетрист, а с некоторых пор стал заниматься биографией Пушкина – в основном темой дуэли. И, как многие, кто обращался к этой теме, влюбился невольно в Наталью Николаевну и отдал в своих изысканиях все силы для возвышения и реабилитации ее.

Я неловко пошутил на одном его выступлении:

– Ты умрешь от любви к Наталье Николаевне!

Он ответил достойно:

– Что ж! Как мужчина я готов умереть от любви к женщине!..

Чем заставил меня невольно устыдиться своего ёрнического тона.

Ласкин побывал в Париже – что в те времена было редкостью, – познакомился там с Клодом Дантесом, правнуком убийцы Пушкина. Тот предстал ему, судя по всему, очень милым человеком, понимающим в какой-то мере масштаб национальной трагедии, в которой оказался замешан его предок. Продемонстрировал гостю письма Дантеса к Геккерну – только Ласкин не мог их прочесть, подержал в руках, и все – он не знал французского, а хозяин, как я понимаю, еще не решился тогда дать скопировать письма. Он сделал это много после – предоставив их итальянской исследовательнице – Серене Витале,

их перевели на русский, уже в наши дни, и Витале их откомментировала вместе с Вадимом Старком.

Впрочем, два отрывка из этих писем уже гуляли среди специалистов: они были когда-то (в 1946-м) опубликованы Анри Труайя, и Ласкин, как все прочие – в России и за ее пределами, – мог опираться только на них. И поскольку в них имя дамы, о которой шла речь, не было названо, – это дало ему повод, несколько раньше, выдвинуть гипотезу, что Дантес на самом деле был влюблен в другую женщину (в Идалию Полетику). И что речь в письмах шла о ней и о романе ее с Дантесом. А вовсе не о Наталье Николаевне. Что Пушкина и его жену просто «подставили». Статья появилась в печати года за два до «Тайны красного человека» и возмутила (справедливо) почти всех, кто мало-мальски знал историю пушкинской дуэли.

Со Стеллой Абрамович мы были дружны – с ней и с ее мужем В. И. Райцесом, прекрасным историком-медиевистом, автором книги о суде над Жанной д'Арк. Книга была такой хорошей, что я мечтал, чтоб он написал еще одну книгу о Жанне, – пенял ему, что не пишет, он обещал и не написал…

Работоспособность Стеллы была уникальной – даже среди тех, кто этим свойством обладал в полной мере. Ее умению найти, привлечь и перелопатить невероятное количество материалов можно было только позавидовать. Был и настоящий дар ученого.[70] Она сумела заново, после Щеголева, собрать по клочкам всю путаную фабулу преддуэльных дней и внести в нее какой-то строй, более или менее соответствующий тому, что происходило в действительности.

Итак… «ученый малый, но педант» – Стелла Абрамович сошлась в клинче с Семеном Ласкиным – прозаиком, беллетристом – считавшимся в пушкинистике «любителем». Им было трудно спорить друг с другом. Тем более что Ласкин-беллетрист на каждом шагу затенял неловко – а то и подменял собой Ласкина-исследователя. На этих-то беллетристических пассажах его легко было ловить подлинным знатокам.

К примеру, он писал: «Императрица танцевала на балах в то время, как…» – а Стелла педантично вытаскивала на свет камер-фурьерский журнал, где значилось черным по белому: императрица в тот месяц вообще хворала простудой и не выезжала. Ласкин считал, что прозвище «Пруссачка» в письме относилось к императрице – она ведь была немка. А выходило на поверку, что так звали в свете другую даму-немку, в которую тоже был влюблен персонаж (княгиню Витгенштейн)[71]. Или Ласкин полагал, что прозвание «Мать всего красного» – там же, в письмах, – имеет в виду, опять же, императрицу – она была

шефом Кавалергардского полка, где офицеры носили красный мундир, – а ему легко доказывали, что это – мать кавалергардов братьев Трубецких. Ну и так далее. Вообще, его текст сильно отдавал обычной советской нелюбовью к правящим кругам прошлого России. Впрочем, тексты самой С. Л. Абрамович, как и других в то время, – светились тем же свойством. В общем, в том, что говорили специалисты, содержалось много правильного. Удивительно было другое…

Я знал Стеллу как очень доброго человека и был смущен манерой, в какой она вела спор с Ласкиным. Она спорила так – будто что-то задело ее лично. В защиту Ласкина решился выступить, по-моему, только Яков Гордин, но это ничего не изменило. Обстановка была накалена. (Может, и вправду Ласкину не прощали явно надуманной гипотезы, связанной с Идалией Полетикой?) Кстати, в те же дни в «Литературной газете» раздался окрик уже из Москвы – статья Эммы Герштейн, столь же жестко отрицательная. Хотя на некоторые материалы, легшие в основу работы Ласкина, – она же, Герштейн – первая и обратила внимание – Ласкин ссылался на них. Статья ее дышала еще более открытой неприязнью к «каким-то там» – рискующим вторгаться на «чужую территорию».

Обе – и С. Л. Абрамович, и Э. Г. Герштейн – усиленно эксплуатировали слово «непрофессионально». – Переводчица с французского Александра Львовна Андрес после жаловалась мне, что, кроме профессиональности Ласкина, – кто-то пытается подвергнуть сомнению и ее профессионализм.

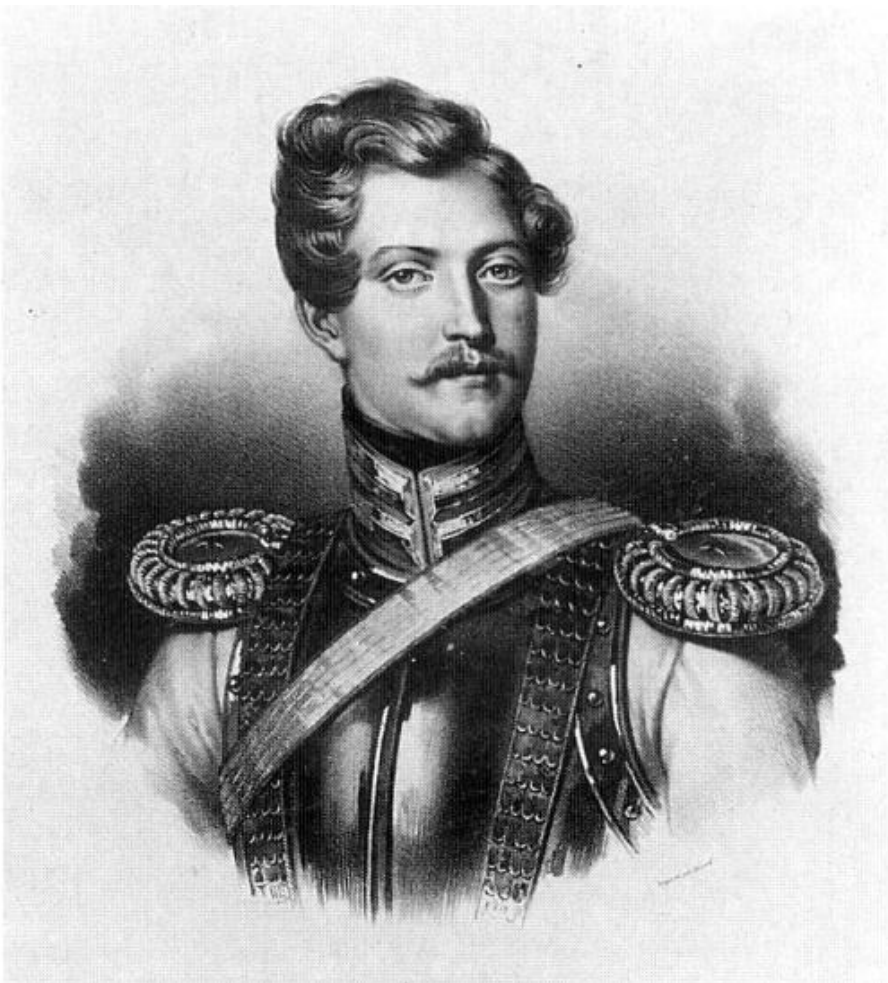
Меж тем рискую утверждать то, что был готов утверждать и тогда: при всех ошибках Ласкина – при всех неточностях, он был прав в одном: в своем прочтении писем Вяземского, и, более всего, того самого, *главного* письма – от 16 февраля 1837 года. Но именно на эту важнейшую мысль «любителя» – и на то, к каким выводам она может привести, – его критики почему-то обратили меньше всего внимания. Ее просто, как бы, смахнули со стола.

Помню… после заседания, выходя из зала, Л. К. Долгополов, крупнейший исследователь Серебряного века – Блока, Белого, – сказал кому-то из выступавших особенно резко: «Вы все равно все придете к этому! Только немного погодя!..»

2

«„Я люблю вас так, как никогда не любила, но не просите большего, чем мое сердце, ибо все остальное мне не принадлежит, и я могу быть счастлива, только исполняя все свои обязательства, пощадите же меня и любите всегда так, как теперь,

моя любовь будет вам наградой“ – представь, будь мы одни, я определенно пал бы к ее ногам и осыпал их поцелуями…» – это почти первые строки из письма Дантеса Геккерну, которые дошли до нас в публикации Анри Труайя в 1946 году. И было несомненно, что передаются слова именно Натальи Николаевны Пушкиной. Всего было опубликовано, как мы сказали уже, два отрывка из двух писем.



Еще один отрывок, опубликованный Труайя, был таков:

«…самое ужасное в моем положении, что она тоже любит меня, однако встречаться мы не можем, и до сих пор это невозможно, так как *муж возмутительно ревнив*. Поверяю это тебе, мой дорогой, как лучшему другу, и знаю, что ты разделишь мою печаль… я сделал бы все что угодно, чтоб доставить ей радость, так как жизнь моя с некоторых пор ежеминутная пытка.

Любить друг друга и не иметь иной возможности признаться в этом, кроме как между двумя ритурнелями контрданса…»[72] – Первое письмо Дантеса о своей новой любви.

Вряд ли тут звучит одна похвальба охмелевшего от побед кавалергардского корнета, потом поручика. «Муж возмутительно ревнив» – это, разумеется, про А. С. Пушкина. (Хорошее слово «возмутительно», не правда ли? – когда речь – о ревности мужа!)

«…сам М. А. Цявловский, комментируя письма, опубликованные Труайя, писал: „Ответное чувство Натальи Николаевны к Дантесу теперь не может подвергаться сомнению“» (а Цявловский был очень крупный пушкинист, автор «Летописи жизни и творчества Пушкина» (к сожалению, неполной). Но С. Л. Абрамович опровергала его: «Тем не менее мы позволим себе усомниться…»[73] – и очень долго такое мнение было мнением чуть не всей пушкинистской общественности. Даже возникали сомнения – а подлинно ли речь шла о Наталье Николаевне Пушкиной – в отрывках, приведенных Труайя? А может, о ком-то другом?.. Так появилась, кстати, и гипотеза Ласкина – об Идалии Полетике.

И мы долго старались жить так, будто этих отрывков вовсе не было – а если и были, их все равно можно будет когда-нибудь удобно объяснить.

«Главный источник трагедии 1837 года, *как давно установлено*, не в поведении Натальи Николаевны», – утверждала Я. Л. Левкович, один из лучших наших и самых уважаемых исследователей пушкинской биографии.[74]

Боже мой! Если б в истории гибели Пушкина было хоть что-нибудь «установлено». Паче чаяния – «давно»!

Мы выстраиваем себе без конца собственную историю – какой бы нам хотелось ее видеть. Мы примеряем ее – исключительно на самих себя, на наши собственные чувства – к кому-то, к чему-то… И привычно перешагиваем через чувства и реакции людей, на глазах у которых все происходило. Вскоре после того, как Дантес сообщает наставнику о своей новой любви, появляется запись в скромном дневнике молоденькой фрейлины Марии Мердер, дочери одного из воспитателей Наследника, запись от 5 февраля 1836-го – то есть относится к тем дням, когда эта любовь уже стала предметом обсуждений в свете:

«В толпе я заметила Дантеса, но он меня не видел. Возможно, впрочем, что просто ему было не до того. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу: он искал кого-то взглядом. И, внезапно устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с г-жой Пушкиной, до моего слуха долетело:

„Уехать – думаете ли вы об этом – я не верю этому – это не ваше намерение…“»

Скорей всего, это Дантес говорит ей: «не ваше намерение» – так чье же? ее мужа? Впрочем, есть вариант – что это она, напротив, говорит ему. Он грозит ей отъездом на Кавказ. Она думает, что это намерение его пока еще – наставника, Геккерна.

«Выражение, с которым произнесены эти слова, – продолжает барышня, – не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее, – они безумно влюблены друг в друга!.. Барон танцевал мазурку с г-жою Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту»[75].

Почти через год она сделает запись: «На балу я не танцевала. Было слишком жарко. В мрачном молчании я восхищенно любовалась г-жою Пушкиной. Какое восхитительное создание! Минуту спустя я увидела проходившего А. С. Пушкина. Какой урод!»

Но эта девица – ей от силы 17 – вряд ли успела стать врагом Пушкина! Она, наверное, сама влюблена в Дантеса – все правда! Но она пишет с таким сочувствием! «Впрочем, о любви Дантеса известно всем. Ее якобы видят все. Однажды вечером я сама заметила, как барон, не отрываясь, следил взорами за тем углом. Где находилась *она*. Очевидно, он чувствовал себя слишком влюбленным для того, чтобы, надев маску равнодушия, рискнуть появиться с нею среди танцующих»[76].

Запись сделана 22 января 1837-го. Дантес уже женат на Екатерине Гончаровой. До катастрофы осталось пять дней.

Но вот голос совсем из другого стана – за несколько дней до этой свадьбы: «…бедный Дантес перенес тяжелую болезнь, воспаление в боку, которое его ужасно изменило. Третьего дня он появился у Мещерских, сильно похудевший, бледный и интересный, и был со всеми нами так нежен, как это бывает, когда человек очень взволнован или, быть может, очень несчастлив. На другой день он пришел снова, на этот раз со своей нареченной и, что еще хуже, с Пушкиным; снова начались кривляния ярости и поэтического гнева; мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими ироническими отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом. Ах, смею тебя уверить, это было ужасно смешно»[77].

Это уже не какая-нибудь никому не известная Мария Мердер – это Карамзина, Софья – дочь Николая Михайловича и падчерица той самой Екатерины Андреевны, которая примет чуть не последний вздох Пушкина, – он призовет ее к себе, – та, кому

Тынянов приписывал роль пожизненной «потаенной любви Пушкина» (что, верно, ошибка!). А пишет Софья брату Андрею, сыну Карамзина, – Андрей, между прочим, пока – друг Дантеса. И это уже – вовсе не Бобринские, Нессельроде – но Карамзины, Вяземские. Что же говорить о «врагах»? О той самой «светской черни»? Когда все происходило – истинных друзей рядом с ним оказалось совсем мало. И нам надо помнить – что все образумились только после, *потом*! Это к тому – насколько можно верить их показаниям – их воспоминаниям. «Одиночество – о, нищета!» – восклицал Мюссе.

Наверное, стоит признать – хоть нам и неприятно думать об этом – Наталья Николаевна, рослая красавица, рядом с Дантесом смотрелась куда привлекательней, чем рядом с усталым, низкорослым, некрасивым, по светским меркам, – и казавшимся немолодым уже, по тем временам, супругом. Люди всегда сочувствуют победе – победительному началу. А в этих двоих была победа. Правда – чего над чем? – вот вопрос. Во всяком случае, так виделось случайному взору. Не зря же эта страсть – или эта наглядная симпатия Дантеса и ее друг к другу – вызывала сочувствие самых разных людей: от императрицы Александры Федоровны и совсем юной фрейлины Мердер – до некоторых пушкинских друзей. Или целых дружеских семей.

Ставить кому-то в вину любовь саму по себе – нелепо, даже неприлично. Любовь не дает никому отчета – она сама отчет себе.

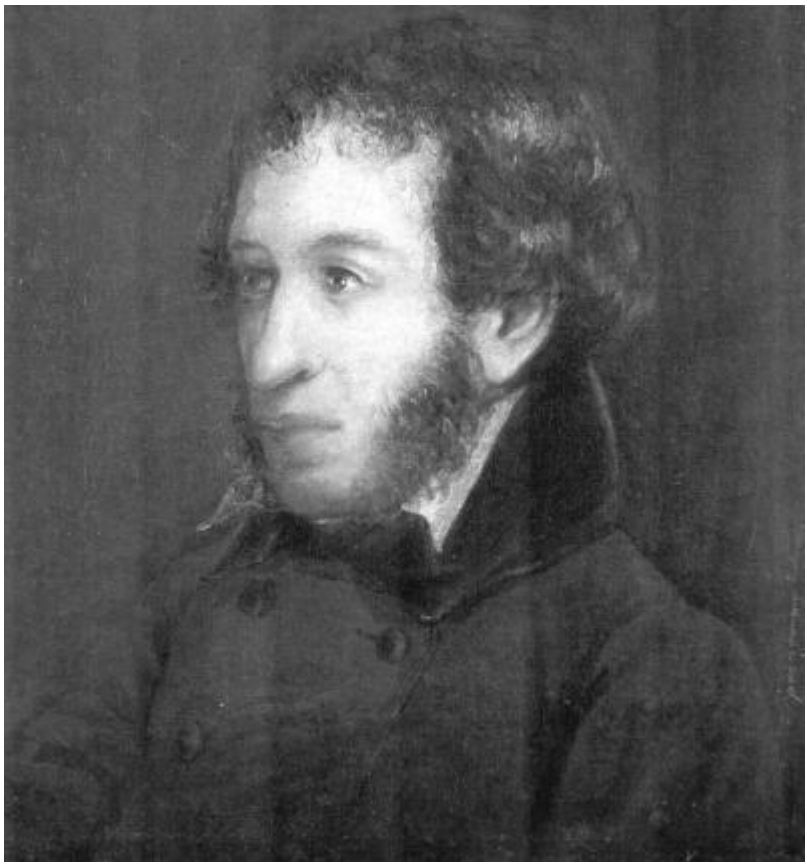
Ей в сердце дума заронилась,
Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено…

Вот все. Какая вина? Но эта ситуация явилась «фаталитетом» для Пушкина и пушкинской судьбы.[78] И покуда мы не разделим в пространстве две фабулы: чувства самой Натальи Николаевны, как чувства всякого человека, достойные уважения, и то, что она, как любой из нас, имела на них право… – и нашу любовь к Пушкину и боль за него, – мы обречены скитаться в полулжи и обманывать себя, называя это исследованием и постижением истины.

В. Ф. Вяземская уже в старости говорила Бартеневу, что, скорей всего, Наталья Николаевна все ж была невинна. (За этой мыслью бросились когда-то буквально наперегонки – многие специалисты. И повторяли ее на все лады.) Наверное, это – правда в обычном смысле слова. Она вряд ли изменила мужу физически и вряд ли успела стать впрямую любовницей Дантеса. Она

сопротивлялась – и довольно долго. Но у Пушкина оказалась другая мера вещей. Не светская. Вспомните его письмо к ней: «Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, – а душу твою люблю я еще более твоего лица…»[79]

А тут вышло, что душа принадлежит не ему.



Фактически его жена сказала человеку, которого любила, слово в слово, то же, что и Татьяна Онегину: «Я вас люблю, к чему лукавить, // Но я другому отдана, // Я буду век ему верна…» – предложила этот вариант своему мужу. Пушкина как поэта такое могло восхитить, но это не значит, что Пушкин как человек и муж мог с этим смириться.

И ведь он все знал заранее, писал незадолго до свадьбы матери Натальи Николаевны: «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь

доказательство спокойного безразличия ее сердца. Но, будучи всегда окружена всеобщим восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие? Ей станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой, более равный, более блестящий, более достойный ее союз; может быть, эти мнения и будут искренни, но уж ей они безусловно покажутся таковыми. Не возникнут ли у нее сожаления? Не почувствует ли она ко мне отвращение? Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее; но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, – эта мысль для меня – ад»[80].

Ад и разверзся под его ногами. Он предугадывал, он все предсказал себе. Но *предвидеть* – одно, а *видеть* непосредственно, держать перед глазами – совсем другое.

3

Где-то в октябре 1836-го Пушкин отказал Дантесу от дома. Между ними был, кажется, весьма неприятный разговор.

4 ноября 1836 года Пушкин и ряд его друзей получили по городской почте ныне хорошо известное письмо:

«Кавалеры первой степени, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев, собравшись в Великий Капитул, под председательством высокопочтенного Великого Магистра Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, *единогласно избрали г-на Александра Пушкина заместителем великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена.*

Непременный секретарь граф И. Борх».

Д. Л. Нарышкин был мужем одной из самых сильных и длительных привязанностей предыдущего императора Александра I – его любовницы Марии Нарышкиной, имевшей от него дочь Софью, которая умерла в младенчестве.

Граф Иосиф Борх, муж видной петербургской красавицы, был известен в столичных светских кругах как гомосексуалист. Пушкин якобы сказал Данзасу, своему секунданту, когда по дороге на Черную речку они встретили карету Борхов: «Вот две образцовых семьи… жена живет с кучером, муж с форейтором».

Приход этих писем Пушкин прочно связал про себя с отказом Дантесу от дома. Несомненно эта связь была – вне зависимости от того, кто эти письма послал и играл ли какую-нибудь роль в этом сам Дантес или его приемный родитель. Пушкин до смерти был уверен, что письма шли от них – от Дантеса с Геккерном. А может, не был уверен?.. Просто не знал другого способа обвинить их в интриге против своей семьи, зная, что по светским канонам,

которыми он был связан по рукам и ногам, во всем прочем поведение Дантеса и его «приемного отца» по отношению к его семье ничего крамольного собой не представляло – и не подлежало осуждению?..

Сразу по получении анонимных писем Пушкин послал Дантесу вызов на дуэль – но потом согласился на отсрочку в несколько дней, потом в две недели – под давлением Геккерна и активно вмешавшегося в дело Жуковского, который, конечно, старался оберечь Пушкина.

Это значит все-таки, что в авторстве писем он не был совсем уверен. Друзья, и не только в лице Жуковского, как мы понимаем, оказались вовлечены в события только после получения ими пасквиля для передачи Пушкину. Мы тоже «вовлечены» по-настоящему – только с этого момента. А что происходило *до того, до их получения* в семье Пушкиных, друзья не знали и мы не знаем!

17 октября, еще *до анонимных писем* (что следует отметить особо), с дежурства по полку Дантес пишет Геккерну письмо, во многом переворачивающее наши представления обо всей этой истории…

«…я решился прибегнуть к твоей помощи и умоляю исполнить вечером то, что ты мне обещал. Ты обязательно должен поговорить с нею, чтобы я наконец знал, как мне быть. Сегодня вечером она едет к Лерхенфельдам…»

Дальше он диктует Геккерну, что и как надо говорить:

«И тут было бы недурно в разговоре намекнуть ей, будто ты убеждён, что отношения у нас куда более близкие, чем на самом деле, но тут же найди возможность, как бы оправдываясь, дать ей понять, что во всяком случае, *если судить по её поведению со мной, их не может не быть*.

…вечером она едет к Лерхенфельдам…» – значит, несмотря на отказ Дантесу от дома, связь между домами продолжает сохраняться – либо между Натальей Николаевной и Дантесом непосредственно (письменная), либо кто-то осуществляет ее (сестра Екатерина?).

«…если судить по её поведению со мной, их (отношений. – *Б. Г.*) *не может не быть*» – ключевая фраза для нашего понимания ситуации! Ключевая! Для того понимания, которое должно быть. Оно начисто сметает, увы, все наши «сю-сю-вовсю» о подлинных чувствах Натальи Николаевны к Дантесу.

«…как я уже говорил, – пишет далее Дантес, – она ни в коем случае не должна заподозрить, что этот разговор подстроен, пусть видит в нём лишь вполне естественное чувство тревоги за мое здоровье и будущее, и настоятельно потребуй сохранить его в

тайне ото всех, и особенно от меня …а ещё *остерегайся употреблять выражения, которые были в том письме*. Еще раз умоляю тебя, мой дорогой, прийти на помощь, я всецело отдаю себя в твои руки, потому что, если эта история будет продолжаться, а я не буду знать, какими она грозит мне последствиями, я сойду с ума»[81].

В письме есть особо важные смыслы, на которых следует и остановиться особо…

«*Остерегайся употреблять выражения, которые были в том письме…»* Конечно, речь о тех выражениях, какие Дантес употребил уже в письме к ней, показанном им предварительно приемному отцу. (Или составленном вместе с ним?)

И, наконец, по тону этой «мольбы о помощи» письмо свидетельствует один важный факт… Пушкин умер в убеждении – или убеждал себя (как было на самом деле, мы никогда уж не узнаем) – в том, что Геккерн, «подобно бесстыжей старухе, подстерегал его жену», «отечески сводничал» своему сыну и «руководил всем его поведением». Все было наоборот. Дантес этого требовал от него. Несмотря на сложность отношений между ними самими.

Письмо Дантеса обрывается совсем уж интересным пассажем: «…Если бы ты сумел *вдобавок припугнуть её и внушить, что…» – «далее несколько слов неразборчиво*» – гласит комментарий.

В нем точно поставлен вопрос: чем можно было «припугнуть» жену Пушкина?.. Вообще светскую даму в этой ситуации? Только *реалиями ее собственного поведения*: ибо, «*если судить по её поведению со мной… (отношений) не может не быть*». Тем, что все могли видеть – и не только приемный папаша. Или, может, ее письмами к нему? Записками?.. Могло быть и такое.

В том же письме есть очень важное место – почти в самом начале: «ты должен обратиться к ней и сказать, но так, чтобы не слышала сестра, что тебе совершенно необходимо с ней поговорить».

Напомним – письмо это от 17 октября. А 6 ноября, уже после первого вызова от Пушкина (дуэль отсрочена), Дантес пишет Геккерну с дежурства по полку: «Бог мой, я не сетую на женщину и счастлив, зная, что она спокойна, но *это страшная неосторожность либо безумие, которого я к тому же не понимаю, равно как и того, какова была ее цель.* …ты не пишешь, виделся ли ты с сестрой у тетки и откуда тебе известно, что *она призналась насчет писем*»[82].

«Женщина призналась насчет писем» его – своему мужу. Судя по всему, отдала эти письма мужу, а если это «безумие» – то письма говорили о вещах, о которых супруг знать не должен, – и

еще, там вряд ли говорилось только о его чувствах к ней и не поминалось еще нечто, связанное с чувствами ее самой.

«Только тогда Пушкин узнал о тех преследованиях, которым она подверглась. Зная ее, Пушкин поверил ей безусловно. Он стал ее защитником, а не обвинителем. Вяземский позднее писал об этом решающем объяснении: „Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала“»[83]. (Из книги С. Л. Абрамович.)

«Кто пишет чувствительней, чем женщины? Только некоторые мужчины!» (М. Булгаков.) Сама Абрамович с удовольствием цитирует потом другого Булгакова – Александра Яковлевича, московского почт-директора, постоянного корреспондента Вяземского и великого сплетника. Тот писал в письме к дочери, уже после трагедии, что всегда сумеет «отличить Пушкина от Вяземского».

4

Автор книги «Пушкин в 1836 году» считала, что дата получения анонимных писем – 4 ноября как-то связана со 2 ноября, когда якобы состоялось подстроенное Идалией Полетикой свидание Натальи Николаевны с Дантесом – на квартире Полетики в Кавалергардских казармах. (Муж ее тоже был кавалергардом – полковником.) Раньше думали, что свидание это состоялось в январе 1837-го – непосредственно перед дуэлью, когда Дантес был уже мужем Екатерины. – Так полагал и Щеголев. Абрамович это опровергала. Теперь исследователи стали вроде возвращаться к прежней мысли о январе – что все же вызывает сомнения…

И та и другая дата, впрочем, не меняют сути того, что мы знаем по рассказам об этом свидании: Наталью Николаевну будто бы заманили в ловушку: она не знала, с кем встретится, – а в доме, вместо хозяйки, оказался Дантес.

Так она поведала княгине Вяземской и ее мужу: что, «когда она осталась с глазу на глаз с Геккерном, тот вынул пистолет, грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней»[84].

Приводя еще одно схожее свидетельство на ту же тему – другой сестры Александрины Фризенгоф, бывшей Гончаровой, продиктованное ею на старости лет ее супругу, С. Л. Абрамович восклицает: «Перед нами редчайший случай почти полного

совпадения двух свидетельств. Княгиня Вяземская и Александрина независимо друг от друга рассказали об этом свидании одно и то же». Конечно, совпадение! Потому что обе дамы в точности передают рассказ одного и того же лица: Натальи Николаевны Пушкиной.

Я что-то никогда не верил в эти «заламываемые руки». На меня веяло от них невыразимой фальшью. – Хоть и знаешь, что – пересказ, а все равно – чувствуешь фальшь! «Вяземские не советовали Наталье Николаевне рассказывать мужу о подстроенном свидании»[85]. Значит, Пушкин о нем так и не узнал?..

Теперь, читая письма Дантеса, мы понимаем – уже в марте, в начале их сближения, – уровень отношений был совсем другой. Все было сказано между ними. «Она же никого не любила больше, чем меня, а в последнее время было предостаточно случаев, когда она могла отдать мне все, и что же, мой дорогой друг? – никогда, ничего. Она оказалась гораздо сильней меня, больше 20 раз она просила пожалеть ее и детей, ее будущность и была в эти минуты столь прекрасна…» Повторим: это пишется еще в марте 1836-го. И где тут основания – для «заламывания рук» в ноябре? Или даже в январе следующего года?.. Она о чем-то просила Дантеса? Может быть. Откуда-то ж слетел слух, что Наталья Николаевна посылала письмо Дантесу с просьбой не драться с ее мужем, что так решительно опровергали потом пушкинские друзья? Унизительно думать, но несчастная женщина, которая что-то напутала в собственной жизни, могла просить возлюбленного избежать дуэли с ее мужем во что бы то ни стало… Опасаясь за мужа или – не исключено, и даже предпочтительней мысль – опасаясь за собственную репутацию в свете.

Придя со свидания, Наталья Николаевна могла испугаться – а вдруг что-то откроется? И нашла выход: поведать все двум людям. Которые точно будут советовать ей не говорить ни о чем мужу, а сами, разумеется, промолчат…

Главное… Пушкин мало что сказал, даже друзьям, о своей подлинной семейной ситуации. Он действительно защитил жену и принял страдание на себя. Но это значит только одно… «По всей вероятности, ближайшие друзья поэта услышали об этих неизвестных им подробностях от самой Н. Н. Пушкиной»[86], – пишет С. Л. Абрамович. Правильно! Все, что знали близкие об отношениях Натальи Николаевны с Дантесом и о роли Геккерна-старшего, было известно только в одной версии: Натальи Николаевны! И друзья Пушкина: Вяземский, Жуковский – после его смерти говорят с ее слов. Даже если догадываются о чем-то другом. Это понятно – он так завещал им.

Александрина Гончарова

Именно ей принадлежали рассказы обо всех преследованиях, каким подверглась она… о тайных подстроенных свиданиях и прочее.

Дантес знает наверняка о том, что происходит в доме Пушкина, что видно из его письма к Екатерине, уже невесте, от 21 ноября:

«Нынче утром я виделся с известной дамой и, как всегда, моя возлюбленная, подчинился вашим высочайшим повелениям; я формально объявил, что был бы чрезвычайно ей обязан, если бы она соблаговолила оставить переговоры, совершенно бесполезные, и коль Месье не довольно умен, чтобы понять, что только он и играет дурацкую роль в этой истории, то она напрасно тратит время, стараясь ему это объяснить»[87].

Письмо написано сразу после возвращения с дежурства (в «Маршальском зале» Зимнего). «Месье», который «не довольно умен» и «играет дурацкую роль», – конечно, Пушкин. «Известная дама» столь же несомненно – Наталья Николаевна. И свидание с ней – поутру: не на бале, не в гостях – симптоматично. Считается, что свидание произошло «явно у Загряжской» – тетки сестер Гончаровых. А если не у нее?.. Утром у нее Дантес встретился с Дмитрием Гончаровым – братом Натали и Екатерины. Речь шла о женитьбе. Что ж это – Наталья Николаевна явилась поутру с братом к тетке, чтоб повидать Дантеса?.. Притом отношение Загряжской ко всем событиям известно. Она, конечно, готова споспешествовать замужеству старшей племянницы. Но в истории Дантеса и Пушкина она явно на стороне последнего. Вряд ли кто стал бы устраивать переговоры Натальи Николаевны с Дантесом у нее или при ней.

А что, если это и есть то самое свидание, которое мы ищем?.. После Зимнего дворца, где он дежурил, Дантес мог вполне заскочить в Кавалергардские казармы, где находилась квартира Полетики.

Только при этом надо перестать верить слепо всему, что рассказывала об этой встрече Наталья Николаевна. Да и Дантес в письме к невесте мог что-то соврать – более всего о своем (послушном указаниям невесты) равнодушии в беседах с «известной дамой».

21 ноября, после всех договоренностей о женитьбе Дантеса на Екатерине, Пушкин снова готов послать картель, и Жуковский едва останавливает его. Причина? Неизвестна. «В этот… день Пушкин написал два решительных письма, которые так и не были отправлены. Одно – оскорбительнейшее – барону Геккерну, в котором обвинял его в составлении анонимных писем, а Дантеса по сути дела в трусости… Другое письмо было адресовано Бенкендорфу. В нем Пушкин сообщал все детали истории с анонимными письмами и также обвинял в их составлении Геккерна»[88].

Что произошло? Мелькают, как минимум, две догадки.

Или он что-то узнал все-таки (как – не спрашивайте!) – о свидании жены с Дантесом нынче утром, на квартире Полетики.

Или просто… он испугался роли, какую его заставили играть.

«Никогда еще с тех пор, как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных, – пишет мужу графиня Софья Бобринская. – Геккерн-Дантес женится! – вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустую молву. Он женится на старшей Гончаровой – некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной

красавицы, жены Пушкина. …чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, – продолжает она, – тем меньше я что-либо в ней понимаю. Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования (запомните это слово! Оно здесь – самое важное – ключевое. Так видел ситуацию петербургский свет! – *Б. Г.*)… это Жюль Жанен. Это Бальзак. Это Виктор Гюго, это литература наших дней. Это возвышенно и смехотворно. В свете встречают мужа, который усмехается, скрежеща зубами. Жену, прекрасную и бледную, которая вгоняет себя в гроб, танцуя целые вечера напролет. Молодого человека, бледного, худого, судорожно хохочущего, благородного отца, играющего свою роль, но потрясенная физиономия которого отказывается подчиняться дипломату»[89].

Екатерина Гончарова

Бобринская – свидетель удивительный: судя по всему, конфидентка Геккерна-старшего (он, в своем месте, скажет об этом сам. – *Б. Г.*) и к тому ж ближайшая подруга императрицы… Тут стоит особо выделить, что говорится про одну: «некрасивая, черная и бедная сестра», – а про другую – «белолица и поэтична» и что «вгоняет себя в гроб, танцуя вечера напролет». Последняя и есть жена Пушкина. Не забудем – письмо это – от 25 ноября. Как раз за несколько дней до того Пушкин вдруг оборвет переговоры о свадьбе Екатерины и выразит вновь готовность драться. Тут пишется первое оскорбительное письмо Геккерну (так и не отправленное).

«Потрясенную физиономию отца» тоже следует отметить. Значит, события развиваются не так, как он хотел, и против его воли?.. В своем послании на имя канцлера Нессельроде, уже после всего случившегося, Геккерн напишет:

«Мне возразят, что я должен был бы повлиять на сына? Г-жа Пушкина и на это могла бы дать удовлетворительный ответ, воспроизведя письмо, которое я потребовал от сына, – письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки. Г-жа Пушкина воспользовалась им, чтоб доказать мужу и родне, что она никогда не забывала вполне своих обязанностей».

Хороша фраза: «не забывала вполне своих обязанностей». Стало быть, если и забывала, то «не вполне»! И еще «отнес в собственные руки». А вдруг этот срыв 21 ноября – уже вроде успокаивающейся ситуации – вызван был именно появлением в доме Пушкина Геккерна с письмом, которое гость от лица своего «сына» принес Наталье Николаевне – и вручил лично в руки? И в котором Дантес заявлял об отказе своем от притязаний на Наталью Николаевну?.. Появление посланника (во всех смыслах) не могло быть незаметно для Пушкина и не могло остаться неизвестным ему. И содержание письма – тоже.

Вы можете представить себе Пушкина, который равнодушно взирает на то, что кто-то сообщает, что не имеет больше *видов на его жену*? Даже в наше, не столь шекотливое, время – это могло показаться оскорблением. Или… если для кого-то это и было бы в порядке вещей – для Пушкина было нестерпимо. «Не забывала вполне обязанностей…» Возможно, «вполне не забывала». Возможно, кого-то бы это вполне устроило бы. Возможно. Нет, точно, в свете тогда было множество людей, которые мирились и не с таким положением.

Только Пушкин к ним не принадлежал!

5

«Действительно – жениться на одной, чтоб иметь некоторое право любить другую в качестве сестры своей жены. – Боже! для этого нужен порядочный запас смелости!» – записывала та же Мария Мердер в своем дневнике. На балу она случайно явилась свидетелем некой сцены: «Дантес провел часть вечера неподалеку от меня. Он оживленно беседовал с какой-то пожилой дамою… Я не расслышала слов, тихо сказанных дамой. Что же касается Дантеса, то он ответил громко, с оттенком уязвленного самолюбия: – Я понимаю то, что вы хотите мне дать понять, но я

вовсе не уверен, что сделал глупость». И закончил словами: «Пусть меня судит свет»[90].

Запись Мердер датирована 22 января. Только пять дней до катастрофы.

Роль барышни Екатерины Гончаровой во всей истории гибели Пушкина особая. Чрезвычайная. Не оцененная до сих пор. Из-за тех табу, которые мы сами признали над собой, и требований непременной сакрализации отдельных фигур в драме.

В том же письме С. Н. Карамзиной брату Андрею сказано о ней и о Дантесе:

«Дантес говорит о ней и обращается к ней с чувством несомненного удовлетворения, и, более того, ее любит и балует папаша Геккерн. С другой стороны, Пушкин продолжает вести себя самым глупым и нелепым образом; он становится похож на тигра и скрежещет зубами всякий раз, когда заговаривает на эту тему, что он делает весьма охотно, всегда радуясь каждому новому слушателю».

Тема – та же женитьба Дантеса на Екатерине – брак уже вот-вот! (Кстати, в детстве еще – в Лицее, у Пушкина была кличка «Помесь обезьяны с тигром!» Тут все говорят о тигре. Как все возвращается на круги своя!) Далее в письме – о поведении Натали Пушкиной: «…она же, со своей стороны, ведет себя не совсем прямодушно: в присутствии мужа делает вид, что не кланяется с Дантесом и даже не смотрит на него, а когда мужа нет, опять принимается за прежнее кокетство потупленными глазами, нервным замешательством в разговоре. А тот снова, стоя против нее, устремляет к ней долгие взгляды и, кажется, совсем забывает о своей невесте, которая меняется в лице и мучается ревностью. Словом, то какая-то непрестанная комедия, смысл которой никому хорошенько не понятен».

Стелла Абрамович нашла в этом письме Карамзиной недостаточное понимание Натальи Николаевны. Милые мои пушкинисты, пушкиноведы! Когда вы перестанете жалеть одну лишь «поэтичную и бледную красавицу»? И когда обратите наконец свой взор на Пушкина – и каково было ему?!

Дантес действительно писал невесте достаточно нежные письма (что следует отметить) и всячески успокаивал ее. Другое дело – как чувствовал себя он сам. Ситуация готовящегося брака была больно непростая.

«Безоблачно наше будущее, отгоняйте всякую боязнь, а главное – не сомневайтесь во мне никогда; все равно, кем бы мы ни были окружены, я вижу и буду видеть только вас; я ваш, Катенька, вы можете положиться на меня, и, если вы не верите словам моим, поведение мое покажет вам это». Письмо от 23

ноября.[91]

А кем они окружены? Кто рядом с ними? Кого он еще не должен «видеть» – чтоб видеть только ее? Конечно, Наталью Николаевну. К которой невеста попросту ревнует: «Некрасивая, черная и бедная сестра белолицей, поэтичной красавицы…» Ну просто не могла не ревновать.

Есть еще два письма, на которых стоит остановиться.

Декабрь 1836 (вторая половина): «Я не попросил вас подняться ко мне нынче утром. Поскольку г-н Антуан, который всегда поступает по-своему, счел нужным впустить Карамзина, но надеюсь, завтра не будет препятствия повидаться с вами, так как мне любопытно посмотреть, *сильно ли выросла картошка с прошлого раза*»[92].

И другое – от 24 декабря.

«Добрая моя Катрин, вы видели нынче утром, что я отношусь к вам почти как к *супруге*, поскольку запросто принял вас в самом невыигрышном неглиже»[93]. Понятно, что он не смог принять Катрин в присутствии Карамзина: невесте не принято так запросто одной навещать жениха на дому, даже больного, даже незадолго до свадьбы. Во-вторых… «Картошку» авторы комментария к письмам трактуют («очень осторожно») как «ребенка, которого Екатерина Гончарова, возможно, уже носила; этот вопрос долго обсуждался учеными…»[94]

Не хотел бы вторгаться в область несколько раз возникавшей и несколько раз отброшенной гипотезы… Но в том же письме к брату Софья Карамзина пишет, кстати: «Я исполнила твое поручение к жениху и невесте; оба тебя нежно благодарят, а Катрин просит напомнить тебе ваши прошлогодние разговоры на эту тему и сказать, что она напишет тебе, как только будет обвенчана»[95]. (Какие – «прошлогодние разговоры» – на какую «тему»? Значит, в прошлом году тема женитьбы Дантеса на ней – а, вероятней всего, речь идет об этой теме – уже поднималась у Катрин с братом Софьи Карамзиной?) Судя по всему, отношения Катрин и Дантеса были куда более давними и близкими. И возникли много раньше ноябрьского вызова на дуэль, посланного Пушкиным.

И, может, не лжет Трубецкой, друг Дантеса (о нем речь дальше), в своих пакостных воспоминаниях – когда говорит, что мысль о женитьбе на Екатерине Гончаровой возникла еще летом – когда Пушкин нечаянно застал жену с Дантесом в не самом выигрышном для замужней женщины положении – и… Дантесу пришлось тогда же срочно посвататься к Екатерине… Если Андрей Карамзин что-то знал – может, и Трубецкой знал тоже?.. Дантес явно делился с ним! «Едва ушел Дантес, как денщик

докладывает, что пушкинская Лиза принесла ему письмо и, узнав, что барина нет дома, наказывала переслать ему письмо, где бы он ни был. Спустя час, может быть, с небольшим, входит Дантес. Я его не узнал, на нем лица не было. „Что случилось?“ – „Мои предсказания сбылись. Прочти“. Я вынул из конверта… небольшую записочку, в которой Натали извещает Дантеса, что она передавала мужу, как Дантес просил руки ее сестры Кати. Что муж, со своей стороны, тоже согласен на брак»[96].

Тут единственное, пожалуй, место в воспоминаниях Трубецкого, которое заслуживает доверия. – В деталях, вроде появления пушкинской Лизы – есть правда. (У Пушкина он не бывал – но горничная Лиза знакома ему.) – Впоследствии, наверное, Дантес старался отмежеваться от данного им (может, продиктованного обстоятельствами) обещания… И все заглохло – до ноябрьской истории с анонимными письмами и первого вызова на дуэль. А сейчас уже всплыло, вероятно, по совету или по требованию Геккерна. – Это был его дипломатический ход. Он был человеком опытным и понимал, что дуэль его так называемого приемного сына – может поколебать не только офицерскую карьеру Дантеса – но и его собственное положение посланника Нидерландов в России. – Как, впрочем, и вышло в итоге. А причина столь легкого согласия Геккерна на брак Дантеса с Екатериной крылась также в их особых взаимоотношениях с его наперсником. (Об этом чуть дальше.) – Пусть брак был не самым выигрышным – пусть! Это была спасительная идея.

В том же письме, где речь идет о встрече с «известной дамой», есть деталь, очень важная для понимания происходящего:

«Еще новость: вчера вечером нашли, что наша манера общения друг с другом ставит всех в неловкое положение и не подобает барышням. Я пишу вам об этом, поскольку надеюсь, что ваше воображение примется за работу и к завтрашнему дню вы найдете план поведения, который всех удовлетворит; я же нижайше заявляю, что ничего в этом не смыслю и, следовательно, более чем когда-либо намерен поступать по-своему». Зачем он все это делает? Его ведь явно вынудили жениться. Все равно, тут не такая великая любовь, чтоб нельзя было удержаться от демонстрации ее на людях. Он дразнит общество? Или кого-то вполне определенного? Ее сестру? А через нее – ее мужа, Пушкина?.. Он ведь представляет себе – какова будет реакция Натальи Николаевны на его или их поведение? Что она не удержится – при муже…

Поведение Екатерины с Дантесом было провокационно – во всех смыслах по отношению к остальным персонажам драмы. Во-

первых, Екатерина была с самого начала интриги агентом Дантеса в доме Пушкина и все сообщала ему. А он прикрывал ухаживанием за одной сестрой свои отношения к другой или *с другой*. Екатерина шла на это, ибо любила его. У нее вся эта история была единственным шансом завоевать место, какое она хотела завоевать. И раз он принимал ее «в самом невыигрышном неглиже» даже накануне свадьбы – их отношения давно были куда более близки, чем нам казалось. А там… «до конца» близки или «не до конца» – не нам судить, да нам и неинтересно.

Нас волнует лишь роковая ситуация: в одном доме две женщины, две сестры – любящие одного и того же человека, находящегося за пределами дома. Одна из сестер замужем. Одна любима, другая – нет, но нелюбимая выходит за этого человека замуж. И обе ревнуют своего избранника друг к другу. Вот истинный «фаталитет» Пушкина! Уже находясь под судом по делу о дуэли, Дантес будет писать председателю военно-судной комиссии полковнику Бреверну: «Со дня моей женитьбы каждый раз, когда он видел мою жену в обществе madam Пушкиной, он садился рядом с ней и на замечание относительно этого, которое она ему однажды сделала, ответил: „Это для того, чтобы видеть, каковы вы вместе и каковы у вас лица, когда вы разговариваете“»[97].

Можно не верить Дантесу ни в чем, но фразу: «для того чтобы видеть, каковы у вас лица» он не придумал – нельзя было придумать! Это, без сомнения – фраза Пушкина, и это состояние Пушкина перед дуэлью. Даже идиллически настроенная Абрамович вынуждена признать: «Пушкину было мучительно видеть, что его жена испытывает ревность к сестре»[98]. Не это ли – самое главное во всей истории?..

В другом письме Софьи Карамзиной:

«Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом зятя – это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а, чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и, если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу из чувства…»[99]

Письмо уже – от 27 января. «Пробили часы урочные…» День дуэли.

Про этот, якобы существовавший, параллельный роман упоминается и в воспоминаниях Трубецкого и в так называемых мемуарах Араповой – дочери Натальи Николаевны от второго брака.

Меж тем… Печальная связка троих – Натальи Николаевны, Екатерины и Дантеса – породила, в свой черед, четвертую составляющую: чудовищную сплетню о связи Пушкина с третьей сестрой – Александриной. Не берусь утверждать, что женатый Пушкин не мог позволить себе интриги на стороне. Наверное, мог – ну не в тот период, правда! – но… он никогда не позволил бы себе этого в *своем доме*. «Любовь к родному пепелищу // Любовь к отеческим гробам…» Чувство *дома* для Пушкина было равносильно этому чувству. А если такой скиталец, как он, вообще, женился – то потому, что ему нужен был *дом*.

Пушкинскую историю нельзя понять вне самого тщательного психологического анализа ситуации. И здесь нет мелких событий – и того, чем можно пренебречь.

Пулю в Александрину пустили в отместку – или в самооправдание, и явно потому, что она была единственная из трех сестер, кто был как-то на стороне Пушкина. Возможно, не совсем, но все же… Не исключено, что пуля была отлита тогда же, в собственном доме Пушкина, и что выпустил ее кто-то из сестер. Скорей всего, его собственная жена. А две ревности двух сестер – Натальи и Екатерины – взорвали дом Пушкина изнутри.

«Отелло не ревнив, Отелло доверчив!» – известная формула того, о ком идет речь. Он сам был доверчив, скорей, чем истинно ревнив. В сущности, столь любимый Набоковым Пушкин применил к своей жене «систему воспитания», схожую с той, какую применил после столь нелюбимый Набоковым и даже презираемый им Чернышевский. Последний много говорил своей невесте перед свадьбой о свободе в любви, в которую он верит, о женской эмансипации в браке и так далее. Чем это кончилось, все знают. Пушкин тоже проповедовал своей жене, что она должна иметь в свете успех. «Кокетничать позволяю, сколько душе угодно!»[100] Более того – он сам желал этого успеха. Но… «…я езжу по большим дорогам, живу по 3 месяца в степной глуши… – для чего? Для тебя, женка; чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоей красотою. Побереги же и ты меня»[101]; это «побереги» грустно мелькает там и сям в его письмах. «Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкие не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышнею, все, что не comme il faut, все что vulgar…» Увы, эти условия не были соблюдены. «Что ты во все тяжкие не пустишься…»[102] – такова была надежда. Для Пушкина в Красоте была Поэзия, и он мечтал всю свою жизнь уравновесить в мире Поэзию и Красоту. Он желал, чтоб они были равнозначны и чтоб Поэзия была тождественна и равносильна Красоте. В этом было его тщеславие – в том числе чисто мужское. – Иначе… он вряд ли

женился б на Наталье Николаевне.

В мае 1834-го Пушкин писал жене: «…с твоего позволения, надобно будет, кажется, выйти мне в отставку… Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены»[103]. Для нее это означало покинуть свет. Она не хотела – это все знали. «В конце концов, чего хочет женщина – того хочет Бог!» – комментировала ситуацию сестра Пушкина Ольга в одном из писем родным. «Дождусь ли я, чтоб ты в деревню удрала!» – писал он жене в том же письме, где разрешал ей «кокетничать вволю». Трудная это штука – человеческая психология: наплыв самых разнообразных чувств. В ситуации ноября 1836-го Наталья Николаевна – мать четверых детей, просто обязана была это сделать: уехать с детьми, если хотела действительно сохранить семью и дом: в Ярополец, в Михайловское – куда угодно, на неопределенное время – пока слухи не улягутся и покуда жадный свет не выищет себе новую жертву, вместо ее мужа и ее самой. Это сделала бы, кажется, в такой ситуации самая заурядная женщина – несмотря на все свои эмоции. Прислушаемся еще раз к Софье Карамзиной: «Вчера мы с г-жой Пушкиной были на балу у Салтыковых, и я веселилась там больше, чем при дворе; не знаю, почему все с пренебрежением говорят об этих вечерах, считая их простонародными, а между тем там все бывают и танцуют от всего сердца…»[104]

И давайте перестанем притворяться, что мы чего-то не понимаем – или мы так не считаем! – «Вгоняет себя в гроб, танцуя целые вечера напролет…»

6

Сейчас стало чуть ли не модно обращаться к последнему, так называемому «Каменноостровскому» циклу Пушкина, как раньше было модно не замечать его – во всяком случае – как единство. Стихам стали приписывать, тоже следуя моде, целиком религиозное направление. Это не совсем так. В цикле оно действительно есть – но есть еще другие смыслы. Перед нами – *венок стихотворений*: подведение итогов. И потому первый, и самый важный вопрос – что входит в состав цикла. В нем существуют, на мой взгляд, по меньшей мере, три «завещания» Пушкина: «Из Пиндемонти», «Памятник» и последнее «19 октября», место которого в цикле для меня несомненно…

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили, —

Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились, и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.

Это – тоже «Памятник». Только – своему времени! Говорят, Пушкин заплакал, когда читал его друзьям на последнем своем 19 октября…

На самом деле… цикл, кажется, начинался несколько раньше – или много раньше: до Каменного острова и до трагического ощущения *кануна* летом 1836-го. Начался, может, с самого неожиданного у Пушкина стихотворения «Не дай мне Бог сойти с ума!» – 1833 год. Более явно – отрывком: «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…» («На свете счастья нет, но есть покой и воля…») – 34 года и стихотворением «Странник» 35-го: «Дабы скорей узреть – оставя те места, // Спасенья верный путь и тесные врата…»; и еще одним стихотворением того же года: «Стою печален на кладбище…» Наверное, сюда же можно отнести «Вновь я посетил…» Тема смерти, гибели и прощания с миром у самого жизнелюбивого нашего поэта в этом цикле настолько остра, что почти болезненна… «По старом рогаче вдовицы плач амурный, – Ворами со столбов отвинченные урны…» – в описании кладбища.

Но есть еще стихотворение, которое уж точно относится к циклу – только стоит в стороне, не навязывая себя, не замечаемое никем, и не скажешь даже, что мы его случайно не замечаем. А это, может, вообще – последнее законченное произведение Пушкина.

От меня вечор Леила
Равнодушно уходила.
Я сказал: «Постой, куда?»
А она мне возразила:
Голова твоя седа.
Я насмешнице нескромной
Отвечал: «Всему пора!
То, что было мускус темный,
Стало нынче камфора».
Но Леила неудачным
Посмеялася речам
И сказала: «Знаешь сам:
Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам».

В объяснительном письме к Нессельроде Геккерн говорит о женитьбе Дантеса на Екатерине как о «высоконравственном чувстве», «которое заставляло моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины… он предпочел безвозвратно связать себя с единственной целью – не компрометировать госпожу Пушкину…»[105]

Что ж, откровенно до неприличия! В конце концов, Дантес уже женат, он – муж Екатерины, бывшей Гончаровой. И та уже живет в доме Геккерна… «Безвозвратно связать себя…»

Но это определение пушкинской ситуации распространилось до дуэли, и оно привело к развязке драмы Пушкина. В упомянутом уже неотправленном письме Геккерну-старшему Пушкин писал: «Если дипломатия есть лишь искусство узнавать, что делается у других, и расстраивать их планы, вы отдадите мне справедливость и признаете, что были побиты по всем пунктам»[106].

Он думал, что, заставив Дантеса жениться под страхом дуэли на нелюбимой, он выиграл бой. На самом деле он проиграл – и свет со всех сторон давал ему это понять. И Дантес мстил ему за то, что его заставили жениться, и дразнил Пушкина – тем, что ощущал свое поражение как победу. Всем своим поведением в последние дни, и даже будучи женат. И показывал откровенно, что бой еще не кончен, и интрига его с Натальей Николаевной, еще не завершена. Что, может, все еще впереди, и что он женился на ее родной сестре, чтоб в итоге выиграть. И все помогали ему с сочувствием. И Наталья Николаевна – пусть меня простят! – помогала ему, как могла, – может, только, в отличие от Дантеса, – по неразумию: являла мужу на каждом шагу, как она страдает от свадьбы сестры, и, кажется, искала его сочувствия… да и «казарменные каламбуры» или комплименты Дантеса – кто пересказывал мужу, как не она?..

«Наталье Николаевне очень хотелось поверить, что Дантес принес себя в жертву ради нее, и что он влюблен по-прежнему». По словам Фикельмон, Н. Н. Пушкина не желала верить, что Дантес предпочел ей сестру, и «по наивности или, скорей, по удивительной простоте спорила с мужем о возможности такой перемены в его сердце, любовью которого она дорожила, быть может, только из одного тщеславия»[107]. Поясним: Наталья Николаевна в растерянности, кажется, или по наивности выбрала мужа конфидентом своей любви к другому. – Ситуация, которую истинные мужчины, а не «рогоносцы величавые», если и выдерживают, то недолго.

Абрамович приводит «в качестве примера… дневниковую запись польского литератора Станислава Моравского. Рассказывая о преддуэльных событиях, Моравский превозносит благородство Дантеса и говорит, что тот связал себя тяжелой цепью на всю жизнь, чтобы „спасти любовницу от грубых, может, даже кровавых преследований“»[108].

7

Люди мыслят по-разному. И обращают внимание на разные вещи, даже видя пред собой одни и те же предметы. В принципе, это создает возможность постигать мир с разных сторон. В великолепной книге Стеллы Абрамович о дуэли Пушкина есть два крупных упущения. Они касаются содержания, а верней сказать, направленности анонимных писем.

1. Автор вовсе отрицает *намек «по царской линии»* в тексте пасквиля. Это тем более странно – что не обратить на это внимание было просто нельзя, – а с приходом советской власти этот мотив буквально эксплуатировали, – все кому не лень.

2. Автор не считает важной и просто игнорирует – *гомосексуальную составляющую* дуэльной ситуации.

Тем самым, вольно или невольно, опускаются два главных момента в оскорблении, нанесенном Пушкину.

По первому пункту – автор книги аргументирует свои взгляды так: «Никто из тех, кто знал точный текст пасквиля, не высказал догадки, что в нем есть намек на царя. Вряд ли Вяземский осмелился бы послать копию Михаилу Павловичу, если б он предполагал что-нибудь подобное».

«Никто не высказал догадки»? Правда, не высказал. Не так просто было ее высказать вслух. Но это ничего *не меняет* и *не отменяет*. Вообще, слухов о каком-то особом внимании царя к жене Пушкина действительно в свете не было. Нет никаких фактов, кроме, разве, обмолвки в воспоминаниях Нащокина, приводимых, с его слов, Бартеневым: «Сам Пушкин говорил Нащокину, что царь, как офицеришка, ухаживает за его женою; нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены…» Это больше похоже на сплетню – чем на передачу слов «самого Пушкина», – но это значит, что сплетни все-таки были: похождения царя по амурной части были всем известны. Щеголев приводит выразительный эпизод из книги одного иностранца, который посетил Россию. «Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти?» – спросил я даму, любезную и умную, и

добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. «Никогда! – ответила она с выражением крайнего изумления. – Как это возможно?» – «Но берегитесь, ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам». – «Объяснение затруднит меня гораздо менее, чем вы думаете; я поступлю, как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом»[109]. Потому и намек на то, что царь может обратить внимание на одну из самых прекрасных женщин петербургского света, вполне мог существовать. И прав тот же Щеголев: «Несомненно, Пушкин с крайней настороженностью следил за перипетиями ухаживания царя и не мог не задать себе вопроса, а что произойдет, если самодержавный монарх от сентиментальных поездок перед окнами перейдет к активным действиям? Такая мысль могла быть только страшна Пушкину»[110].

Хотя… можно сказать вполне определенно: этому русскому царю, при всех его недостатках, были свойственны все ж некоторые черты человека *государственного*. Все его поведение по отношению к Пушкину говорит о том, что он считал, что при его царствовании нужен такой поэт. Потому он вряд ли стал бы при жизни Пушкина всерьез ухаживать за его женой. После его смерти – другое дело! – наверное, потом так и было, и даже больше, чем было, – но это уж точно нас не касается.

Однако… Лучшим доказательством тому, что Пушкин воспринял текст пасквиля впрямую как «намек по царской линии», является письмо немедля после получения пасквиля, отправленное им министру финансов Е. Ф. Канкрину. Датировано 6 ноября: «…я состою должен казне (без залога 45 000 руб., из коих 25 000 должны быть уплачены в течение пяти лет. *Ныне желая уплатить мой долг сполна и немедленно*… В оплату означенных 45 000 осмеливаюсь предложить сие имение. Которое, верно, того стоит, а вероятно, и больше…»[111] Он хочет вернуть долг в казну. Ему намекнули, что он зависим от царя. Он хочет быть независим.

Не менее сложная партитура связана с содержащимся в пасквиле другим намеком: на графа Борха. Главный поклонник Натальи Николаевны – Дантес – был гомосексуалист. В свете было подозрение – но и только. Говорили об этом мало. Может, в этом сказывалось некоторое воспитание. Правда, наследник нидерландской короны, принц Вильгельм Оранский, писал Николаю I: «Здесь никто не поймет, что должно значить и какую цель преследовало усыновление Дантеса Геккерном, особенно потому, что Геккерн подтверждает, что они не связаны никакими кровными узами»[112].

Заниматься разбором этой психологической ситуации у

советских исследователей было как-то не принято: гомосексуализм тогда, как никак, карался – по уголовной статье. С. Л. Абрамович, к примеру (я ее знал), была очень талантливая женщина, прирожденный исследователь, но она была исследователь своего времени. И к тому же слишком чистый человек. Боюсь, само значение этого слова – тогда ей, как многим другим, было не совсем понятно…

Я сам раньше долгое время полагал, что Наталья Николаевна, вообще, возникла в жизни Геккернов как громоотвод… Что, если б ее не существовало – ее следовало бы выдумать: что Геккерны нуждались в громком светском романе «новорожденного», чтобы как-то скрыть истинный смысл усыновления… Думал так – покуда не прочел письма Дантеса к Геккерну. Действительность, как всегда, оказалась сложней и запутанней – всех умозрительных построений. Ситуация возникла тогда, когда была востребована внутренне, – это так. Но после она сама продиктовала свои законы…

«…я хотел бы излечиться (то есть от этой любви. – *Б. Г.*) к твоему возвращению, не думать ни о чем, *кроме счастья видеть тебя и наслаждаться тобой*»[113], – пишет «сын» «отцу».

«…я принял решение пожертвовать *ради тебя* этой женщиной»[114], – и в другом письме: «…жертва, принесенная ради тебя, огромна. Чтобы так твердо держать слово, надобно любить так, как я тебя; и сам бы не поверил, что мне достанет духу жить поблизости от женщины, любимой так, как я ее люблю, и не бывать у нее, имея для этого все возможности…»[115]

Прежде отец-любовник не особенно препятствовал, судя по всему, романам своего «младенца» с женщинами. У двоих мужчин была иная – прочная связь. Старший понимал, что раньше или позже его любовник женится. Возможно, даже подталкивал его к этому иногда. (Вспомним, что он нехотя, но принял после Екатерину Гончарову в роли жены. А раньше сочувственно относился к ухаживаниям Дантеса за Марией Барятинской.) Он желал только, чтобы это был светский брак – достойный, но без особых чувств. Тогда ему самому, естественно, оставалось бы место в утехах своего любимца. Большая любовь напрочь могла изменить все.

Потому, когда он понял… что младший влюбился по-настоящему в женщину – да еще и любим ею… (Не забудем, у женщины к этому времени уже – трое-четверо детей. Для гомосексуальной семьи отца и сына – достаточно эгоистической и преданной всяким роскошествам быта – вторжение в дом такой оравы было бы тяжким испытанием. И у самой избранницы нет решительно никаких средств.) Но главное… У младшего… как

бывает у иных гомосексуалистов не по призванию, а по случайности – таким, вероятно, и был Дантес, – истинная любовь к женщине могла вызвать отторжение от прежней жизни… ощущение, сформулированное Феликсом Круллем в романе Т. Манна: «Это – не мой путь».

В тех же «воспоминаниях», надиктованных на старости лет, – бывший кавалергард Александр Трубецкой скажет и о Дантесе:

«…за ним водились шалости. Но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой мы узнали гораздо поздней. (Тут можно, на самом деле, поставить вопрос. – *Б. Г.*) Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккерном, Геккерн ли жил с ним… В то время в высшем обществе было развито бугрство. Судя по тому, как Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, в сношениях с Геккерном он играл пассивную роль»[116].

Выходит, на первых порах Геккерн никак не мог сочувствовать страсти своего питомца – наоборот (мы цитировали): обиженное письмо Дантеса в защиту Натальи Николаевны от нападок старшего говорит об этом. И, возможно, вначале, видясь с Натальей Николаевной в свете, Геккерн в самом деле «доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем, и открыть ей глаза».

Но мы не представляем себе, как он стал действовать, когда Дантес не попросил – а потребовал фактически у него помощи (в дни, когда Пушкин отказал ему от дома и у них состоялся какой-то нелицеприятный разговор.)

Во всяком случае, все наши представления о сводничестве Геккерна-старшего несколько меркнут – если вовсе не становятся с ног на голову.[117] К сожалению, Геккерну можно поверить хотя бы в этих его оправданиях перед Нессельроде… Он вовсе не хотел сводничать. – Это не он – это Дантес гнал своего любовника («бесстыжую старуху») помогать ему в завоевании любовницы. До этого сам барон Геккерн был тоже – страдающий любовник. Пропадающий от ревности. В конце концов, можно предположить, что, на первых порах, от ревности к Наталье Николаевне Геккерн мог, даже нечаянно, – подтолкнуть кого-то в разговоре к написанию пасквиля. Но дальше тот действовал вполне самостоятельно и отдельно от него – и текст явился неожиданным и оскорбительным – и для него самого, и для Дантеса.

8

«Напомним, что точного содержания пасквиля тогда почти

никто не знал. Правительству и царской семье текст шутовского диплома стал известен лишь после смерти поэта»[118].

Ошибка! Знали. Притом, наверное, – до этого можно было додуматься и раньше. По косвенным обстоятельствам. Но вот – подтверждение…

Геккерн – Дантесу: «Если ты хочешь говорить об анонимном письме, я тебе скажу, что оно было запечатано красным сургучом, сургуча мало и запечатано плохо. Печать довольно странная: сколько я помню, на одной печати имеется посредине следующей формы большая буква „А“ в кавычках со многими эмблемами вокруг „А“. Я не мог различить точно эти эмблемы, потому что оно было плохо запечатано. Мне кажется, однако, что там были знамена, пушки, но я в этом не уверен. Мне кажется, так припоминаю, что это было с нескольких сторон, но я в этом также не уверен. Ради бога, будь благоразумен и за этими подробностями отсылай смело ко мне, потому что граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта записка. Мадам Н. и графиня Софья Б. тебе расскажут о многом. Они обе горячо интересуются нами. Да выяснится истина, это самое пламенное желание моего сердца.

Твой душой и сердцем. Б. де Г.

Почему ты спрашиваешь у меня эти подробности? До свиданья, спи спокойно»[119].

Геккерн пишет Дантесу, который находится на дежурстве по полку. Письмо, очевидно, правильно датируется 6 – 14 ноября. «Мадам Н. и графиня Софья Б. тебе расскажут о многом». – Комментарий: «Мадам Н. – безусловно… Мария Дмитриевна Нессельроде. Графиня Софья Б. – Софья Александровна Бобринская» (ближайшая подруга императрицы).

Кстати, доказательство, что письмо написано именно в ноябре, а не в феврале, когда Дантес под арестом за дуэль с Пушкиным. Тогда бы он не смог видеться с этими дамами.

Ясно одно… Для Дантеса, как для Геккерна, – появление пасквиля во всяком случае – новость. Неприятная. Они также хотели бы узнать, кто совершил эту подлость. – Они имеют в виду, естественно, подлость по отношению к ним. Для них самих это – гром среди ясного неба.

Весьма настораживает конец послания… «Почему ты спрашиваешь у меня эти подробности?» И отсылка за подробностями кого-то к кому-то – в данном случае к самому Геккерну и двум дамам, теперь наверняка можно сказать – и он, и они видели пасквиль!

В примечаниях к книге «Черная речка» рассмотрен под интересным углом этот, давно появившийся на горизонте

(впервые – в 1922 г.) текст: «Возникают два на первый взгляд не связанных меж собой вопроса: чье письмо на бумаге того же формата показал и с кем связано пожелание отсылать за вопросами по поводу пасквиля к нему? Очевидно, что кто-то, с кем Дантес разговаривал во время своего дежурства, проявил интерес к пасквилю или же вызвал его подозрения как причастный к нему. Поскольку Дантес находился на дежурстве в казармах Кавалергардского полка, то доступ к нему был ограничен только сослуживцами по полку. У кого из однополчан Дантеса и с какой стати мог возникнуть интерес к тому, как выглядел пасквиль? Только у того, кто заподозрил третье лицо…»[120]

Не только. Еще у того, кто сам имел отношение к пасквилю – и хотел понять, что известно другим людям. – И Дантесу в частности.

Авторы комментария полагают, что таким человеком мог быть Полетика, полковник того же полка, муж той самой Идалии… Мог быть. А что, если – сама Идалия? Квартира ее расположена в тех же казармах… А что, если Трубецкой или кто-то из его друзей, из группы кавалергардов, чьим коноводом он был и кто, возможно, вместе с ним участвовал в сочинении пасквиля или его рассылке?

Но главное… У Нессельроде в руках пасквиль? Он даже показывал его Геккерну? Значит, текст есть и у Бенкендорфа. Бенкендорф – боевой генерал Отечественной войны, храбрец и ленивец, вероятно, мог считаться нелучшим руководителем тайной полиции. Но уж столь плохим он не был… следовательно, пасквиль из рук Нессельроде должен был перекочевать к нему очень быстро. А кроме того… «точного содержания пасквиля тогда почти никто не знал» – это правда. Но слышали о нем многие. И не могло быть, чтоб Бенкендорф не сунул в него свой нос. Ну, может, нос Миллера или Мордвинова. А из этого следует, что пасквиль вскоре попал к государю.

Потому, вернее всего, 23 ноября Пушкина вызвал царь. О чем они говорили, неизвестно. Вызвал не просто – но в паре с графом Бенкендорфом. – Сперва Бенкендорфа, потом Пушкина. Может, Бенкендорф дальше присутствовал при встрече? Речь могла идти только о пушкинской семейной истории – о чем же еще? «Личные аудиенции, не носившие церемониального характера, были явлением чрезвычайным»[121]. Иначе как по особому случаю – царь камер-юнкеров не принимал. Да еще в паре с начальником секретной службы. Странное ощущение, что в канун трагедии – эти два человека, после более всех ошельмованные в этой истории, – как-то предугадывают развязку и пытаются ее

предотвратить. Разговор этот нам от начала до конца неизвестен. Мнения, что царь на этом свидании заверил Пушкина в невинности его жены и тем успокоил его, взяты с потолка – того самого, по которому носятся слухи. И только. Мы знаем, как старается Жуковский. Хотя он не понимает ничего: он похож на взрослого, который пытается оберечь ребенка от рискованного поступка, сам не в силах взять в толк, почему ребенку так хочется его совершить… «Оберегая репутацию жены, Пушкин даже ему не рассказал о тех преследованиях, которым подверглась Наталья Николаевна накануне 4 ноября». Это было мнение не только С. Л. Абрамович – но большого числа исследователей. На самом деле Жуковский о них не знал – потому что не знал о них наверняка сам Пушкин. Мы все еще плохо представляем его себе.

Если б он полагал, что его жена, кроме ухаживаний со стороны Дантеса, подверглась еще каким-то «преследованиям», – ноябрьский вызов на дуэль был бы куда более жестким и ни в какую не был бы отозван. И никто не выжал бы из Пушкина такого пассажа в письме, где он отказывался от вызова: «У меня нет никаких оснований приписывать его решение *соображениям, недостойным благородного человека*» – о сватовстве Дантеса к Екатерине Гончаровой.

Вся версия о «преследованиях» родилась уже после смерти Пушкина и внушалась пушкинским друзьям лишь одним человеком: Натальей Николаевной Пушкиной и распространялась ею же. Это была ее личная *легенда* происшедшего.

Все последние два месяца своей жизни Пушкин как-то особо, фатально одинок. Никогда такого не было. Всегда были друзья. Теперь в домах друзей принимают Дантеса – в последние недели – Дантеса с Екатериной (Гончаровой), друзья считают для себя неудобным отказать ему от дома. Да и вести себя иначе нет причин – по светским понятиям. Хотя Дантес ведет себя вызывающе – об этом говорят все. Хоть все видят, что Пушкина это бесит. Поведение его всех смешит или раздражает. И в доме Карамзиных, и в доме Вяземских. Стократ цитированное: «… дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных». Кстати, этот моралист тоже пытался ухаживать за Натальей Николаевной. Его зять Валуев якобы спросил Наталью Николаевну: «как она позволяет обращаться с ней таким образом» (своему мужу). Мы приводили оценки С. Н. Карамзиной. Ее брат Александр будет позднее пересматривать свое отношение к событиям и горько каяться в нем – но пока он тоже в друзьях Дантеса.

Но мы подошли к 27 января. Черная речка и 29-е… смерть Пушкина.

«…во время представления в Александринском театре из ложи, где сидели офицеры нашего полка, бросили набитый бумажками гондон в актрису, имевшую несчастье не понравиться им»[122], – Дантес в письме к Геккерну в Париж пересказывает одну из шуток своих товарищей по полку. С. Б. Ласкин приводит еще другой эпизод:

«На Невке, на Черной речке весь аристократический бомонд праздновал чьи-то именины в разукрашенных гондолах, с музыкой, певцами и проч., вдруг в среду гондол влетает ялик, на котором стоит черный гроб, и певчие поют „со святыми упокой“. Гребцы – князь Александр Иванович Барятинский, кавалергарды – Сергей Трубецкой, Кротков, у руля тоже их товарищ. Гроб сбрасывают в воду, раздаются крики: „Покойника утопили!“ – произошла ужасная суматоха, дамы в обморок, вмешательство полиции, бегство шалунов!..

Однако окончилась для шалунов эта история довольно печально – продолжительным арестом на пять или шесть месяцев поплатился князь Александр Иванович, князь Трубецкой переведен тем же чином в армейский полк»[123].

Александр Иванович – князь Барятинский, будущий фельдмаршал – тот, которому, через много лет, сдастся Шамиль. – Это – рассказ одного из биографов Барятинского.

О том же эпизоде писал Арнольди – товарищ Лермонтова по Гродненскому гусарскому полку: «У нас был прикомандирован князь Сергей Трубецкой, товарищ по Пажескому корпусу, из Кирасирского орденского полка, в который попал из кавалергардов за какую-то шалость, выкинутую целым полком во время стоянки Кавалергардского полка в Новой Деревне. Говорили тогда, что кавалергарды устроили на Неве какие-то великолепные похороны мнимо умершему графу Борху»[124].

Мелькнуло имя графа Борха. Заметили?.. Приведенный эпизод следует запомнить. Как все имена, прозвучавшие здесь.

Я каюсь, я гусар, давно, всегда гусар —
И торжествует вновь любимая привычка,
И я спешу в свою гусарскую семью,
Где хлопают еще шампанского оттычки…

Денис Давыдов

«Военно-кавалерийская молодежь не хотела покоряться

власти, кроме своей полковой, и беспрерывно противодействовала земской и городской полиции, фланкируя противу их чиновников. Буянство хотя и подвергалось наказанию, но не почиталось пороком и не помрачало чести офицера, если не выходило из известных условных границ», – писал Ф. Булгарин в воспоминаниях о более ранней поре гусарства.[125] «…все эти кутежи и повесничанья доставляли высшим властям особый род удовольствия», – подтверждал Зиссерман, военный историк, тот самый биограф фельдмаршала.[126]

Кстати, Николай I расплатился с «шалунами» – героями эпизода на Неве, не слишком жестко, но внятно… «Гром грянул, – пишет Дантес, – Трубецкой, Жерве и Черкасский переведены в армию; им дали 24 часа на сборы, после чего за ними приехали три фельдъегеря; Жерве увезли на Кавказ, Трубецкого в Бессарабию, а Черкасского за 300 верст от Москвы…» («Забыл тебе сказать, что князь Трубецкой тотчас отправился в Царское Село благодарить Императора за то, что тот сделал сына армейским офицером» – из другого письма.[127] Наверное, и отец был не в восторге от подвигов своего отпрыска!) Впрочем, возможно, это было наказание не только за одну шутку с гробом – а некое «сложение подвигов». Что касается Барятинского, он тогда же попросился на Кавказ – хорошо воевал, был тяжко ранен, еле выжил… Зато потом был назначен адъютантом к наследнику Александру, и с этого началась его карьера.

То была великосветская молодежь. Кавалергардские офицеры – привилегированный полк. Те, кого звали в обществе «ультрафешенебельными».

Но вообще… таковы были нравы времени. Шутки времени. Это была определенная субкультура среды. После декабря 1825-го среда стала хиреть, мельчать, озлобляться… «Оттычки» хлопали так же. Но смысл был часто другой. В этой субкультуре вполне мог поместиться пасквиль, посланный Пушкину. Ибо эти ребята Пушкина уже не читали – или *могли не читать его*. А если и читывали – для них это значило много меньше, чем для их предшественников.

Серена Витале, итальянская исследовательница, которая открыла для нас письма Дантеса к Геккерну, – пишет в своем авторском предисловии к изданию:

«Сохранилась традиция, согласно которой автора ищут среди врагов Пушкина… А почему же им не может быть враг Жоржа Дантеса? Это могла быть одна из брошенных или оскорбленных им женщин»[128].

Гениальная мысль! И какая простая!

«Для нас с Александром эта неделя была отмечена тремя балами, один из которых был дан Мятлевыми в честь леди Лондондерри (которая продолжает ослеплять Петербург блеском своих бриллиантов). Танцевальный зал так великолепен по размерам и высоте, что более двухсот человек кажутся рассеянными и там и сям… и *все же ультрафешенебли, вроде княгини Белосельской и князя Александра Трубецкого,* покинули дом еще до мазурки – явное доказательство того, что находят бал явно недостаточно хорошего тону».

Это письмо С. Н. Карамзиной от 9 января 1837 года.[129] До смерти Пушкина остается 20 дней.

Возник новый персонаж: Александр Трубецкой.

В старости Трубецкой жил в Одессе – карьера его не задалась. Дружил с Идалией Полетикой, бывшей светской львицей и родственницей Натальи Николаевны (внебрачная дочь Строганова). Она была сильно замешана в преддуэльной истории (о свидании, якобы подстроенном ею на ее квартире, мы уже говорили). Наверное, эта дама страстно любила Дантеса, хоть была любовницей другого: Ланского – будущего мужа Натальи Николаевны. Идалия была врагом Пушкина в последнюю пору его жизни и после его смерти тоже – фактически. Мы не знаем впрямую причин такой вражды, – но она грозилась перед открытием памятника Пушкину в Одессе пойти и плюнуть на этот памятник.

Воспоминания, которые Трубецкой надиктовал в Одессе Бильбасову, в основной своей части редкостно глупы и несправедливы по отношению к Пушкину. Вообще, Пушкина он почти не знал. Но с Дантесом они были дружны, и он кое-что слышал. Ахматова, я думаю, не совсем права, считая, что слухи о романе Пушкина с Александриной, старшей сестрой Н. Н. – почти все содержание этих «воспоминаний» – впрямую «версия Дантеса». «Все, что там сообщено, говорит не Трубецкой, а сам Дантес…»[130] – это могло быть и собственное сочинение Трубецкого – но, главное, что такой слух был пущен в свете вдогонку погибшему Пушкину, чтобы снять собственные вины «ультрафешенеблей».

У Ахматовой писем Дантеса не было. У Замятина говорится в ремарке, в пьесе по «Левше» Лескова, – что персонаж пьесы – вовсе не царь, но «такой, каким представляют себе царя в тульских пивных»…

Так трагедию Пушкина представляли себе в светских «пивных» – в гостиных и в местах для пересудов. Невольно мешая

грязные слухи с выдержками из некогда прочитанных книг фривольного содержания (немногих). Но, чтоб иметь *такие* воспоминания и пожелать делиться с ними, мало-мальски воспитанному человеку на старости лет – нужно было ненавидеть Пушкина. Такого рода беспричинная ненависть бывает чаще всего тогда, когда сделают большую подлость по отношению к кому-то.

У Трубецкого Александра была особая судьба. Около 23 лет – он был последней, сколько можно судить, платонической любовью стареющей императрицы Александры Федоровны. Участник «кружка развлечений» государыни. Много виновный перед ней, государь император хотел, чтоб ее кто-то развлекал, чтоб она могла утешаться – разумеется, в границах приличий. Когда развлечения несколько переходили границы – он с ней отечески беседовал. Наверное, не один раз. От «своего имени и от имени других». За кружком пристально наблюдал Бенкендорф – лично. Граф Алексей Орлов – лично. Иногда даже странно: неужели у охранной службы империи не было иных забот?.. В этот узкий круг входили молодые кавалергарды: князь Куракин, Скарятин, Барятинский – не кавалергард, кирасир (кавалергард душой, как он говорил о себе), братья Трубецкие. Коноводом кружка был Александр Трубецкой. Бархат. Императрица называла его так в переписке с Софьей Бобринской. Получил он это прозвище от нее: бархатные глаза. Вот все. Вероятно, он был очень красив. Братьев Трубецких звали «Красное море», потому что мундир полка не на параде – был красный.

В воспоминаниях о Пушкине Трубецкой будто невзначай заговорил о пасквиле: «В то время несколько шалунов из молодежи – между прочим, Урусов, Опочинин, Строганов, мой coisin – слали письма анонимные по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин». Явно он знает что-то еще – или кого-то, но недоговаривает…

Опять эти «шалуны»! «Сохранилась традиция, согласно которой автора ищут среди врагов Пушкина… А почему же им не может быть враг Жоржа Дантеса?» Спросим еще: *а почему не враг самой Натальи Николаевны?* «Врагиня»?.. Как можно больше отомстить сопернице, уведшей у тебя возлюбленного, – нежели «открывши глаза» ее мужу?..

Серена Витале называет несколько женских кандидатур: в том числе Марию Барятинскую, родную младшую сестру будущего фельдмаршала (не будучи согласен с этой кандидатурой как возможного автора пасквиля, я очень рад, что всплывает сама фамилия Барятинских). Упоминает Витале еще некую «Супругу», как ее зовет Дантес в письмах к Геккерну в Париж (имени мы не знаем) и о разрыве с которой он сообщает

своему любовнику перед тем, как начать рассказывать ему о своей новой любви – к Наталье Николаевне Пушкиной.

Вариантов много. Все наши исследования почему-то останавливались на одном: на вражде к Пушкину. Вовсе игнорируя ряд других возможностей.

В книге С. Л. Абрамович есть сюжетная линия, связанная с Марией Барятинской, которая осталась там не совсем завершенной. Речь идет о дневнике, более того – о личной истории этой рано умершей представительницы одной из знатных российских фамилий. Она была совсем юной и только что, фактически, начала выезжать в свет. «Мария Барятинская была хороша собой, уверена в своей привлекательности и очень тщеславна. Княгиня Барятинская зорко следила за молодыми людьми, оказывавшими внимание дочери, и решительно вмешивалась в тех случаях, когда находила ухаживание нежелательным. Так было, например, с блестящим кавалергардом князем Александром Трубецким. Которому княгиня очень скоро дала понять, что он не может рассчитывать на руку ее дочери (непреодолимым препятствием к этому браку в глазах Барятинских было *сомнительное происхождение его матери княгини Трубецкой*». (Подчеркнем мы. – *Б. Г.*) И хотя княжне льстило ухаживание одного из самых модных молодых людей, она с чувством удовлетворенного тщеславия записала 20 мая в дневнике: «…maman воспользовалась долгожданным случаем, чтобы откровенно дать ему понять, что не желает его для меня»[131].

Напомним: Трубецкой параллельно является «Бархатом», платонической любовью императрицы – ее другом и спутником ее развлечений – и знает себе цену. Но для Барятинских он недостаточно хорош, – «сомнительное происхождение матери»! Это притом, что с Барятинским – сыном княгини – они дружны, и брат Александра, Сергей, – участвовал с ним в одном и том же приключении на Неве – за что оба поплатились. «Бархатные глаза (будем раз навсегда говорить обо всем *Бархат*, так удобнее) могут рассказать вам о бале, – пишет императрица, – они словно грустили из-за участи брата, но постоянно останавливались на мне и задерживались около двери, у которой я провожала общество, чтобы перехватить мой последний взгляд, который между тем был не для него…»[132] – Из письма Софье Бобринской, кузине Трубецких. Императрица тоже явно сочувствует брату Бархата.

Но в семье Барятинских Трубецкому отказали. «Дантес же, как выясняется из дневника, был завсегдатаем в доме Барятинских и до поры до времени пользовался

покровительством княгини. Отметим, что уже на первой странице дневника княжна дважды упоминает имя Дантеса. Выясняется, что с 23 по 30 марта он четыре раза был у Барятинских с вечерним визитом. В апреле – мае он так же часто бывает у Барятинских»[133].

Обратим внимание: мать-княгиня, отвергшая Трубецкого как претендента на руку ее дочери – вполне благосклонна к «безродному» или неизвестно за какие заслуги усыновленному важным лицом – Дантесу. Чем не почва для вражды? Имеет смысл подумать!

В свете спрашивали: «Ну как, устраивается ли свадьба вашей кузины? – С кем? – С Геккерном». «Вот мысль, никогда не приходившая мне в голову, – пишет по этому поводу княжна, – так как я чувствовала бы себя несчастнейшим существом, если бы должна была выйти за него замуж. Я знаю, что это не так, так как я ему ничуть не подхожу. И maman узнала через Трубецкого, что его отвергла г-жа Пушкина. Может, потому он и хочет жениться. *С досады!*.. Я поблагодарю его, если он осмелится мне это предложить»[134].

Запись в дневнике около 22–23 октября 1836-го.

11

В этом месте начинается еще одна история. И пора обратиться к князю Вяземскому. Князь был не самым верным из друзей Пушкина – последних месяцев его жизни, – в общем – и не только последних… Впрочем, в нем всегда чего-то недоставало, чтоб быть другом Пушкину. Вроде незаметно – а недоставало. Скажем мягче, он был из друзей больше *литературных*. Не одно и то же, что просто друг. Не Нащокин, не Пущин – да и, конечно, не Жуковский…

Однако, когда Пушкина не стало… Он, как свойственно российским интеллигентам (может, и другим, но мы про то не знаем), начал корить себя. Рвать на себе одежды, посыпать голову пеплом. Валялся в обмороке на паперти церкви, где шло отпевание, что было, право, несколько театрально – и не только по нашим, отнюдь не сентиментальным временам, но и по древним – пушкинским. И каждый день вспоминал все новые подробности преддуэльного действа, которые он все пропустил, что греха таить, и к которым прежде был более чем равнодушен. А слухи носились в воздухе. А подробности множились. А князь был великий собиратель слухов и сплетен – то бишь деталей бытия, когда речь идет о светском обществе. (Некая смесь Свана и барона де Шарлю из Пруста!) В каком-то смысле у него началась

теперь, с этого момента – какая-то особо интересная жизнь.

Сразу после смерти друга князь взял на себя почетную и скорбную – а где-то, наверное, и приятную обязанность оповестить о случившемся возможно большее число людей. И рассказать им, как все было на самом деле. Он почувствовал себя не только другом покойного, но летописцем – «сотрапезником на пиру» трагической, но поучительной и, несомненно, великой истории. И справился с этой задачей блестяще. Недаром он в России «ходил в Монтенях». Уверял, к примеру, что Пушкин рек перед смертью: «Жаль, что умираю, – а то был бы весь его!» – это про царя. Так что тут и Вяземский становился как бы при чем, способствовал излечению Пушкина пред смертью от либерализма. Если уж нельзя было излечить от раны. Хотя при этих словах Пушкина его в комнате не было, и он их не слыхал. Бедный Пушкин! Он так страдал – испытывал такие чудовищные муки – что вряд ли выражался б столь витиевато, языком Тартюфа. Ну какие-то слова благодарности в адрес царя он пробормотал, наверное, заботясь о своей оставляемой им семье. Злой А. Я. Булгаков на эти реминисценции Вяземского из Пушкина в письме к дочери и откликнулся словами, что способен «всегда отличить Пушкина от Вяземского».

Вяземский написал кучу писем разным людям, в которых пытался обрисовать событие с разных сторон. Сперва очень осторожно, с позиций больше охранительных, как пояснил Щеголев: «важно было реабилитировать не только Пушкина, но и себя». Но постепенно расширяя границы своего видения происшедшего – невольно корректируя самого себя, а главное, вооружаясь все более новой информацией да и большей смелостью… Ибо у него было великолепное чутье – и он понял, что время работает на Пушкина и, несмотря на достаточно серьезную поддержку в свете, какую имел Дантес – у Пушкина она оказалась тоже серьезной, – что наступает пора, когда «его доброе имя и его слава принадлежат родине и, так сказать, царствованию государя императора». Во всяком случае, в этом он хотел убедить в письме брата царя, посылая ему, среди прочего, копию пасквиля. Потому считать, что он бы не решился на это, «если б он предполагал что-нибудь подобное»: то есть «намек по царской линии» – по меньшей мере, наивно. Об авторстве пасквиля он написал притом весьма аккуратно: «Он (то есть Пушкин. – *Б. Г.*) заподозрил в их сочинении старого Геккерна и умер с этой уверенностью. Мы так и не узнали, на чем основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. Но так как на этот

счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований, то это предположение надо отдать на суд Божий, а не людской»[135].

Какой случай дал «долю вероятия» подозрениям Пушкина – из письма понять нельзя. Зато в письме есть фраза, несколько фраз – которые не любят цитировать наши поклонники «стерильности» поведения главной героини драмы. И которые, прямо скажем, разрушают частично ту линию защиты, которую и здесь, и далее выстраивали вокруг Натальи Николаевны друзья Пушкина и среди них Вяземский. «Она должна была бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее не хватило характера. И вот она очутилась *почти в таких же отношениях с молодым Геккерном, как и до свадьбы*: тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности». «В почти таких же отношениях…» – Это и есть финальный аккорд!

Очерк С. Л. Абрамович 1989 года, посвященный письмам Вяземского о гибели Пушкина с исчерпывающей полнотой отражает само движение его писем.[136] А движение это шло от полюса осторожности к полюсу почти откровенной политической публицистики, которой он рискнул наполнить даже свое письмо к вел. князю Михаилу.

«Первым рассмотрел письма Вяземского в хронологической последовательности Б. В. Казанский. Он выяснил нечто существенное: оказалось, что с определенного момента в мнениях и оценках Вяземского произошел заметный сдвиг. „По-видимому, – писал Казанский, – Вяземскому между 5 и 9 февраля сделались известны какие-то обстоятельства, которые изменили его взгляд на пушкинскую историю“. Само указание на этот факт является *открытием*, – пишет Абрамович, – это означает, что даже самые близкие друзья Пушкина не знали вплоть до февраля 1837 г. о каких-то важных обстоятельствах, касающихся преддуэльной истории»[137].

Конечно, не знали. Сама автор книги «Пушкин в 1836 году» много об этом писала. Иные и не хотели знать – например, Вяземский. До самой смерти Пушкина. Но Казанский имеет в виду явно другое: *сдвиг восприятия*, происшедший в определенные дни февраля. А С. Абрамович, признавая это открытием, дальше не пускает нас им воспользоваться.

Переписка Вяземского с Эмилией Карловной Мусиной-Пушкиной, урожденной Шернваль, носила сугубо светский и куртуазный характер.

(«Графиня Эмилия // Белее, чем лилия… // Но сердце Эмилии // Подобно Бастилии…» – напишет немного лет спустя

другой поэт – Лермонтов.)

Переписка Вяземского с ней носила, в основном, тот же характер, даже когда речь зашла о гибели Пушкина.

Сюжет?.. Дама уехала с сыном в Москву, Вяземский начинает забрасывать ее письмами, ухаживать за ней на расстоянии, сообщать ей светские сплетни, поддразнивать ее прочими ее поклонниками или привязанностями. Среди тем его писем какую-то особую роль играет тема кавалергардов – «Красного моря», как он называет с издевкой, – и, в частности, одной кавалергардской семьи. Мать из этой семьи именуется «Матерью Красного моря», и об ее танцах, развлечениях, ее бестактности говорится очень много. Наверное, его корреспондентку это интересует преувеличенно… «Мать всего красного, или Красное море, если Вам так больше нравится, успокоилась только с последним взмахом смычка. …как видно, подошвы у нее горят сильнее, чем сердце. Госпожа Элиза Хитрово очень возмущена этим и говорит, что эта сорокалетняя баба ведет себя как девчонка. Я тоже так считаю, что у всего этого семейства нет сердца, а есть одни только ноги, притом весьма неуклюжие, потому что ОНИ наступают на ноги другим»[138].

Это после того, как один из молодых «красных» – членов семьи (Александр) в танце наступил на ножку известной нам Марии Барятинской – да так, что пошла кровь. «Вы видите, что все, что в моем отчете относится до кровавого, я пишу красными чернилами».

Что поделаешь! – танцы в моде. На следующее утро после смерти Пушкина императрица напишет Софье Бобринской:

«…Этот только что угасший гений, трагический конец истинно русского, однако ж иногда и сатанинского, как Байрон. Эта молодая женщина возле гроба, как ангел смерти, бледная, как мрамор, обвиняющая себя в этой кровавой кончине, и, кто знает, не испытывает ли она рядом с угрызениями совести и *другое* чувство, которое увеличивает ее страдания».

Другое чувство – это, естественно, к Дантесу. Какое страшное копание в чувствах вдовы, только что утратившей мужа и отца своих четверых детей! Но, к сожалению, ею были даны все поводы для такого копания!

«Бедный Жорж, – продолжает императрица в письме, – что он должен был почувствовать, узнав, что его противник испустил последний вздох. После этого ужасный контраст, я должна Вам говорить о танцевальном утре, которое я устраиваю завтра»[139].

«Бедный Жорж» и «ангел смерти» – его жена. И «другое чувство, „увеличивающее страдание“». И, сознавая «ужасный контраст», – все равно танцевальное утро – которое нельзя отменить. Бедный Ласкин! – его зря так поносили за несовпадение под его пером танцевальных будней двора с камер-фурьерским журналом. Это – отношение к смерти Пушкина в свете. Ничего не попишешь. Это – знак, симптом того, как гения стирает обыденность.

Денис Давыдов писал в том же стихотворении, какое мы уже цитировали:

Бегу вас, сборища.
Где жизнь в одних ногах,
Где благосклонности передаются весом,
Где откровенность в кандалах,
Где тело и душа под прессом…

Но «кровавым», который наступил на ножку княжны Барятинской, божественная Эмилия весьма увлечена – и продолжает увлекаться, несмотря – что сидит в Москве. Его считают «самым красным», «пре-красным» и т. д.

Нет никаких сомнений, что это именно Трубецкой Александр. Тот самый… Его идентифицировали в этом качестве не только Ласкин, но и сама Эмма Герштейн.

Вяземский изощряется на сей счет как может – даже теряя чувство меры и вкус. А он вроде не страдал никогда совсем уж отсутствием оного.

«Пока посылаю несколько пачек красной бумаги, самой красной, которую мне удалось здесь найти.

Я только что написал в Париж, чтобы мне прислали пунцовую по образчику кавалергардского сукна, который я туда послал.

Собирался Вам отправить целое множество краснот, но, к сожалению, ничего еще не готово. А в будущем буду Вам писать письма на десятирублевых ассигнациях, чтобы мои глупости приобрели в Ваших глазах хотя какую-то цену». И другому своему корреспонденту – Булгакову, про ту же Эмилию Карловну: «А шутки в сторону, пошли ей от неизвестного в день рождения или на другой день, если письмо мое не придет в пору, блюдо вареных раков»[140].

А потом Пушкин убит, и общество начинает расплачиваться

по счетам. Не все, конечно, но некоторые… И более всего пушкинские друзья, которые ничего не видели, ничего не слышали, – и Пушкин их безумно раздражал своей нескрываемой болью и несветским поведением.

Я все понимаю – даже то, что люди пушкинского круга старались отмахнуться от этой боли. Они жили в определенной жизненной системе. Но как от этой боли отмахивались уже в иное время – те, кто занимался Пушкиным профессионально – биографией Пушкина, причинами гибели Пушкина, – любил Пушкина, кажется, и должен был сострадать ему?.. Как они могли – годами, десятилетиями, столетие – пережевывать одну и ту же жвачку, типа: «Зная ее, Пушкин поверил ей безусловно. Он стал ее защитником, а не обвинителем». И без конца цитировать Вяземского: «Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала»[141]. Будто на стороне Пушкина уже не было никого, не только современников – даже потомков. Или будто все, кто занимались его историей, сами не ведали никогда – ни ревности, ни любви… Надо сказать, в этом смысле, ошибка Ласкина с Идалией Полетикой как заменителем Натальи Николаевны – была из того же ряда и вполне идентична ошибкам Абрамович.

Что касается князя Вяземского, человека, тоже принадлежавшего (тут прав Ласкин) к «утрафешенеблям», – теперь он начинает писать другие письма. Не сразу – прямо скажем. Не сразу он обретает тон не только светского человека – но и друга Пушкина, и, простите за выспренность, русского публициста. Сперва он несколько теряется от свалившейся на него ноши – необходимости называть вещи своими именами – те, которые в свете было не принято называть. Но постепенно его голос обретает металл… Он поневоле теперь должен стать ближайшим человеком к Пушкину. Хотя бы на короткое время. И он им становится.

Он даже решится в письме великому князю Михаилу Павловичу пожаловаться на действия тайной полиции. Правда, здесь он больше защищает себя, чем покойного: тот уже в защите не нуждается.

1 февраля, в день отпевания Пушкина, Вяземский пишет в Париж А. А. Смирновой-Россет и ее мужу: «Что скажете вы о страшном несчастии, поразившем нас, как удар молнии, в тот момент, когда мы менее всего его ожидали? Хотя, если говорить правду, после этих проклятых безымянных писем небосклон бедного Пушкина постоянно был покрыт тучами…»[142] Это «менее всего ожидали» следует выделить особо.

Письмо едет в Париж с д’Аршиаком, секундантом Дантеса в

дуэли Пушкина. С ним «отсылали свои письма также Карамзины, А. И. Тургенев и братья Россеты: вероятно, другой оказии в ближайшее время не предвиделось» указывает С. Абрамович. Сведения, полученные из этих писем, и взгляды, содержавшиеся в них, сам д'Аршиак откомментирует следующим образом: «Как объяснить тот интерес, с которым отнеслись здесь к делу Геккерна? Почему писали о нем во всех газетах? Русское посольство отнеслось к делу как должно; некоторые русские отнеслись иначе; г. Смирнов, между прочим, был нелеп»[143]. «Нелеп» – то есть защищал Пушкина. Отметим еще: «Русское посольство отнеслось к делу как должно» – значит, стало на сторону Дантеса. Удивителен сам словарь эпохи и свидетелей событий. Ну что ж… О причинах катастрофы в письме к Смирновой пишется Вяземским крайне осторожно:

«Да, конечно, это свет его погубил. Эти проклятые письма, эти проклятые сплетни, которые приходили к нему со всех сторон. С другой стороны, причиной катастрофы был его характер, пылкий и замкнутый. Он с нами не советовался, и какой-то рок заставлял его постоянно действовать в неверном направлении».

В письме к Булгакову от 5 февраля, известном более всего попыткой представить умирающего Пушкина пылким и покорным верноподданным: «Скажите государю… что жалею о потере жизни, потому что не могу изъявить ему благодарность, что я был бы весь его…» (Пушкин в интерпретации Вяземского)[144] – князь все-таки повторяет то же самое: «О том, что было причиной этой кровавой и страшной развязки, говорить много нечего. Многое осталось в этом деле темным и таинственным для нас самих. *Пушкина в гроб положили и зарезали жену его городские сплетни, людская злоба, праздность и клевета петербургских салонов, безыменные письма.* Пылкая, страстная душа его, африканская кровь не могли вытерпеть раздражения, произведенного сомнениями и подозрениями общества…»

В письме к тому же адресату от 10 февраля князь уже более определенен:

«*Адские козни* были устроены против Пушкина и его жены. Раскроет ли время их вполне или нет, неизвестно, но довольно и того, что мы уже знаем. Супружеское счастье и согласие Пушкиных было целью развратнейших и коварнейших покушений двух людей, готовых на все, чтобы опозорить Пушкину. Но теперь, если истина и обнаружится и Божье правосудие оправдается и на земле, то уж бедного Пушкина и не воротишь. Он пал жертвою людской злобы».

Речь покуда все-таки идет о «двух людях», и несомненно это – Дантес и Геккерн. (На чем очень настаивала Абрамович.) Только… что мы видим здесь? С одной стороны, убежденность: «*Адские сети, адские козни»,* которая вроде бы обличает только двоих, чужих, и тут же, в письме к Денису Давыдову (9 февраля) Вяземский пишет: «Ясно изложить причины, которые произвели это плачевное последствие, невозможно, потому что многое остается тайной для нас самих»[145].

Но уже в письме к великому князю Михаилу Павловичу, через несколько дней, он высказывается куда обширней по смыслу:

«Эти события и смерть Пушкина произвели во всем обществе сильное впечатление. Не счесть всех, кто приходил с разных сторон справляться о его здоровье во время его болезни. К

несчастью, печальные исключения встретились и здесь. Некоторые из коноводов нашего общества, в которых нет ничего русского, которые и не читали Пушкина, кроме произведений, подобранных недоброжелателями и тайной полицией, не приняли никакого участия в общей скорби. Хуже того – они оскорбляли, чернили его. Клевета продолжала терзать память Пушкина, как терзала при жизни его душу. Жалели о судьбе интересного Геккерна, а для Пушкина не находили ничего, кроме хулы»[146].

Казанский не зря утверждал, что характер писем князя меняется – где-то в десятых числах февраля. Но одно следует отметить: все объяснения трагедии Вяземским начинаются с «адских козней» и анонимных писем… Здесь видит он корень и начало трагических событий.

Тут и выходит на свет «письмо к Незабудке» – графине Эмилии Карловне Мусиной-Пушкиной от 16 февраля. В которую Вяземский по-старчески влюблен, которую ревнует к молодым, но сердце которой все ж мечтает завоевать – не мытьем, так катаньем: не внешностью и красным мундиром – так умом и светскостью и талантом литературным – какие, дай Бог кому-нибудь, а ему не занимать!

Между прочим, одно из писем к ней и какой-то подарок – он передает ей с ее мужем. Это – законы светской игры. – Потому он до катастрофы фактически не понимал Пушкина!

Перед нами то письмо, за которое все так обиделись на Ласкина – что он снова извлек его на свет! Ему (этому письму) так легко жилось в забвении. Главное, это письмо нельзя было объяснить в прежних категориях – а это было трудно для тех, кто считал, что давно уже все объяснено.

Меж тем готов утверждать: как бы ни трактовал письмо тот же Ласкин или кто-либо другой – и как бы кто ни ошибался в трактовках – это письмо, вместе с перепиской Дантеса с Геккерном, ныне опубликованной, – является одним из важнейших документов, свидетельствующих нам причины гибели Пушкина.

В книге С. Л. Абрамович письмо приведено, увы, настолько отрывочно, что все главное в нем просто выпало. О главном ни слова. Сказано только, что «Вяземский в своих февральских письмах… глухо и неясно говорит о том, что послужило основанием для подозрений против Геккернов. Он был предельно осторожен в своих письмах по той же причине, что и Пушкин в своих обвинительных письмах: *Вяземский не хотел компрометировать жену поэта*»[147]. Это, в принципе, правильно – как верно и то, что о Геккернах Вяземский здесь говорит очень мало. Пафос письма обращен к другим вещам и к другим людям.

Графиня Э. К. Мусина-Пушкина

«16 февраля 1837 года.

С.-Петербург

…Что за ужасный перерыв нарушил течение нашей переписки! До сих пор я не могу прийти в себя. Вечером 27 числа, в то самое мгновение, когда я брался за перо, чтобы писать Вам, и

готов был наболтать Вам всяких пустяков, ко мне в комнату вдруг вбежала моя жена, потрясенная, испуганная, и сказала мне, что Пушкин только что дрался на дуэли. Остальное Вы знаете. Из моего письма к Булгакову Вы, конечно, ознакомились с разными подробностями этого плачевного происшествия.

Мои насмешки над красными принесли несчастье. Какое грустное, какое позорное событие! *Пушкин и его жена попали в гнусную западню, их погубили. На этом красном, к которому, надеюсь, Вы охладели, столько же черных пятен, сколько и крови. Когда-нибудь я расскажу Вам подробно всю эту мерзость.*

Я должен откровенно высказать Вам (хотя бы то повело к разрыву между нами), что *в этом происшествии покрыли себя стыдом все те из красных, кому Вы покровительствуете, все Ваше Красное море. У них достало бесстыдства превратить это событие в дело партии, в дело чести полка.* Они оклеветали Пушкина, и его память, и его жену, защищая сторону того, кто всем своим поведением был уже убийцей Пушкина, а теперь и в действительности застрелил его.

Я допускаю, что друзья убийцы могут считать его менее виноватым, чем он был на самом деле, так как руководили им низкие подпольные козни его отца, но сердце честного человека, сердце Русского не может колебаться в выборе: оно целиком становится на сторону бедного Пушкина и видит в нем только жертву – увы! – великую и прекрасную.

Я содрогаюсь при одной мысли, что в силу предубеждения или по упорству Вы можете думать обо всем этом иначе, чем я. Но нет, нет! Ваше доброе сердце, Ваша способность чувствовать живо и тонко все, что есть в Вас возвышенного, чистого, женственного, разубеждает меня, обеспечивает мне Ваше сочувствие.

Вы должны довериться мне, Вы не знаете всех фактов, всех доказательств, которые я мог бы представить, Вас должна убедить моя уверенность, Вы должны проникнуться ею.

В Пушкине я оплакиваю друга, оплакиваю величайшую славу родной словесности, прекрасный цветок в нашем национальном венке, однако, будь в этом ужасном деле не на его стороне право, я в том сознался бы первым. Но во всем его поведении было одно благородство, великодушие, высшая вежливость.

Если бы на другой стороне был бы только порыв страсти или хотя бы вопрос чести, я, продолжая оплакивать Пушкина, не осудил бы и его противника, мой ригоризм, моя строгость в нравственных вопросах не доходит до такой степени. Где грех, там и милость…

Грех, но не всякая подлость!..

Что будете Вы делать теперь с моими письмами? Ничего

забавного я не сумею теперь Вам писать. Достанет ли у Вас терпения читать письма, где речь будет идти только обо мне или о Вас?

Наш „свет“ стал мне ненавистен. Не только большинство оказалось не на стороне справедливости и несчастья, но некоторые высшие круги сыграли в этой распре такую пошлую и постыдную роль, было выпущено столько клеветы, столько было высказано позорных нелепостей, что я еще долгое время не буду в состоянии выносить присутствие иных личностей.

Я покидаю свет, и не меньше, чем скорбь, меня побуждает к этому негодование. А Вы, дорогая графиня, что делаете в настоящую минуту? Сегодня вторник, бал в собрании. Не собираетесь ли Вы туда? О Вас говорят, что Вы больны, что Вы уезжаете, что Вы остаетесь. Чему верить?

Какая драма, какой роман, какой вымысел сравнится с тем, что мы видели! Когда автором выступает Провидение, оно выказывает такую силу воображения, перед которой ничтожны выдумки всех сочинителей, взятых вместе. Ныне оно раскрыло перед нами кровавые страницы, которые останутся памятными навеки. Проживи я тысячу лет, мне не уйти от впечатлений этих двух дней, считая с минуты, когда я узнал об его дуэли, и до его смерти.

И что за удивительные совпадения! 29 января – день Вашего рождения, день рождения Жуковского и день смерти Пушкина. Сердце мое было разбито скорбью, но я все-таки не забыл вознести свои мольбы о Вас и провозгласить безмолвно за Вас тост, услышанный небом и Вашим ангелом-хранителем.

Я готовил Вам свой портрет в красном одеянии, бальную сцену, где выступают преимущественно красные, но поставьте над этим крест, в этом цвете нет более ничего забавного, всякая шутка по этому поводу будет отныне святотатством.

17 февраля.

…Моя прозорливость уличена в бессилии, и, чтобы не ошибиться, я ничего не говорю. Если есть у Вас ко мне вопросы по поводу пушкинского дела, которые могли бы успокоить Вашу совесть, рассеять сомнения и предрассуждения или обезоружить клевету, обращайтесь ко мне.

Я беру на себя обязанность говорить Вам правду…»[148]

12

«Итак, догадка Ласкина о причастности Александра Трубецкого и императрицы к интриге с анонимным пасквилем

зиждется на ошибочных посылках». – Императрица тут, разумеется, была ни при чем. Это было ясно сразу. Но почему Трубецкой выводился из рассмотрения?.. – Меж тем на Ласкина и на его прочтение письма Вяземского обрушились со всей мощью ученого высокомерия: «На страницах „Литературной газеты“ Э. Г. Герштейн дала очень точную оценку всем этим построениям и гипотезам. Она убедительно показала, что комментарии С. Б. Ласкина к письмам Вяземского сделаны непрофессионально, „без знания эпохи и предмета“. Поэтому предпринятая им публикация интересных эпистолярных материалов ничего не прояснила, но привела лишь к „несусветной путанице“ и искажению общеизвестных фактов»[149].

Таков был вывод крупного специалиста Стеллы Абрамович – вослед Эмме Герштейн. Применены были все расхожие тогда способы ведения полемики. Будучи с чем-то не согласен, автор тут же употребляет обороты типа: «досужие домыслы», «искажение общеизвестных фактов» и просто смахивает со стола главный аргумент противной стороны. Фактически отказываясь от рассмотрения его. Это мы проходили, это уже было. Впрочем, и сегодня вполне можно столкнуться с чем-то подобным.

Между прочим, московская исследовательница тоже знала этот документ: письмо Вяземского от 16 февраля. Да многие знали еще раньше. С конца XIX века. Но… «Оказалось, после 1958 года никто, кроме Э. Герштейн, этих бумаг не требовал. Моя фамилия стояла второй»[150], – рассказывал Ласкин о том, как брал письма «К Незабудке» в Архиве древних актов. Просто Герштейн не сочла письмо значимым. И, возможно поэтому, возвращать его к жизни было «непрофессионально».

О многом в своей жизни в своих поступках – особенно в «Пушкинском деле», князь Вяземский мог бы сказать: «Моя прозорливость уличена в бессилии».

Но все-таки… Он, конечно, обвиняет убийцу Пушкина – но, прежде всего, выдвигает вину *другого человека*. Притом человека, близкого душе той, к кому обращено письмо, – женщины, сердце которой он сам стремится завоевать. И открыто клеветать на соперника… он не стал бы: в его этических понятиях такое не принято.

Что можно было не увидеть в этом письме? Что речь идет именно об Александре Трубецком? Так это просто на виду! Разве только если отворачиваться специально…

И в письме сказано о нем не просто как о человеке, после смерти Пушкина оказавшемся в стане его врагов. Таких было много – кому как не Вяземскому было это известно. Но его выделили из всех, кто *в «этом происшествии покрыл себя стыдом»*

и проч. Из *«всего Красного моря»*.

Про него сказано, что *на нем кровь Пушкина*. Откуда? Кто убил Пушкина непосредственно – знали все. Потому, несомненно, речь шла о единственном событии, с которого начался отсчет времени катастрофы: *анонимные письма*. В конкретной ситуации пушкинской дуэли это могло значить только одно: «адские козни». Пасквиль. *Автор пасквиля…*

«Вяземский говорит о пушкинской крови. Поразительно настойчивое требование Вяземского верить ему, хотя он отчего-то не может, не имеет права раскрыть тайну»[151]. – Это очень точно формулировал Ласкин.

Добавим… Вяземский, сколько нам известно, написал это только в одном письме. К одному человеку – который был ему дорог и которому, по тем или иным причинам, был дорог тот, о ком шла речь в письме.

Мы должны помнить, что друзья Пушкина, как бы они ни относились к нему и как бы ни страдали по нему были все-таки сами людьми того самого «света». И, несмотря на все разочарования – хотели в этом свете остаться. Потому открыто, на публику, обвинять каких-то светских людей в преступлении – решиться не всегда могли и чаще пробавлялись эвфемизмами.

Главное, чего никак не могли понять… это могла быть никакая не особая вражда к Пушкину. Просто идиотская выходка. Молодых бездельников. (Подозревали же, после смерти Пушкина, в авторстве – князя П. Долгорукого, «Банкаля», и князя И. Гагарина?..) Чья-то злая шутка. Как, несколькими годами ранее, гроб, сброшенный на воду в разгар чьего-то праздненства на Неве. В чем участвовал, кстати, будущий победитель Шамиля: будущий фельдмаршал Барятинский. И с ним – князь Сергей, родной брат Александра Трубецкого. За что был выслан из Петербурга в отдаленный полк. Может, не только за это?.. (Но с этих подвигов начались его злоключения, и в итоге все плохо кончится для него.) А на гробе была надпись: «**Борх**». Имя, которым подписан пасквиль: тот же почерк – на что еще и еще раз обращаем внимание. Вообще… Такие времена, такие шутки. «Некоторые из коноводов нашего общества, в которых нет ничего русского, которые и не читали Пушкина…» могли послать такую гадость ему. Чем взорвали нечаянно и без того мрачную – семейную ситуацию поэта.

Но эту вторую возможность сторонники строгой академической школы никак не хотели признать. Да и Ласкин в своих построениях привычно пытался, как и его оппоненты, пытаясь связать, появление пасквиля – если уж не только с Геккернами, то с проклятым царским режимом. И если не мог

задеть монарха – то хотя бы монархиню…

Конечно, императрица тут была неповинна! – и Ласкин зря ее приплел, на что ему и правильно указали. Тут была прямая ошибка, от которой он при публикации в книге «Вокруг дуэли» своей работы о «тайне красного человека» – достаточно скоро отказался. (Лучше б отказался сразу еще и от нелепой мысли о «подмене» Натальи Николаевны Идалией Полетикой. А то его имя все время ассоциируется с этой ложной гипотезой.) В отношении монархини у него проявлялась (повторим) чисто советская нелюбовь к царской власти. Хотя в книге Абрамович этой нелюбви тоже предостаточно. Как и в большинстве публикаций той поры. Ну да… императрица любила танцы несколько больше, чем русскую литературу. Но она была немка, пруссачка. Дай Бог нам самим любить свою культуру так, чтобы у нас не убивали поэтов! Она была – мы говорили уже – не слишком счастливая женщина. Муж ей изменял на каждом шагу. Она мечтала остаться ему хотя бы другом. Ее жалкая интрига, наверняка чисто платонического характера, с Александром Трубецким, по кличке Бархат – проходила строго под присмотром. Она писала, что взяла себе в покровители Бенкендорфа. Представляете себе? Какая уж тут интрига? Под надзором начальника тайной полиции!

Но что кружок кавалергардских выскочек, «ультрафешенеблей», окружавших ее, мог выкинуть такую штуку – в это поверить можно. Притом без насилия над собой. Сам Трубецкой, мы помним, признавался – что это шло от них. Ну назвал не тех – какая разница? Себя не назвал. Почему ж мы ему не хотим поверить?.. А другие были уж, наверное, мертвы… Может, он вообще в своих откровениях Бильбасову – каялся! А мы не заметили. Потому и наговорил в самооправдание кучу гадостей про Пушкина, его роман с другой сестрой Натали – Александриной. Наговорил по принципу, мол, – а сам-то хорош! Но он и Дантеса не пощадил в своих так называемых воспоминаниях.

Дуэль С. Л. Абрамович с Ласкиным и его «документальной повестью» «Тайна красного человека» в начале осени 1982 года – а то была форменная дуэль в прямом смысле слова, со своими секундантами и своими болельщиками (в основном, на стороне Абрамович) – была поединком строгой научной школы, верной привычному руслу давно сформулированных концепций и избегающей по возможности вторжений новых течений, порой раздражающейся даже от самой возможности их появления, ибо «все давно известно», – с догадками свежего человека, пусть иногда спешащего с выводами, но сумевшего взглянуть на факты

незамутненным взором. Вдобавок, мы говорили уже – это был писательский текст: со всем пристрастием, с неизбежной беллетристикой, – что тоже могло оттолкнуть сторонников научной эпики.

Одна деталь, на которую следует обратить внимание. Если кого-нибудь другого могло не быть причин именно *в таком виде* настрочить пасквиль, – у Александра Трубецкого их было целых две. И обе они были с Пушкиным вообще не связаны.

Во-первых, самодержец всероссийский, который «мешал» Трубецкому, – Николай I. Не слишком мешал – и не так уж нравилась, верно, двадцатитрехлетнему кавалергарду (по слухам, красавцу) сорокалетняя жена царя. Но императрица явно благоволила к нему – как женщина и взорами выделяла его из всех прочих, и это ему льстило. Да и, когда катаются на санках с горы – и мужчина так подхватывает даму, держа за талию, чтобы не упала, и она тем самым падает в его объятия, а она еще ко всему – императрица, – что только ни прихлынет и к самому стылому сердцу? Но у дамы мужем «царь – стороны той государь». Повелитель Руси. Вот сам вроде не любит ее – и прочим юбкам нет проходу… а все одно – к жене не подпускает. И граф Бенкендорф тут как тут, «сторож у крыльца» – нельзя даже остаться наедине.

Во-вторых… тайная нелюбовь к Дантесу. Это потом, когда все случится с Пушкиным, Трубецкой будет заступаться за Дантеса, клясться в дружбе… участвовать в чудовищной демонстрации симпатий – «дело чести полка». А пока-то он недолюбливает его – и есть за что. Мать княжны Барятинской намекнула – ему, Трубецкому, что его собственная мать – не слишком родовита, чтобы он мог рассчитывать на брак с княжной. (Думаю, играла роль не родовитость, как таковая, а поведение княгини Трубецкой в свете – которое, судя по письмам того же Вяземского, было притчей во языцех.) А Дантесу Барятинская-мать выразила, в общем-то, благоволение. – Этому безродному – без году неделя в России, неизвестно по каким причинам (только слухи ходят) усыновленному посланником Нидерландов! И это ж он, Трубецкой, первым узнал, что Наталья Николаевна Пушкина отказала Дантесу! Не знаем, как и в чем – может, и Трубецкой не знал, – но отказала. Наверное, просто не решилась – утратить положение в свете, расстаться с мужем… И тогда он, на радостях, познакомил с сей новостью княгиню Барятинскую – мать Марии. Хотя не думаем, что Дантес, как ни относись к нему, поделился с ним, не надеясь на его скромность. Надеялся, а тот его предал – в обычном смысле слова. Вот – строки из воспоминаний о Дантесе – уже на склоне лет князя: «Он относился к дамам, вообще, как

иностранец, смелее, развязнее, чем мы русские… требовательнее, если хотите, наглее…»

Не чувствуется ль в этом отзыве остатков прежней ревности? Обиды?.. Нет ли хотя бы следа истории с княжной Барятинской и ее мамашей?..

И почему б не щелкнуть по носу в анонимном письме – сразу двоих: императора, которого просто так не достанешь, и Дантеса – который вроде и педераст, но пользуется абсолютным успехом у женщин и почему-то в фаворе – даже у княгини Барятинской?

Между прочим, единственный случай – когда царя можно щелкнуть, при этом вполне безопасно. Если даже письмо, посланное какому-то Пушкину, дойдет до властей – какая власть решится в открытую признать, что про «магистра Нарышкина» это – намек «по царской линии»?..

А что пасквиль послали Пушкину… «Как иностранец, он был пообразованнее нас, пажей…» – скажет Трубецкой про Дантеса в своих «воспоминаниях». Ну, если уж Дантес был «пообразованней» Трубецкого – то можно представить себе образование последнего. Пушкин для него значил немногим больше, чем для иностранца-Дантеса, а верней сказать, ничего не значил. Это много поздней, когда он прожил почти свой век – и был свидетелем того, как слава этого несчастного, павшего на дуэли, упрочивалась, – а они все, молодые, наглые, заметные, вместе с царями, высшими и такими успешными чинами, светскими львицами и львами, чья красота, как и внимание к ним мира, казалось, не померкнет никогда, но увяла, и они все исправно сходили «под вечны своды» один за другим в тень забвения – он, может, что-то понял, в чем-то попытался оправдаться.

Трубецкой и его роль – в работе Семена Ласкина «Тайна красного человека» были подлинным открытием, вне зависимости от прочих ошибок и преувеличений автора. Но на это открытие попросту не обратили внимания…

Из всех измерений, какие существовали для нас до сих пор в истории гибели Пушкина в небрежении, кажется, осталось только одно: *молодая наглость*. «Смелее, развязнее, наглее» – казался Дантес даже таким наглецам, как сам Трубецкой. Что делать?.. «Слабел Пушкин – слабела вместе с ним и культура его поры…»[152] Поколение Пушкина сходило с кона. Ощущало на себе – то самое «отсутствие воздуха». Это было не творческое угасание – не дай Бог! Творчество как раз шло на подъем, – но меркло ощущение своей надобности в мире. Как это происходит сейчас со многими – на наших глазах и с нами самими… Возникало чувство смены эпохи. Нравственных ценностей ее. Критериев общества. Дантес выходил победителем – не потому, что был красивей или моложе – хотя и потому тоже, увы! – но потому, что общество сменило шкалу ценностей. И по этой шкале фатоватая красивость, наглость, казарменные каламбуры, легковесное обаяние – значили больше в мире, чем Гений и Поэзия.

Мы должны признать, что эта смена эпох началась после крушения 14 декабря…

Письмо Вяземского пишется 16-го и, верно, утром 17 февраля 1837-го…

И 17 февраля Александр Карамзин сообщает родным: «На смерть Пушкина я читал два рукописных стихотворения: одно

какого-то лицейского воспитанника, весьма порядочное; другое гусара Лермонтева <так! >, по-моему, прекрасное, кроме окончания, которое, кажется, и не его»[153].

Глава вторая

1

«Пушкин и его жена попали в гнусную западню, их погубили. *На этом красном, к которому, надеюсь, Вы охладели, столько же черных пятен, сколько и крови.* Когда-нибудь я расскажу Вам подробно всю эту мерзость»[154].

…Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи,
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – все молчи!..
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет,[155]
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Похоже, Вяземский только что, перед тем как писать письмо, – прочел стихи Лермонтова!

«Февраль 20. У Лермонтова и Раевского С. А. сделан обыск („Дело о непозволительных стихах“)»[156].

Дуэль Пушкина, ее причины, к следствиям которых мы не можем привыкнуть уже столько лет – можно было размыслить уже давно, – что произошло, кто играл какую роль, – и даже без писем Дантеса к Геккерну. Да и без ряда других источников. Но мы хотели правды во что бы то ни стало и, одновременно, оставаться в неведении, стремясь не называть вещи своими именами. Нам казалось, нам станет легче, если мы, вопреки всем очевидностям, все ж «позволим себе усомниться» в чувствах Натальи Николаевны к Дантесу. Непосредственно после гибели Пушкина поэт Хомяков писал Языкову: «Одно тебе интересно будет знать – это итог: Пушкина убили непростительная ветреность его жены (кажется, только ветреность) и гадость общества петербургского». – Так вот просто. Без всяких Геккернов! Автор добавляет еще: «Сам Пушкин не оказал твердости в характере (но этого от него и ожидать было нельзя),

ни тонкости, свойственной его чудному уму. Страсть никогда умна быть не может. Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали дружбою почти благоговейной, а пристал к людям, которые его приняли из милости…»[157] Не правда ли, это совсем напоминает лермонтовское – из первой части оды?..

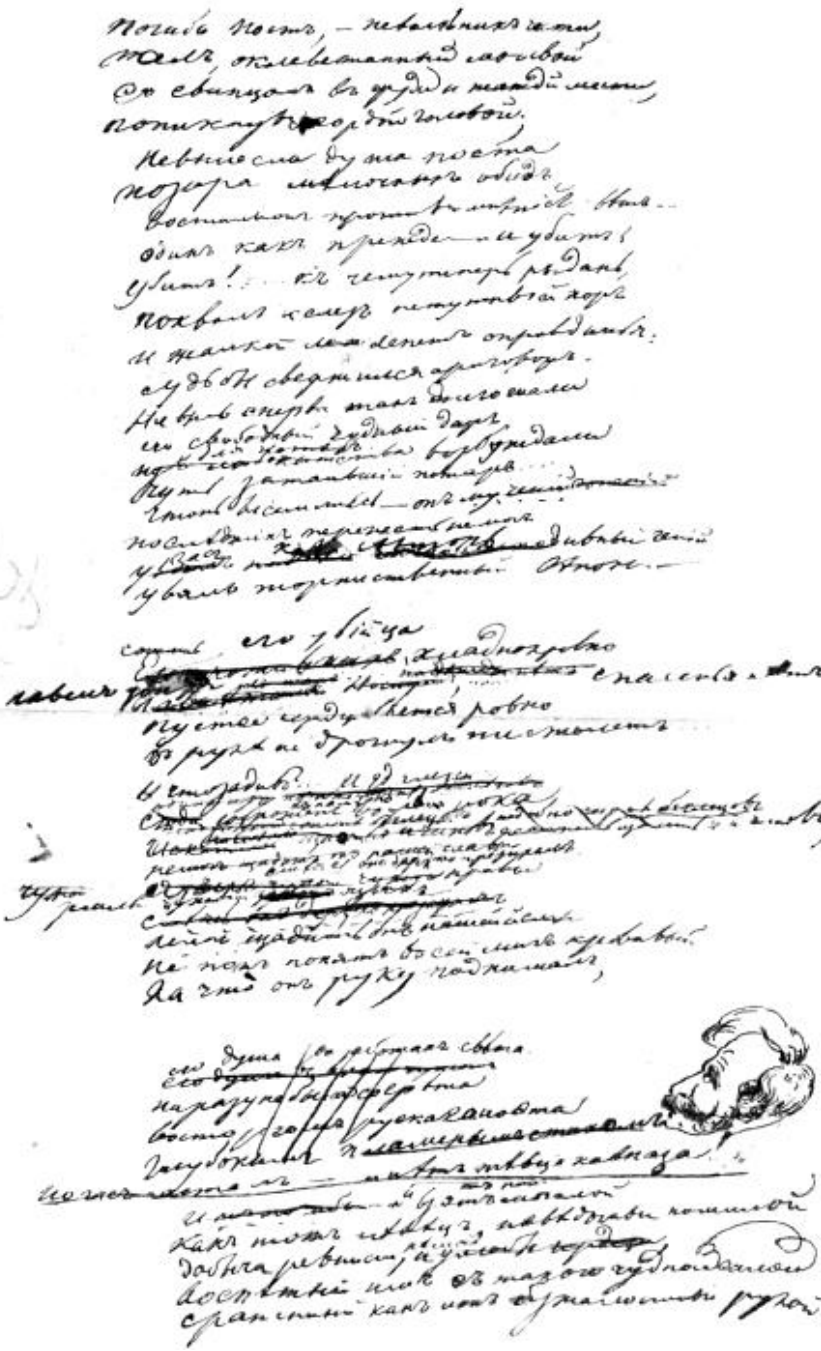
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?

Мы знали, что друзья Пушкина говорят неправду – или не договаривают, – притом все одинаково – осознанно или по общему сговору – или по той и по другой причине, – но мы ловили их на мелочах вроде того – сказал ли Пушкин на смертном одре о своей верности монарху или не сказал, что, в сущности, не имело значения вовсе, – и упорно не хотели признавать, что имеем дело с *мифом* пушкинской гибели, распространенным его близкими, не в последнюю очередь в видах комфорта собственного дальнейшего пребывания в этом «душном свете». И что мы вместе с ними творим этот миф, пытаясь снабдить его все новыми и новыми подробностями и доказательствами…

В истории таких мифов немало. Однако у друзей Пушкина для создания такого мифа было множество причин, – среди прочих, забота об оставшейся семье Пушкина. У нас же нет ни одной – стоящей. Или, повторяю в который раз – нам вообще не надо было этим всем заниматься.

Письмо Вяземского к Незабудке, графине Мусиной-Пушкиной, с фактическим указанием автора пасквиля написано 16 февраля.

А между 17 и 21 февраля «Лермонтов арестован и помещен в одной из комнат верхнего этажа Главного штаба»[158].



2

Эта дуэльная история много короче первой. Хотя оставила по себе почти такую же тоску смертную – и множество загадок.

Чисто хронологически нам неизвестно, когда арестован Лермонтов и когда, после домашнего ареста и допроса на дому, он переведен на гауптвахту в помещении Главного штаба. Разброс дат между 17 и 21 февраля. Но что взорвался он со своим «Прибавлением» именно в те дни, когда и Вяземский с письмом к Незабудке, – это точно. Когда у Вяземского и прочих пушкинских друзей в восприятии произошел тот самый «сдвиг». Где-то в районе 10–11 февраля… Так, может, они и узнавали одни и те же вещи? Лермонтов и Вяземский? Последний здесь и потерял на момент свой умеренный тон: больше нигде и никому он так не писал, а, где мог, обходился светскими эвфемизмами.

И, судя по письму, Вяземский читал уже «Прибавление» Лермонтова.

Есть вещи, к которым мы привыкаем – и уже не подвергаем их сомнению. История «Прибавления»: причины его появления на свет и всего, что с ним связано, – первый «не продырявленный документ» лермонтовского пути к гибели. Как вся интрига первой лермонтовской ссылки на Кавказ.

Считается, что Лермонтов болел, находился дома, у него регулярно бывал доктор Арендт, лечивший почти весь петербургский свет. Он же регулярно бывал у одра умиравшего Пушкина. Лермонтов мог получать от него из первых рук все вести, знать детали происходящего… Так родилось «стихотворение 1» – собственно «Смерть Поэта». Думать, как некоторые, что Лермонтов написал его чуть ли не раньше, чем умер Пушкин, – значит плохо понимать Лермонтова: он был человек религиозный – и не мог бы писать: «судьбы свершился приговор», когда приговор еще только свершался… Безусловно, эти вести, эти переживания – два дня подряд, а потом – мучения от сознания происшедшего и мрачный призрак вообще поэтической судьбы, взлетевший так внезапно перед молодым

поэтом, как всадник апокалипсиса, – сделали свое: настроили поэтический инструмент.

А дальше, рождение «стихотворения 2» – того самого «Прибавления» – связывают с известным фактом: с приходом через несколько дней в дом все еще больного Лермонтова его молодого родственника Н. А. Столыпина, и спором, который вышел у них: Столыпин был близок к светским кругам – он пытался защищать убийцу Пушкина с точки зрения этих кругов, и особенно дам, ставших на сторону Дантеса. При сем присутствовало довольно много людей.

Заметьте, как складно и уныло все рисуется в объяснениях и мемуарах по поводу «Прибавления». И как все одинаково.

«Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни – приверженцы нашего лучшего поэта – рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называя его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому, что был ревнив, дурен собою…»[159]

Оборот «особенно дамы» должен вызвать у нас и особенное внимание: ну не к дамам же обращено: «А вы, надменные потомки…» и «но есть и Божий суд…» – это не про них. – С дамами или о дамах не принято было так разговаривать!

Заметьте еще, как прорывается в столь официальной бумаге чисто личная нота: «не имел права требовать любви… ревнив, дурен собой…» Эта нота будет звучать в самом Лермонтове до конца его дней, возможно, определит его личную судьбу: страх перед любовью и неверие в любовь. Это тоже будет в его судьбе – продолжение истории Пушкина.

Интересно, что Лермонтов в своем объяснении не делит стихотворение на части. Он оправдывается за него *целиком*. Он только добавляет какие-то детали к описанию своих настроений. Он вообще не называет кузена Столыпина и ни о каком споре с ним не говорит. И уж совсем не поминает, что знал по слухам о спокойном, по крайней мере, а то и благожелательном приеме в верхах первой части стихотворения. Что, наверное, побудило его достаточно безбоязненно или легкомысленно отнестись к написанию, и уж точно – к распространению второй.

Дальше он говорит об «утешительном для сердца русского известии», что «государь император, несмотря на его прежние

заблуждения (Пушкина, а не государя императора. – *Б. Г.*) подал великодушную руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением (как меня уверяли) высшего круга общества увеличила первого в моем воображении и очернила еще более несправедливость последнего»[160].

Надо сказать, для начинающего инакомыслящего – ход прекрасный – противопоставить государя его придворным – ставши, естественно, на сторону государя. Лермонтов, оказывается, «был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, Богом данного защитника всем угнетенным».

«Но, тем не менее, я слышал, что некоторые люди, единственно по родственным связям или вследствие искательства принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников…» (Интересный пассаж: «Я слышал…» – будто сам он новичок в свете, недавно приехал откуда-то.) Так он подбирается к «надменным потомкам» с «известной подлостью прославленных отцов». «Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей…»[161]

Меж тем Святослав Раевский, друг Лермонтова и главный распространитель стихов – о «переходе» от первой части стихотворения ко второй – на следствии показывал так:

«К Лермонтову приехал брат его камер-юнкер Столыпин. Он отзывался о Пушкине невыгодно, говорил, что он себя неприлично вел среди людей большого света, что Дантес обязан был поступить так, как поступил. Лермонтов по врожденной пылкости повел разговор горячо. Он и половина гостей доказывали, между прочим, что даже иностранцы должны щадить людей, замечательных в государстве, что Пушкина, несмотря на его дерзости, щадили два государя и даже осыпали милостями, и что затем об его строптивости мы не должны уже судить».

Значит, была еще другая половина гостей, которая мыслила иначе, а в подробности, что говорили эти гости, осталось неизвестным. Только понятно, что людей в комнате было много.

«Разговор шел жарче, молодой камер-юнкер Столыпин сообщал мнения, рождавшие новые споры, и в особенности настаивал, что иностранцам нет дела до поэзии Пушкина, что дипломаты свободны от влияния законов, что Дантес и Геккерн, будучи знатные иностранцы, не подлежат ни законам, ни суду русскому. Разговор принял было юридическое направление, но Лермонтов прервал его словами, которые после почти вполне поместил в стихах: „Если над ними нет закона и суда земного, если они палачи Гения, так есть Божий суд“»[162].

Почти то же самое дошло до нас в воспоминании другого кузена Лермонтова – Юрьева – правда, лишь в пересказе Бурнашева. Но Бурнашев – странный мемуарист: его свидетельства – сплошь сплетни и пересказы, но какие-то достоверные. Они странно оказываются соответствующими другим свидетельствам. Так рассказ Юрьева о событии в его передаче почти полностью совпадает с показаниями Раевского на следствии. Юрьев, кстати, говорит о другом участнике спора – Столыпине: «Н. А. С. – дипломат, служащий под началом Нессельроде, один из представителей самого что ни есть высшего круга. Но, впрочем, джентльмен во всем значении этого слова»[163].

«Лермонтов сказал на это, что русский человек, конечно, чисто русский, а не офранцуженный и испорченный, какую бы обиду Пушкин ему ни сделал, снес бы ее, во имя любви своей к славе России, и никогда не поднял бы на этого великого представителя всей интеллектуальности России своей руки», – это уже Бурнашев со слов Юрьева.[164]

Спор, кажется, обрывался на ноте: «Да он дошел до бешенства, его надо связать!» – сказал кузен про Лермонтова, и тот чуть ли не выгнал его из дому. Пояснить требуется, что Н. А. Столыпин – родной брат Алексея Столыпина-Монго, ближайшего друга Лермонтова, и столь бурная ссора с ним была для Лермонтова не так проста. Неслучайно Лермонтов в своих показаниях и не торопится его называть. Это сделает Раевский. Висковатов, считавший себя по праву первым биографом Лермонтова, хоть были и другие до него, утверждал, что «в негодовании на всех защитников Дантеса и противников Пушкина Лермонтов особенно язвил Столыпина, прадед которого происходил далеко не от знатных предков и обогатился на винных откупах, следовательно, не совсем безупречными средствами, хотя и пользовался репутациею высоко честного человека» – и что «пылкий поэт живо вспомнил принижение отца его родом Столыпиных»[165]. – Вероятно, здесь ошибка. Несмотря на все ссоры отца Лермонтова с бабушкой и со всем семейством бабушки (Столыпиными) и на то, что Лермонтов с ранних пор в этих размолвках и ссорах брал сторону отца, он никогда не отрекался от Столыпиных как своей родни… И речь в стихах, конечно, не о них. Хоть один из них, возможно, в споре и задел его самого.

Основное сомнение, какое разрушает давно выстроенную ситуацию рождения знаменитого «Прибавления» – состоит в том, что в самих стихах трудно найти следы спора, их вызвавшего. И напротив, спор, каким он известен нам – весь он, по составу своих

pro et contra, тяготеет целиком к содержанию только *первой части стихотворения*. Оба свидетельства – и Раевского, и Юрьева – подтверждают это. «Разговор прекратился, а вечером, возвратясь из гостей, я нашел у Лермонтова и известное прибавление…» (Раевский). Но стихи Лермонтова никак не «приняли юридического направления» – там нет ни слова ни об убийце Пушкина, ни о том, как должны себя вести иностранцы в России.

Речь идет только о русских и о позиции чьей-то конкретной. И, похоже, целиком – *мужской* позиции:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!..

Еще стоит обратить внимание: все первое четверостишие нарочито пушкинское. И даже рифма его: «потомки – обломки»…

…У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.
Родов дряхлеющих обломок
(И по несчастью, не один),
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.

На эту связь с пушкинской «Моей родословной» уже обращалось внимание.[166] Но следует отметить: для поэта так вот процитировать рифму – значит процитировать смысл.

Сам Пушкин писал Бенкендорфу об этих стихах (которые, при жизни его, естественно, не печатались): «…несколько списков моего ответа пошло по рукам, о чем я не жалею, так как не отказываюсь ни от одного его слова. Признаюсь, что я дорожу тем, что называется предрассудками…»[167] и т. д.

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов…

Это было одно из двух-трех стихотворений, которые

Пушкину, пожалуй, распространять не стоило (еще – «На выздоровление Лукулла»). Если он собирался и далее быть привязан к «скользкому месту»: к петербургскому свету. Те, чьи предки «торговали блинами» и «ваксили царские сапоги», играли здесь очень важную роль, и стихотворение тотчас включило в действие механизм внутривидовой борьбы. – Светской злобы и светской сплетни. Ощетинилось терниями пространство вокруг Пушкина и его семьи. А с этой стороны Пушкин оказался, увы, более чем уязвим… То же самое потом будет после с Лермонтовым: ощетинится пространство. Интересно, что, не являясь потомком столь древних и заслуженных родов России, Лермонтов предпринимает защиту Пушкина с его, пушкинской стороны. Тот же Бурнашев в заметках «Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников» приводит неведомо откуда взятое им замечание великого князя Михаила Павловича – якобы о «Прибавлении»: «Эх, как же он расходился? Кто подумает, что он сам не принадлежит к высшим дворянским родам?»[168] Кто бы это ни сказал – замечание характеризует какой-то действительный отклик на стихи. Неважно чей.

Такой взрыв, как «Прибавление», наверняка имел под собой и достаточно твердую почву для спора. И касался людей, позицию которых надо было не просто поколебать – но разбить.

Но есть еще одна подробность: сам оборот: «А вы…» – совершенно определенно указывает, что прежде речь шла об одних вещах (и людях), а теперь пойдет о других.

О свете и светской позиции по отношению к Пушкину было уже все сказано в первой части стихотворения. И не только об убийце – как считал тот же Ласкин. Но обо всем «мнении света».

> Не вы ль сперва так злобно гнали
> Его свободный смелый дар…

Это ж не Дантес гнал и не Геккерен!

Почему нам не считать, что именно в эти дни – или именно в этом разговоре (повторим: народу было много, не один Столыпин) – всплыли подробности, неизвестные ранее?

Возможно, и Лермонтов, и Раевский что-то скрыли на следствии? Хотели не говорить?

«Андрей Иванович! Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал записку министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже…»[169]

Возможно, записка, которую Раевский пытался переправить Лермонтову, находившемуся под арестом, о том, какой линии

держаться на следствии, перехваченная и поставленная в вину Раевскому, – касалась именно того, о чем они оба сперва решили умолчать?.. Считая, что это опасно?..

Что они скрывали?..

Чего они не знали наверняка и о чем могли бояться говорить – это об отношении властей к пасквилю, посланному Пушкину, – и в какой мере запретна эта тема. Отрицал же такой исследователь, как С. Л. Абрамович, сам факт «намека по царской линии» только на основании того, что иначе Вяземский не решился бы приводить текст пасквиля в письме к великому князю Михаилу Павловичу? А Вяземский, скорей всего, и послал пасквиль великому князю только затем, чтоб связать в глазах властей врагов Пушкина с врагами «по царской линии». Вот что интересно!

«Ходила молва, что Пушкин пал жертвою тайной интриги, по личной вражде умышленно возбудившей его ревность; деятелями же были люди высшего слоя общества» (А. Н. Муравьев).[170]

«Он и половина гостей доказывали…» Не могло не быть, в частности, разговора об «анонимных письмах» и об их авторстве. В то время всякий разговор о Пушкине упирался в эту тему.

Не забудем еще, что Лермонтов был человек военный. И почти наверняка часть гостей была гвардейские офицеры. И что такой общий спор о Пушкине и о поведении по отношению к Пушкину не мог обойтись без разговора о позиции Кавалергардского полка – «Красного моря». Большинства офицеров полка…

Кавалергард Мартынов, в принципе, мог потом сказать в оправдание свое:

«В 37-м все кавалергарды были за Дантеса!»

3

Еще более серьезное впечатление недосказанности вызывает сам ход следствия по «Делу о непозволительных стихах….»

Представление Бенкендорфа: «Я уже имел честь сообщить вашему императорскому величеству, что я послал стихотворение гусарского офицера Лермантова генералу Веймарну, дабы он допросил этого молодого человека и содержал его при Главном штабе без права сноситься с кем-либо извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи, и о взятии его бумаг, как здесь, так и на квартире его в Царском Селе. Вступление к этому сочинению дерзко, а конец – бесстыдное вольнодумство более чем преступное. По словам Лермантова эти стихи распространяются в городе одним из его товарищей, которого он

не хотел назвать».

Резолюция Николая I: «Приятные стихи, нечего сказать; я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону»[171].

Ощущение, что назревает новое дело декабристов. Или, во всяком случае, Надеждина с Чаадаевым. Чаадаева, как все помнят, за год до того объявили сумасшедшим, а издателя журнала выслали в Усть-Сысольск. Обвиняемый Лермонтов в данном случае еще и военный – офицер гвардии, что только усугубляет вину. – В постдекабристское время (что еще не забыто, между прочим!).

И вдруг все рассасывается. И главное, никто до сих пор не понял – как это произошло так легко. И никто не удивляется – вот что странно! А «Дело о непозволительных стихах», такое грозное поначалу – пахло не менее чем разжалованием – и в самый дальний гарнизон, – вдруг разрешилось в три дня самым благостным образом. Переводом в хороший полк: Нижегородский драгунский, тем же чином. «Вольнодумца более чем преступного» даже отпускают домой проститься. Его товарища, который распространял стихи – и которого он в итоге вынужден был назвать, – карают даже больше, чем его. Но тоже не слишком: высылкой в Олонецкую губернию (ненадолго) на службу к тамошнему начальству. Что это? А что это вообще могло быть, кроме того что в ходе суда и следствия всплыло нечто, в корне менявшее всю ситуацию?

Обычно всё сваливают на хлопоты лермонтовской бабушки. Бабушка, в самом деле, была, и хлопоты действительно были. Но… Не слишком ли мы преувеличиваем всегда роль бабушки этого внука – сами возможности Елизаветы Алексеевны?.. Не слишком ли история, которую мы пишем, напрягает бабушку? Она и в самом деле была лично знакома с Бенкендорфом и с Дубельтом. (Что не помешало Бенкендорфу – спустя всего два года, во время дуэльной коллизии с де Барантом, быть главным гонителем ее внука.) Имела весьма влиятельных родственников. Но у деятелей декабря 25-го тоже были бабушки и матери и не менее могущественные родственники, однако… Стихи Лермонтова могут быть истолкованы – и были истолкованы в первый момент – как жесткий выпад политический. А дальше… Что произошло – буквально за три дня?.. Что еще сказал на суде Лермонтов?.. Или кто-нибудь другой? Что они с Раевским

пытались скрыть или о чем сперва хотели не говорить, а потом сказали?.. Не слишком удивляйтесь, что ответов не оказывается в Следственном деле: вопрос больно тонкий! В работе о Грибоедове я специально останавливался на повелении Николая I от 29 мая 1826 года: «Из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи». – Речь о следствии по делу декабристов. Они и были вынуты и почти все сожжены или, отдельные, густо зачеркнуты. «Это письмо не было, как и еще два неизвестных нам документа, представлено Следственной комиссии и осело в секретных архивах»[172] – гласит комментарий к одному из важнейших документов пушкинской дуэльной истории – письму Геккерна к Дантесу по поводу пасквиля. После всего происшедшего оно было передано Геккерном Нессельроде – в целях самооправдания. (Неужели и Николай I рассчитывал на историю – или боялся ее? Тираны редко о ней думают. – Даже сравнительно мягкие тираны.)

Могут быть только догадки. Но догадки *весомые*. Сама необходимость таких догадок – очевидна. Как очевидно существование скрытых причин или пружин.

Исключенными из дела могли оказаться признания Лермонтова – о ком конкретно написаны последние 16 строк. Если б Лермонтов сказал, что метил в авторов пасквиля, – такое объяснение не входило уже в противоречие с существующим порядком вещей, – а неожиданно могло угодить в тон. Стать *угодным* нечаянно. Это была бы точка, в которой взгляды вольнодумца-гусара и монарха, а с ним и Бенкендорфа – могли неожиданно совпасть. (Может, и совпали.) Они сами искали авторов этой гадости. Искали и хотели наказать – это точно. (Ну, может, не слишком усердно – но Бенкендорф вообще был ленив.) Прицепились к какому-то почтовому чиновнику-французу. По фамилии Тибо. А потом оказалось, их два Тибо – братья, и они тут ни при чем. Один из них точно потом продолжал работать на почте. Искали не из-за Пушкина, конечно, из-за него в последнюю очередь, – но по причине «намека по царской линии», который – что делать? – существовал в пасквиле! Кажется, в итоге виновников нашли – или вычислили, если даже на уровне только подозрений, – но почти нет сомнений: именно об этом свидетельствуют некоторые судьбы фигурантов данной истории. Мы еще скажем об этом.

Оставил ли кто-нибудь нам хоть одну зацепку на эту тему?.. Оставил. Свидетельство принадлежит князю А. И. Васильчикову – секунданту в последней дуэли Лермонтова, который считался секундантом Мартынова. Хотя, судя по всему, до неожиданного рокового выстрела в лермонтовской дуэли это все считалось

товарищеской стычкой, и секунданты, как бы, были общие: похоже, они вообще только перед судом разделились – и назвали себя секундантами с разных сторон. В этом, в частности, одна из тайн лермонтовской гибели.

Наши исследователи долго третировали Васильчикова. Относились к нему с подозрением. Кажется, среди прочего, оттого, что о нем как экономисте или вообще – либеральном деятеле много поздней презрительно отозвался Ленин. – В свое время и это могло иметь значение! (Но мы не знаем, что сказал бы Ленин о Лермонтове, если б Лермонтова не убил на дуэли Мартынов в 1841 году.) Васильчикову не доверяли – а зря. Он не был врагом Лермонтова – это видно по его запискам. Он пытается быть объективным – ну связан был порукой секундантов в дуэли, не более. Они все тогда о чем-то договорились. Но… Может, он не был другом – но не был врагом. И он дважды в воспоминаниях – один раз сказал в открытую, другой – попытался сказать и зачеркнул (это тоже симптоматично) – нечто такое, о чем упорно молчали другие.

Вот мнение Васильчикова: «Лермонтов был представитель направления, противного тогдашнему поколению светской молодежи… он отделился от него при самом своем появлении на поприще будущей славы известными стихами „А вы, надменные потомки…“ – и, утверждает далее мемуарист: – *…с того дня он* (Лермонтов. – *Б. Г.*) *стал в некоторые, если не неприязненные, то холодные отношения к товарищам Дантеса, убийцы Пушкина… и даже в том полку, где он служил, его любили немногие*»[173]. В другом мемуарном отрывке тот же автор развивает эту тему нелюбви к Лермонтову в его кругу: «Но, живя этой жизнью, к коей все мы, юноши 30-х годов, были обречены, вращаясь в среде великосветского общества, придавленного и кассированного после катастрофы 14 декабря, он глубоко и горько сознавал его ничтожество и выражал это чувство не только в стихах „печально я гляжу на наше поколенье“, но и в ежедневных, светских и товарищеских своих сношениях. От этого он был вообще нелюбим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах…» В комментарии находим продолжение фразы (зачеркнутое): «…*в Кавалергардском* полку, офицеры которого сочли своим долгом (par esprit de corps) при дуэли Пушкина с Дантесом сторону иностранного выходца противу русского поэта, ему не прощали его смелой оды по смерти Пушкина…»[174]

Не начался ли тогда, в 1837-м, с так называемого «Прибавления» к оде «Смерть поэта» – отсчет уже лермонтовской «преддуэльной истории»?

Тот же Бурнашев в своих записках муссирует слухи,

ходившие в обществе. И некоторым из них следует уделить внимание – хоть это только слухи.

Мы уже приводили фразу великого князя Михаила Павловича. Бенкендорф якобы сказал Дубельту: «Самое лучшее на подобные легкомысленные выходки не обращать никакого внимания: тогда слава их скоро померкнет, ежели мы примемся за преследование и запрещение их, то хорошего ничего не выйдет…»[175]

Не будем увлекаться, нечто похоже – если и было сказано – то могло относиться лишь к первой части «Смерти поэта». Но слухи самим своим существованием говорят за себя. Они не возникают на пустом месте. Заслуживают внимания и другие россказни Бурнашева – например, о том, что Бенкендорф сам не хотел докладывать государю про «Прибавление», и они с великим князем Михаилом решили не тревожить государя… но его к тому понудила некая светская сплетница (Анна Михайловна Хитрово – кстати, дочка Кутузова и родная сестра Елизаветы Михайловны, по случаю тоже Хитрово по второму мужу, – близкого друга покойного Пушкина. Мир тесен – а история всегда удивляет своими совпадениями). Это она будто бы заговорила с Бенкендорфом на балу в таком роде: «А вы, граф, верно, читали новые стихи на всех нас, и в которых сливки общества отделаны на чем свет стоит?..» И… граф понял про себя – что, если уж и она знает – то дело плохо, придется докладывать. Той же Анне Михайловне приписывают, что «недовольная уклончивостью Бенкендорфа на рауте, чем свет, послала копию на высочайшее имя в Зимний дворец… с доносительским заголовком „Воззвание к революции“»[176].

«При всех условиях стихи эти в высших сферах считались ребяческою вспышкою…»[177] Тайна какой-то снисходительности «высших сфер» по отношению к «Прибавлению» и его автору продолжает витать в воздухе и быть загадкой… Решение по «Делу о непозволительных стихах» было не просто мягким – но мягким на редкость, непонятно мягким.

Это вовсе не значит, что царю понравился Лермонтов или стихотворение «Смерть поэта». Ему не нравился пасквиль, Он был задет. Царя самого раздражали «коноводы нашего общества», которые недостаточно считались с ним. Если даже он не знал бы, что речь идет об авторах пасквиля, он не мог не понимать, что они-то уж точно примут это на свой счет. А кто это был – он втайне догадывался. Или знал наверняка. Но, даже если б только речь шла о «коноводах» из Кавалергардского полка, которые так пылко приняли сторону Дантеса, превратив это в «дело чести полка», – в то время, как он сам, царь, должен был наказать

убийцу *примерно*, дабы не поссориться с другою частью общества, – он все равно мог кое-что простить автору. Император взял под защиту Пушкина и его семью – вне зависимости от бывших его, Пушкина, проступков – нравится вам это или нет. Извольте расписаться в получении. Монаршая воля! И нечего тут устраивать демонстрации всем знаменитым полком!

Тут и выступает на сцену понятие *художественного факта*. Нет документов – что говорилось на суде непосредственно. Но психологическая ситуация… Представьте: молодой человек, к которому вчера еще посылали «медика, чтоб убедиться, не помешан ли он» (в лучшем случае, могли поступить, как с Чаадаевым) – отправляется на Кавказ, в почти привилегированный полк… и дальше исчезает из виду: на несколько месяцев. Вообще, непонятно, где он. Значит, можно – чтоб было непонятно? Он вдруг заболевает и… застревает в Пятигорске на неопределенный срок – его никто не ищет, между прочим, и не строчит никаких бумаг, чтоб его использовали по назначению, как это будет потом… всего через три года. Затем смотр его полка Николаем I, и, в связи с успешностью этого смотра, Лермонтова прощают и переводят в Центральную Россию, в гвардейский Гродненский гусарский полк, причем по личному ходатайству графа Бенкендорфа. – Хотя до сих пор неизвестно, участвовал ли он сам в этом смотре или нет (скорей всего, не участвовал!). А спустя три месяца – стремительно возвращают в его родной Царскосельский лейб-гвардии Гусарский – уже по ходатайству великого князя Михаила Павловича. Какая-то чертовщина – имея в виду достаточно крутые нравы николаевского царствования. Да и Лермонтова они коснутся еще. Но пока… чья-то таинственная рука выводит этого непутевого недоросля из всех бед, притом он сам не принимает в этом ровно никакого участия.

4

Возвращен, прощен… Лермонтову дадут более двух лет – почти спокойных. Но то не значит вовсе, что власти не наблюдают за ним – ничего не ждут от него, или не обижаются отсутствием чего-то. В январе 1839-го Лермонтов даже участвует в свадьбе своего кузена (вообще-то, двоюродного дяди) Столыпина А. Г., и на свадьбе присутствует вся царская фамилия. Кузен женится на Марии Трубецкой, младшей сестре Александра. В судьбе Марии Трубецкой император и его жена принимают особое участие – и неслучайно. Как можно понять, Мария была прежде любовницей их сына, наследника Александра, а потом (или одновременно) – его адъютанта князя Барятинского. Когда Мария овдовеет, наследник будет настаивать, чтоб Барятинский женился на ней. Тот откажется. Она выйдет замуж за графа Семена Воронцова – сына Михаила Семеновича, мужа Елизаветы Ксаверьевны, – видного генерала, наместника и преобразователя юга России (и еще известного гонителя Пушкина), – но будет продолжаться ее связь с Барятинским. В смысле личном, семейном, сын Воронцов окажется не счастливей отца. К тому же и человек – вовсе бесхарактерный. (Или только – по отношению к жене?) Дальше о графине уже – Марии Васильевне Воронцовой – можно прочесть у Толстого, в «Хаджи-Мурате». Офицеры

ненавидели ее за то, что, когда она, достаточно откровенно – при живом муже, приезжает в лагерь к любовнику – он командовал всеми войсками, действующими против Шамиля, – их (офицеров) высылают в секреты вокруг лагеря, и они всю ночь мерзнут в секрете… Впрочем, она, наверное, была красива и явно неглупа. Музыкальна – написала романс на стихи Лермонтова.

Даже интересно: вчера еще опальный поэт присутствует там же, где царь и вся высочайшая семья. Впрочем, он находится здесь как близкая родня жениха: Алексей Григорьевич Лермонтову не просто родственник, но близкий человек. Это по его совету он поступил когда-то в юнкерскую школу (не самый удачный совет, но так уж получилось!). А после выхода в полк они вместе с Алексеем Григорьевичем и Алексеем Аркадьевичем (Столыпиным-Монго) живут на общей квартире в Царском Селе. «По-видимому, после возвращения Лермонтова из первой кавказской ссылки все трое опять жили вместе в Царском Селе», – считает Э. Г. Герштейн.[178] Но пока только 1839 год, она выходит замуж за одного из Столыпиных, о чем императрица почти торжественно (во всяком случае, радостно) извещает сына-наследника, который за границей. «Самая свежая и поразительная новость – Маша Трубецкая выходит замуж за гусарского офицера Столыпина, зятя Философова. Ему 32 года, он красив, благовоспитан, хорошо держится и *очень богат*, чем тоже не следует пренебрегать…»[179] А шаферами на свадьбе Марии – Трубецкой Александр (Бархат), ее родной брат, и Столыпин-Монго, ближайший друг Лермонтова. Как все перемешано! Наверное, о пушкинской истории здесь не говорят и вообще не говорят ни о чем таком. Когда-то, в 1835-м, по выходе в полк после юнкерской школы Лермонтов был приятелем со всей этой компанией Трубецкого. – Он писал тогда «Маскарад». То, что они сейчас бывают в одном кругу и, может, спокойно общаются, – ничего не значит: это законы света. Что таится про себя у каждого, неважно – и никого не касается. Вон Вяземский тоже вскоре после смерти Пушкина, выговорившись вволю и тем словно закляв беду, станет спокойно встречаться с врагами ушедшего Пушкина, наносить визиты – графине Пупковой (Нессельродихе – Марии Дмитриевне). Будет презирать себя за это – но являться на поклон будет.

С братом Александра Трубецкого Сергеем (его с тех пор уже вернули в столицу) произошли за это время еще разные неприятности – Николай I, чуть ли не во время его дежурства во дворце, насильно оженил его, сочетав с фрейлиной Е. П. Мусиной-Пушкиной, которую Сергей неосторожно обрюхатил. Императрица пишет о нем в том же письме к наследнику: «Говорят, Сергей похудел, у него сокрушенный вид».

И теперь он рвется на Кавказ от такого счастья – или уехал уже? «Сергей Трубецкой, родной брат фаворита императрицы… был другом Лермонтова и секундантом его на дуэли с Мартыновым», – комментирует Герштейн. С Лермонтовым они будут еще оба участниками сражения при Валерике.

В 1839 году почему-то французский посол де Барант заинтересуется тем, не была ли в стихотворении «Смерть поэта» оскорблена французская нация. И хотя Лермонтов любезно предоставит строфу, о которой речь (через Тургенева А. И.), и его начнут приглашать на вечера в посольстве Франции (лучше б не приглашали) – все равно этот вопрос будет тлеть где-то в глубине и в итоге состоится дуэль между Лермонтовым и де Барантом-сыном.

Младший Барант – и вправду «салонный Хлестаков», как окрестит его Белинский – и к Лермонтову он будет вязаться в силу разных причин: между ними встанет прелестная Мария Щербатова, молодая вдова, которой почему-то нравился Лермонтов, а не де Барант… Еще одна загадка короткой жизни Лермонтова. Однако… «Е. П. Ростопчина, которая назвала прямой причиной ссоры между Лермонтовым и Барантом „спор о смерти Пушкина“»[180]. А Ростопчина – редкостно осведомленный источник.

Не будем углубляться в вопрос о светской сплетне, которая связана была с именем мадам Бахерахт, жены русского консула в Гамбурге. Может, сплетня и была, может, ее не было. Это все – косвенности разного рода. «Важнее другое, – пишет Герштейн, – в 1939 году было придано значение стихам, написанным в начале 1837 года. Причем тогда, в дни гибели Пушкина, никто из иностранных наблюдателей не отмечал, что в стихах Лермонтова оскорблено достоинство Франции. Очевидно, кто-то напомнил Баранту об этих стихах и внушил, что они заключают оскорбительный для Франции смысл».

А вот это действительно важно: *кто напомнил Баранту*?..

«Трижды прав был Вяземский, – продолжает тот же автор, – называя Петербург „опасным и скользким местом“. Это неудавшееся подстрекательство должно было поставить Лермонтова в очень тяжелое положение»[181]. Странно иль, напротив, интересно: в лермонтовской стычке с де Барантом Вяземский целиком на стороне последнего. «Это совершенная противоположность истории Дантеса, – замечает Вяземский в письме 22 марта 1840 года. – Здесь действует патриотизм. Из Лермонтова делают героя и радуются, что он проучил француза». Это что-то говорит нам о действительном положении Лермонтова в эпоху *после Пушкина* и в так называемом «пушкинском круге».

Только почему пишут – «неудавшееся» подстрекательство? Все удалось. Лермонтов недавно воротился из одной ссылки, а теперь, после дуэли, грозит новая ссылка.

5

Мы не пишем здесь биографии Лермонтова – лишь пытаемся как-то восстановить *его* преддуэльную историю.

Надо сказать… Со времени первой ссылки положение Лермонтова в глазах властей сильно изменилось – и изменилось к худшему. Бенкендорф больше не поддерживает его и великий князь Михаил – тоже. И не помогло совместное с царской семьей участие в свадебных торжествах Марии Трубецкой и Алексея Столыпина, и не помогла возникшая за это время и все возраставшая литературная известность. Впрочем, в этой известности, наверное, было все дело – хотя продолжают искать как раз по касательной к этой известности. Ищут в маскарадах, на балах, в светских сплетнях. В плане «светского значения» Лермонтова – которое было не столь значительно. Над этим секретом обрушения какой-то защищенности Лермонтова со стороны властей следует поразмыслить. Но у нас как-то никогда не задумывались над этим – потому что не решались признать, что сперва эта защищенность имела место.

Меж тем… Напрасно считать, что власть ничему не учится – и на собственных ошибках тоже. И когда появился Лермонтов со стихами на смерть Пушкина – власти что-то поняли про него. Знаменитая фраза, которую скажет Николай I тотчас по получении им известия о гибели Лермонтова: «Собаке – собачья смерть!», будет не единственной – он почти сразу пожелает исправиться и произнесет другую, уже на публику: «На Кавказе погиб тот, кто мог заменить нам Пушкина!» – Это многое объясняет.

Лермонтову, в сущности, не мешали печататься (почти). Хотя и Николай I не брался сам быть его цензором. Никаких особых столкновений с цензурой как-то не было – исключая «Маскарад», но то была особая история. Костюмированные балы у Энгельгардтов посещал сам царь с семьей. На этих балах мелькали и были заметны несколько вольным поведением и дочки царя, и сама императрица. И все же… некоторые печатавшиеся без изъятий стихотворения Лермонтова – до сих пор вызывают удивление своей раскованностью, имея в виду строгости николаевской цензуры. Знаменитая рецензия государя на «Героя нашего времени» в письме к императрице свидетельствует, может, не столько о том, что он вовсе не понял

роман… сколько личную досаду и раздражение. Но роман не был запрещен – и за первым последовало второе издание.

Над развязкой дуэли с де Барантом витает это монаршее раздражение.

Офицера, который вынужден был принять вызов, вступившись за русскую честь и за честь мундира – что отметил специально даже военный суд, – при самом благополучном исходе поединка – вместо того чтобы простить или хотя бы наказать символически – высылают снова на Кавказ – и теперь уже прямо в действующую армию – под пули горцев.[182] «Тот, кто мог заменить нам Пушкина…» Пушкину царь, по его понятиям, много прощал – он держал его при себе, даже не отпускал поселиться в деревне, выйти в отставку – под угрозой закрыть ему вход в архивы: понимал, что при царствовании его нужен *такой поэт*. «Империя блестящих фасадов» нуждалась и в Пушкине. Конечно, в Пушкине – под страхом опалы и под непосредственным орлиным взором монарха. Царь хотел иметь при себе прирученного Пушкина и очень опасался его – отвязанного.

Пушкин писал до времени политические стихи либерального или даже революционного толка. Это уж потом про них стало возможно говорить почти презрительно: «подобранные тайной полицией» – и даже в письме к великому князю. Мол, они ничего не стоили. Но сперва их *подбирали многие* – не только тайная полиция. И тогда это имело смысл – хоть Вяземский и предостерегал автора в свое время: «Оппозиция у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: оно может быть домашним рукоделием про себя и в честь своих пенатов, если набожная душа отречься от нее не может, но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа»[183]. Пушкина приблизили, приручили – он стал, время от времени, выдавать другие политические стихи. «Стансы» в том числе – и не только их. Потому перлюстрировали даже его переписку с женой: хотели знать – что он думает на самом деле?..

В юности Лермонтов тоже воспевал свободу. В зрелости он почти не писал и не написал никаких политических стихов. И знаменитое «Прибавление» было едва ли не случайностью в этом смысле. С некоторых пор его занимал только человек – и что с ним происходит в этом печальном мире.

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил – и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей…

Жизнь. Бой с барсом. Смерть. «И с этой мыслью я усну // И никого не прокляну…» Вот и все. «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души…»

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек,
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем…

А у властей на него, возможно, был особый взгляд. Какие-то расчеты. Вспомним, как во дворце, передавая из рук в руки, взахлеб читали «Демона». Царь это знал – от него это требовало каких-то шагов по приручению нового поэта – еще один «блестящий фасад империи», но Лермонтов обманывал все ожидания.

Он не писал стихов против власти – но не писал их в ее честь. (В отличие от позднего Пушкина.) Он вообще не касался в литературе ее политической составляющей – будто таковой вовсе не было.

Для него как писателя власть, как бы, не существовала. Он проходил будто сквозь нее – как привиденье через стену. И это раздражало или обижало – пожалуй, больше иной крамолы. «Отдавать жизнь за идею – значит слишком большое значение придавать неподтвержденным истинам». (Кажется, Анатоль Франс – век спустя.) Когда власть не принимают всерьез – это тоже крамола. Его равнодушие было важней для власти, а может, и опасней, нежели его мелькания на каких-нибудь балах, где ему не полагалось быть. В этом он всего лишь демонстрировал независимость, какую деспотии, даже слабые, не прощают. То, что на Лермонтова вдруг ополчились верхи, немножко напоминало «дело Бродского» – через столетие с лишком. Тот ведь тоже был осужден больше не за то, что власть ругал, а за то, что ее словно и не замечал.

Здесь нужно добавить: Лермонтов предложил миру, сравнительно с Пушкиным, – другой образ поэта, другую систему поведения.

Пушкин был горд, и гордился в себе и как будто нес в себе – Поэта.

Лермонтов тоже был горд – но именно из гордости в себе Поэта скрывал. Неслучайна, верно, мысль, что поведение позднего Лермонтова, уже известного писателя, определялось во многом трагедией, постигшей Пушкина. Вяземский писал в том

же письме (Пушкину): «Ты любуешься в гонении: у нас оно, как авторское ремесло, еще не есть почетное звание. Оно звание только для немногих; для народа оно не существует».

Вот Лермонтов и жил во внешней жизни так, будто ощущал, что не существует это «авторское звание».

Почти никто из современников не запомнил его пишущим. Это его – человека, который за самый короткий срок, отпущенный ему Богом, успел сделать так много, так мощно. Зато в изобилии – предания о том, как он надламывал в ресторане тарелки о голову, чтоб они потом лопались в горячей воде, или рассовывал по карманам соленые огурцы. «Князь Васильчиков рассказывал мне, что хорошо помнит, как не раз Назимов, очень любивший Лермонтова, приставал к нему, чтобы он объяснил, что такое современная молодежь и ее направления, а Лермонтов, глумясь и пародируя салонных героев, утверждал, что „у нас нет никакого направления, мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин“, он напускал на себя la fanfaronade du vis и тем сердил Назимова. Глебову не раз пришлось успокаивать расходившегося декабриста, в то время как Лермонтов, схватив фуражку, с громким хохотом выбегал из комнаты… Он вообще любил или шум и возбуждение разговора, хотя бы самого пустого, но тревожившего его нервы, или совершенное уединение»[184].

Не забудем, что это – разговор с бывшим декабристом, то есть человеком *идеи*! И что с этого вопроса, что такое современная молодежь – читай, современный человек! – начнется, в сущности, разговор Максима Максимыча с Автором-рассказчиком и, фактически, весь роман «Герой нашего времени».

В первую встречу с Белинским в Пятигорске, в ответ на попытку серьезного разговора о Вольтере, Лермонтов бросит что-то вроде: «Да вот что я скажу вам о вашем Вольтере, – если б он явился теперь к нам в Чембар, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры!» (И Белинский, и Лермонтов оба были из Чембарского уезда Пензенской губернии.) Этим он заслужил известную реплику Белинского в письме (ее цитирует Сатин): «…пожалуйста, не пускай к себе таких пошляков, как Лермонтов!»[185] Потом будет встреча Белинского с Лермонтовым в Ордонанс-гаузе, на гауптвахте, где Лермонтов содержался под арестом за дуэль с де Барантом, – и Белинский вынесет о собеседнике мнение буквально полярное.

Он «походил на маленького бесенка, которого Мефистофель мог подсылать к Вагнеру нарочно для того, чтобы смущать его глубокомыслие» (И. Панаев).[186]

Лермонтов часто издевался над людским «глубокомыслием» – что правда, то правда. Оно раздражало его – похоже, ему

казалось, что эти разговоры не ведут ни к чему и что способность человека познать мир чрезвычайно мала… «Мы иссушили ум наукою беплодной…» Висковатов найдет очень точную формулу этого поведения – приведя цитату из Гейне, которого Лермонтов любил и переводил и который был ему очень близок:

Дай маску мне, – хочу маскироваться
Я пошляком, чтобы в толпе глупцов
В личинах гениев, героев, мудрецов
Не мог бы их подобием казаться,
Дай мне ту пошлость, что они скрывают…
Чтоб мог я на великом маскараде —
С толпой смешавшись – мало кем быть узнан…[187]

Не только в поэзии Лермонтова и Гейне – во всей манере поведения было много общего…

У Гейне будет потом в предисловии к поэме «Атта-Троль»:

«Завистливая бездарность, после тысячелетних усилий, нашла, наконец, средство против дерзости гения: она придумала антитезу таланта и характера. Толпе сплошь и рядом преподносились истины, вроде: „Все порядочные люди, как правило, плохие музыканты, но хорошие музыканты – необязательно порядочные люди…“»

Нам следует отметить про себя: два крупнейших поэта России предложили своей эпохе две принципиально различных системы поведения художника. И обоих убивают в дуэли – одного за другим, с разницей всего в четыре с половиной года. Не нужно было вовсе – не то или иное поведение поэта. Не нужен был сам Поэт!

Лермонтов, может, называл это иначе – но хорошо знал про себя, что «антитеза таланта и характера» – уже придумана как средство против гения. И что по этой формуле добивали Пушкина.

Ему была необходима маска – чтоб скрываться. Этой маске он пожертвовал своим истинным лицом – первого трагического поэта России.

6

«В истории жизни и гибели Лермонтова есть какая-то тайна». Эти слова Эммы Герштейн, открывающие книгу «Судьба Лермонтова», можно бы и вправду поставить эпиграфом ко всей этой судьбе. Только тайну не исчерпывают факты типа: «Белые

листы, корешки вырезанных страниц, письма с оторванным концом…»[188]

Наверное, больше был прав Блок, когда писал на самой заре создания классического лермонтоведения: «Почвы для исследования… нет, биография – нищенская, остается провидеть Лермонтова…»

«Остается провидеть…» «Причиной ссоры противников был „спор о смерти Пушкина“» – графиня Ростопчина – Александру Дюма.

Ростопчина уж точно – информированный источник. И Лермонтова прекрасно знала, и петербургский свет тоже. Но кто подсказал Баранту?.. Осталась где-то на полях еще фраза, якобы сказанная Лермонтовым: «Эти Дантесы и Баранты заносчивые сукины дети!» Вряд ли, если б шла речь просто о соперничестве по поводу женщины, Лермонтов стал бы так откровенно объединять эти два имени. Хотя… все может быть. Он был раздражителен, а поведение Баранта по отношению к той же Щербатовой могло казаться заносчивым. Могло напоминать ему того, другого… «Он был наглее нас…» Ведь не один Трубецкой, должно быть, говорил в свое время о «наглости» Дантеса и о том, как он себя вел с дамами. (И при этом – какой успех!) И Барант тоже – мог быть «наглей».

И все же… сама мысль об оскорблении французской нации родилась не у французов, это точно, а у кого?.. И кто подкинул ее французскому бездельнику и сыну посла Луи-Филиппа?

Это первый эпизод. Не последний. Все начинает быстро стремиться к развязке. Возникает Кто-то… Некто. Как Неизвестный в «Маскараде». Маска вместо лица. Кто-то подговаривает на дуэль офицера Колюбакина, над которым Лермонтов посмеивается. Мелькает в материалах, что Колюбакин походил на Грушницкого. Может, так – может, нет… Кто-то в Ставрополе сватает на эту роль Есакова. Кто-то, уже в Пятигорске, – Лисаневича, который ухаживал за Надей Верзилиной, а Лермонтов посмеивался над ним. Лисаневич якобы сказал (опять же – *кому-то*), в ответ на уговоры наказать Лермонтова: «Что вы! Чтобы я поднял руку на такого человека?» А может, это сказал Колюбакин. А может, нам просто хочется, чтобы кто-то сказал так, – а никто ничего не говорил.

«Корешки вырезанных страниц, письма с оторванным концом…» Кажется, вся судьба – «с оторванным концом»!

Тут и начинает маячить на горизонте смутная фигура Николая Соломоновича Мартынова.

Вообще, враги у Лермонтова были. И необязательно те, над кем он строил насмешки. Он был горд. Верней, в его попытке не

выделяться и быть как все даже дюжинные люди предполагали гордыню.

А гордость вызывает предубеждение.

Неприязненником Лермонтова был, к примеру, граф Владимир Соллогуб, хоть он и печатался в одном с Лермонтовым журнале Краевского – «Отечественные записки». Известный автор «Тарантаса» и повести «Большой свет», в которой он «вывел светское значение Лермонтова» – словечко, которое, похоже, пустил в свет он сам. «„Маленький корнет“ Мишель Леонин, мечтающий о „большом свете“ и приглашении в Аничков дворец, вскоре осознает всю ложь и лицемерие аристократического общества» – так пересказывает сюжет «Лермонтовская энциклопедия»[189]. В памфлетное задание на написание этой повести со стороны великой княгини Марии Николаевны я как-то не очень верю. Я думаю, Соллогуб оправдывался этим мнимым волеизъявлением свыше. Лермонтов, что бы ни говорили о нем – и, главное, что бы ни сочинял об этом в письмах он сам, – не так стремился проникнуть в «большой свет». Это «проникновение» было ему обеспечено рождением, во-первых, и стихами на смерть Пушкина, которые нажили ему врагов и многих раздражили, но привлекли к нему общее внимание, да и его известность как писателя росла. Кроме того… автор оды «Смерть поэта» и знаменитого «Прибавления» к ней знал этому свету цену. На «большой свет» Лермонтов, как бы, и не обиделся – или сделал вид. Он вообще в литературе был крайне даже странно не обидчив. Об этом мы говорили уже. Похоже, его литературных мнений нет в письмах – не потому лишь, что писем дошло до нас крайне мало, – но и потому, что он их, эти мнения, не высказывал. Может, просто – не высказывал вслух? Внешне они с Соллогубом вроде даже приятельствовали. Хотя Соллогуб явно ревновал к Лермонтову свою невесту, потом жену – Софью Виельгорскую. Стихотворение «Нет, не тебя так пылко я люблю…», скорей всего, обращено именно к ней, – а не к молоденькой, хорошенькой Кате Быховец, «дальней родственнице Лермонтова, с которой поэт встречался летом 1841 года в Пятигорске». Весь рассказ Кати Быховец о Лермонтове и гибели Лермонтова, дошедший до нас, вызывает такое светлое ощущение от нее самой и от ее отношений с ним, что никак не сближается с трагическими ассоциациями самого стихотворения. Не знаю, кому понадобилось отказываться от простой и вызывающей доверие истории появления этих стихов, какую предлагала сама Софья Соллогуб?.. И искать в Кате Быховец сходство с Варварой Лопухиной, какую находила только сама Катя… Ну да – ей так казалось: «я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас

сходство, и об ней его любимый разговор был…» Но кто сказал, что это сходство и вправду находил он сам? Наверное, легенду о любви Лермонтова к Лопухиной Катя вывезла с собой из Москвы и насчет «любимого разговора» – явно преувеличивала: он был слишком закрытый человек! С этим стихотворением вообще – несусветная путаница.

Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей…

Повторим в который раз: Лермонтов был религиозен в настоящем смысле слова. Он не мог бы написать: «уста давно немые» и «огонь угаснувших очей» о человеке живом. Это грех! А на нем и так, он считал, много грехов! Так что… никакая, пребывавшая в здравии, Варвара Лопухина не могла стоять за этим образом. «„…уста давно немые“ наталкивали на предположение о давно умершей девушке…»[190] – но эта девушка никак не находится в ранней биографии Лермонтова – куда более известной, чем поздняя… Можно предположить, что это вообще – образ рано ушедшей матери, который мнился Лермонтову всю его жизнь… «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать»[191]. «Подруга юных дней» вовсе не означала в то время одно лишь любовное переживание. Самое слово «подруга» имело больше значений – иначе Пушкин не обратил бы его к старой няне…

Что касается того, что Соллогуб ревновал кого-то к Лермонтову… Боюсь, поле для ревности тут более значительно, нежели ревность к невесте или даже к жене – или к успеху в свете… К Пушкину Соллогуб в самом деле относился с уважением и пиететом. Был советчиком его и секундантом в первой дуэльной истории с Дантесом – в ноябре 1836-го. Правда, Пушкин будто бы сказал ему с упреком: «Вы были больше секундантом Дантеса, чем моим!» – за то, что он пытался расстроить дуэль тогда, – но мы за это никак держать обиду не можем. Он был на стороне Пушкина – в той мере, в какой человек его масштаба способен был понимать Пушкина. Но с существованием Пушкина в какой-то мере смирились даже далекие ему в литературе люди: все смирились. Зато, когда его не стало, почувствовали невольное облегчение – и его литературные друзья в том числе. Поскольку нам трудно вообще представить себе, что такое создавать

литературу рядом с Пушкиным. «Мне мешает писать Лев Толстой», – говорил Блок. Человек терял веру в себя рядом с Пушкиным – масштаб литераторов в его присутствии заметно менялся – и сразу! Но повторяю – с этим все смирились. Однако появление, след в след Пушкину, *другого* поэта, в котором можно было заподозрить почти равный талант, – могло быть обидно. Это было трудно пережить. Тут была ревность – не только к таланту, тут ревновали *саму литературу*. Эта ревность поразила и ряд прямых пушкинских друзей. Плетнев, Вяземский… Литературные ряды расстроились – начались распри, часто злобные. Осталось писать памфлеты на «светское значение» этого парвеню.

Но все равно… как бы Соллогуб ни относился к Лермонтову, вряд ли он был тем, кто напомнил Баранту стихи на смерть Пушкина, придав им некий извращенный смысл. Слишком Соллогуб был завязан сам в пушкинской истории – притом на стороне Пушкина несомненно – и сделать так означало бы изменить себе. Люди того времени – если они не были подлецами – не позволяли себе идти на такие вещи.

Притом Некто, Неизвестный – который продолжает мелькать на полях лермонтовской биографии, готовый вот-вот ворваться в нее с кинжалом или пулей в спину, – как-то очень размазан по территории внутренней России и сопредельной с ней… он не только в Петербурге, он – и в армии на Кавказе, и в Ставрополе, и в Пятигорске… рождается ощущение, что их много, этих Некто, или их связывает нечто единое. До того, что некоторые недалекие люди придумали целый масонский заговор вокруг Лермонтова. Мне даже один знакомый показывал повесть на эту тему, появившуюся в смутное время – во второй половине 80-х теперь *прошлого* века.

А все было просто… по этой территории расползалась одна обширная общность: столичная гвардия. «*…и даже в том полку, где он служил, его любили немногие».*

7

Среди врагов Лермонтова, которые появились после «дела Пушкина» и знаменитых строк о «надменных потомках», Ласкин называет, прежде всего, князя Барятинского: Александр Иванович – будущий фельдмаршал. Победитель Шамиля. То есть победителей, вообще-то, было много – но лавры достались ему: ему сдался в плен Шамиль. В лермонтовскую пору Барятинский был сперва офицером Кирасирского полка, потом кавказским армейцем, потом адъютантом Наследника. Барятинский учился с Лермонтовым в юнкерской школе, но особенных способностей и

усердия тогда в учебе не явил: сказывался, возможно, «надменный потомок… прославленных отцов» (к Барятинскому это могло относиться впрямую): незачем слишком стараться, когда все само идет в руки: мать не только вхожа во дворец, но с императрицей чуть не каждую неделю завтракает. И все же, по недостаточным успехам, окончив ученье, оказался не в самом привилегированном полку – не в Кавалергардском и не в Лейб-гусарском – а всего лишь в Кирасирском. Император Николай имел и на этот счет свое мнение. Кажется, Барятинский все равно рвался в кавалергарды и считал себя кавалергардом в душе, и уж точно принадлежал к группе Александра Трубецкого. К «коноводам» гвардии. И в какой-то мере – к «кружку развлечений» монархини. Он участвовал в ряде затей кавалергардов – в частности, в том знаменитом безобразии на Неве, в затее с гробом с надписью «Борх». Посему причастность и Барятинского к пасквилю на Пушкина нельзя совсем отметать. (Напоминаем, с Барятинским был тогда на Неве и Трубецкой Сергей!)

Когда Дантес был под арестом после смерти Пушкина – Барятинский, как другие, слал ему «прелестные письма», как говорили некогда. Вот – от 19 марта: «Мне чего-то недостает с тех пор, как я не видел Вас, мой дорогой Геккерн; поверьте, что я не по свое воле прекратил свои посещения, которые приносили мне столько удовольствия и всегда казались мне слишком краткими; но я должен был прекратить их вследствие строгости караульных офицеров. Подумайте, что меня возмутительным образом два раза отослали с галереи под тем предлогом, что это не место для моих прогулок, а еще два раза я просил разрешения увидеться с Вами, но мне было отказано. Тем не менее верьте по-прежнему моей самой искренней дружбе и тому сочувствию, с которым относится к Вам вся наша семья»[192].

Дантес, сообщая Геккерну, что произведен в поручики (в феврале 1836-го), попутно упрекал, что тот противодействовал его, Дантеса, желанию отправиться на Кавказ. (Невольно подумаешь: если б Дантес уехал на Кавказ – Пушкин был бы жив!) Дантес писал: «…все, кто был на Кавказе, вернулись живые и невредимые и были представлены к крестам… Один бедняга Барятинский был опасно ранен, это правда, но зато и какая награда. Император назначил его адъютантом наследника…»[193] На Кавказе Барятинский и правда совершал подвиги – но едва не лишился жизни. Тут и взвилась его карьера, которую он закончит фельдмаршалом и победителем. Уже на вершине ее и много времени спустя после гибели Лермонтова – он будет удивлен, узнав, что его молодой личный секретарь (чиновник по особым поручениям) Павел Висковатов интересуется Лермонтовым: сам

признался в этом – и сказал, что собирается писать его биографию. Барятинский стал упорно отговаривать молодого человека. (К счастью, безуспешно – и мы получили лучшую, верно, по сей день – самую полную биографию Лермонтова.)

Он был человек надменный – говорят, даже родная мать боялась постучаться к нему в комнату. Он всегда следил, чтоб дистанция между ним и другим человеком никак не была нарушена.

У него были еще причины ненавидеть Лермонтова – и кроме «надменных потомков». Было такое приключение – в школе гвардейских подпрапорщиков и кавюнкеров, среди многих приключений, в которых они участвовали, должно быть, вместе с Лермонтовым – а потом оно попало в поэму Лермонтова «Гошпиталь». Поэму порнографическую – добавим с сожалением, почти ничего другого Лермонтов за все два года школы не сочинил. Хотя тут надо признать – он и в этом был необыкновенно талантлив. Три «юнкерские» поэмы, созданные им на столь сомнительном материале, от рассмотрения коих – не говоря уж об издании! – упорно отказываются наши специалисты-лермонтоведы вот уж сколько лет, не включая их в самые полные и академические собрания, – безусловно, являются украшениями жанра порно, если этот жанр вообще что-то способно украсить. Лермонтов в нем преуспел, верно, больше, чем Барков и чем безвестный автор «Луки Мудищева». (Может, больше, чем сам Пушкин? Хотя хвастаться нечем!) Оттого и некоторые подвиги Барятинского, от которых тот хотел бы позже откреститься, попали в анналы гусарской истории, передаваемой из уст в уста.

В поэме «Гошпиталь» Лермонтова – «Князь Б., любитель наслаждений, с Лафою стал держать пари» (Лафа – Поливанов, гусар) – на «шесть штук шамапанского», что переспит с юной Марисей – служанкой старой слепой барыни, которая живет при Петергофском гошпитале. Проникнув в дом и оказавшись в спальне барыни, князь принимает за юную красотку-польку саму слепую старуху и… в страсти бросается на нее. Притом даже старая барыня, зовя на помощь, лихо выкрикивает самые непотребные слова: «Сюда – сюда… меня ….!»

На зов вбегает слуга – мужик со свечой, и что он видит?

…Худая, мерзостная с…
В сыпи, в заплатах и чирьях,
Вареного краснее рака
Пред ним зияла…

…это, не забудьте, – задница князя – и будущего победителя

Шамиля. И слуга прикладывает к ней горящую свечу. И далее (опускаем детали):

> Невкусен князю был припарок…
> «Ты знаешь ли? Я князь!» – Вот штука!
> Когда ж князья …. старух?![194]

Все заканчивается тем, что славный Лафа (главный герой «Юнкерских поэм»), который сам в это время спокойно развлекался с Марисей, спасает убегающего князя, дав в зубы его преследователю – при этом открывая нам имя героя: «Где ты, Барятинский, за мною!..»

Вероятно, тотчас по происшествии это все доставило много радостей и смеху, было омыто в вине – тех самых «шести штук шампанского» – и Лермонтов был среди тех, кто обмывал. Однако несколько лет спустя поднимающемуся по карьерной лестнице офицеру, герою войны, адъютанту наследника престола, стихи стали крайне неудобны, и самое воспоминание неудобно. Но никто ничего не мог поделать уже – это «ушло в народ» – субкультура гусарства! – и гвардейские офицеры и генералы, тайком от своих жен и детей, с удовольствием перечитывали эту похабель – а иногда зачитывали вслух друзьям – порой в желании кольнуть князя, который так уж стал взбираться по лестнице чинов – что не уследить. Эта «худая, мерзостная с…» могла ли стоить жизни Лермонтову? Могла. Но вряд ли. Барятинский, кроме Петербурга, не был нигде одновременно с Лермонтовым. «Люди эти даже мешали ему в его служебной карьере»[195], – пишет Висковатов, но не подтверждает ничем. Ему возражала Ашукина-Зенгер: «В какой мере он (Барятинский. – *Б. Г.*) знал о Лермонтове в периоды его пребывания на Кавказе, сказать трудно. Во всяком случае, знать мог, так как брат его Владимир в 1837 г. встречался с Лермонтовым на водах»[196]. Но в 1837-м никаких попыток спровоцировать кого-либо на дуэль с Лермонтовым не зафиксировано. Потом, судя по всему, какие-то отношения между Лермонтовым и Барятинским все же сохранялись – и даже серьезные разговоры были в Москве. Да и просто по месту действия… Барятинский мог еще иметь какую-то причастность к истории с де Барантом. Но его не было ни в отряде Галафеева (Валерик), ни в Ставрополе, ни в Пятигорске одновременно с Лермонтовым… Пребывание его брата Владимира в Пятигорске, в последний приезд Лермонтова, тоже не подтверждено. Все сказанное не исключает вовсе неприязни к Лермонтову, о которой пишет Висковатов. Впрочем… говоря о Лермонтове, князь однажды высказался, что николаевская

империя обтачивала людей, как бильярдные шары, – требуя существования лишь гладких, а Лермонтов был другим: он выделялся… Непохож на подстрекателя к убийству! Но это, вы скажете, уже скорей – психологический этюд, чем доказательство. Правда! Но и весь разбор, какой мы здесь предприняли, – разве не один сплошной психологический этюд?..

Н. С. Мартынов

Мне странно, что Ласкин на Барятинском остановился… Он двигался в правильном направлении.

Тут и появляется на горизонте Мартынов Николай Соломонович. Москвич. Петербургский гвардеец.

Они учились вместе в юнкерской школе. Притом, похоже, в школе связи между ними никакой не было. Нет воспоминаний об участии в каких-то совместных акциях или проделках. Но после школы уже между ними возникает какая-то связь: Мартынов как-то мелькает в жизни Лермонтова. У них общие корни по рождению – оба москвичи. Лермонтов хорошо знаком с семьей Николая: родители, сестры. С сестрами у него какая-то светская дружба или легкий флирт. Может, более серьезный с одной из них. Сестрам, похоже, он нравился.

Мартынов дважды принимался в жизни за воспоминания об их встречах, верно, пытаясь что-то сказать потомству – в чем-то оправдаться или что-то объяснить, – и дважды себя обрывал на полуслове, на юнкерской школе, где они встретились. Во второй раз попытался уже незадолго до смерти: «Моя исповедь» – название вызывающее. Объяснение явно не давалось ему.

Он вышел в полк из Школы гвардейских подпрапорщиков в декабре 1835-го. Полк был Кавалергардский. Так что на его глазах прошла вся недолгая, но бурная история Дантеса в полку. С Лермонтовым Мартынов дальше встречался часто – и в Петербурге, и в Москве.

В устной форме, вдогонку убитому, Мартынов послал несколько эпизодов их общения, призванных аттестовать Лермонтова дурно, – но они были настолько малы и незначащи, что могли у нормального человека вызвать только ссору с кем-то или размолвку – но никак не стрельбу из пистолета на поражение. Хотя… у обеих рассказанных им историй было очевидное достоинство: проверить было нельзя.

Вот один эпизод… Лермонтова ограбили в Тамани, когда он ехал на Кавказ, – это все знают – об этом написан рассказ «Тамань». Но, оказывается, с ним ехали письма родных Мартынова, которые Лермонтов забрал в Москве. Говорят, особенно подробные были письма сестер – чуть не дневники. В ту эпоху было модно – вести дневник и, время от времени, давать его кому-то близкому на прочтение. Но, может, не только письма? Отец Мартынова вложил в пакет еще деньги для сына. Когда Лермонтова обокрали – он, естественно, не мог вернуть письма – но деньги почему-то вернул. Вопрос: откуда он знал про них? И точную сумму? Может, вскрывал письма? (Подозрение, что Лермонтов не отдал письма, потому что их вскрыл, – высказала впервые мать Мартынова: может, боялась, что он женится на одной из девиц? – не хотела этого брака и оговорила: Лермонтов ей не нравился.) Не забудем, что вся история с письмом и с

ограблением в Тамани относится к 1837 году.

Вторая легенда связана с первой; Лермонтов якобы ухаживал немного за одной из сестер Мартынова, Натальей Соломоновной (Герштейн считает, что и он нравился ей). Мартынов пустил слух, что Лермонтов и вскрыл-то письма, чтоб узнать мнение его сестры (или сестер) о себе. И что потом он якобы сказал Мартынову: «Ты знаешь, кто такая княжна Мери? Княжна Мери – это твоя сестра!» Но эта легенда возникла почти сразу по смерти Лермонтова, чуть не в ресторации Найтаки в Пятигорске, где роились тогда все слухи. В тот момент «княжон Мери» было хоть отбавляй – полный Пятигорск. Эмилия Клингенберг – старшая дочь Верзилиной от первого брака и падчерица генерала Верзилина – тоже не избежала разговоров о том, что «княжной Мери» была она, как, впрочем, и ее совсем юная сестра Надин. Обе они, кстати, после вышли за Шан-Гиреев – Акима и Алексея – близких родственников Лермонтова.

Рождение легенды, на мой взгляд, более всего демонстрирует полную растерянность общества в Пятигорске перед случившимся – и поиск каких-то самых простых и понятных причин…

Самое интересное, что оба эпизода, как бы порочащие Лермонтова, – не мешали им с Мартыновым еще долго встречаться по дружбе. А в Пятигорске почти до конца оставаться в одном тесном кругу. (Та же Екатерина Быховец, в совершенной ярости против Мартынова – право, такой ярости, как она, никто другой не выказал, – отмечала в письме: «А давно ли он мне этого изверга, его убийцу рекомендовал, как товарища, друга!»[197]).

9

На Кавказе осенью 1840-го Лермонтов и Мартынов вместе участвовали в экспедиции генерала Галафеева.

«Он приехал на Кавказ, будучи офицером Кавалергардского полка и был уверен, что всех удивит своей храбростью, что сделает блестящую карьеру, и только и думал о блестящих наградах. На пути к Кавказу в Ставрополь, у генерал-адъютанта Граббе, за обеденным столом, много и долго с уверенностью говорил Мартынов о блестящей будущности, которая его ожидает. Так что Павел Христофорович должен был охладить пылкого офицера и пояснить ему, что на Кавказе храбростью не удивишь, а потому и награды не так-то легко даются. Да и говорить с пренебрежением о кавказских воинах не годится»[198].

Это воспоминание о появлении Мартынова на Кавказе, в штабе Граббе Висковатов приводит со слов сына командующего – Николая Павловича Граббе.

Портрет Мартынова этого времени оставил и Костенецкий, один из офицеров штаба:

«Это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин, со вздернутым немного носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепьяно романсы и полон надежд на свою будущность: он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенской казачий полк, куда он был прикомандирован, и в 1841 году я увидел его в Пятигорске. Но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже в отставке, всего майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного молодого человека сделался каким-то дикарем, отрастил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, мрачный и молчаливый»[199].

(Добавим, тот же Костенецкий пишет о Лермонтове не слишком приязненно – так что объяснить его отзыв о Мартынове его расположением к Лермонтову никак нельзя.)

Висковатов пояснял: «Мартынов в общем носил форму Гребенского казачьего полка, но, как находившийся в отставке, делал разные вольные к ней добавления, меняя цвета и прилаживая их согласно погоде, случаю или вкусу своему… Рукава черкески он обычно засучивал, что придавало всей его фигуре смелый и вызывающий вид. Он был фатоват и, сознавая свою красоту, высокий рост и прекрасное сложение, любил щеголять перед нежным полом и производить эффект своим появлением. Охотно напускал он также на себя мрачный вид, щеголяя „модным байронизмом“»[200]. Добавим: он всегда ходил с большим кинжалом – даже в гостиных, даже на танцах. Та же Екатерина Быховец писала брату: «Мартынов всегда ходил в черкеске и с кинжалом». И в другой части письма: «Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись… он ужасно самолюбив; карикатуры его беспрестанно прибавлялись». Судя по контексту – это было еще до приезда Лермонтова в Пятигорск – и лишь продолжилось при нем. Но никто из карикатуристов не был вызван на дуэль. Даже ссоры никакой не было.

Наверное, нам давно следует развести в пространстве две грани ситуации: Лермонтов – шутник, дразнилка, со склонностью к клоунаде – такую он взял на себя роль, – мог, в конце концов, спровоцировать кого-то на вызов и «допечь» его шутками. – То, что повторяют многие. В том числе – из тех, кто был приятельски настроен к Лермонтову, – не только сторонние свидетели. И, если Мартынов еще, к тому же, был почему-то зол на собственную судьбу…

Но прицельный выстрел на поражение требует серьезных оснований.

Как бы мы ни относились к Дантесу – в момент дуэли у него не оставалось выбора. Как было сказано в фильме «Последняя дорога» устами Данзаса: «Такой узел с тридцати шагов не рубят»[201].

Дантес метил вполне определенно и подло – в гениталии противника. Хотел отмстить. Попал чуть выше – в низ живота. Но Пушкин тоже был настроен стреляться до смертного исхода.

Лермонтов не собирался стрелять – и демонстрировал это вполне явственно.

> Свой пистолет тогда Евгений,
> Не преставая наступать,
> Стал первый тихо подымать…

Если бы Ленский поднял пистолет «на воздух», как тогда говорили, или отворотил в сторону, – никакой смертельной дуэли не было бы. Но…

> И Ленский, жмуря левый глаз,
> Стал также целить…
> …

Так возникала «воронка дуэли»[202].

Но Лермонтов то ли поднял пистолет на воздух, то ли первым выстрелил – тоже в воздух. Это показывали решительно все, хоть по-разному. Вероятней все-таки выстрелил – это секунданты потом, чтобы как-то обелить Мартынова, сказали, что кто-то из них разрядил лермонтовский пистолет.

Таким образом, Мартынов стрелял в заведомо безоружного человека. Притом давнего товарища…

Это заставляет нас думать. Искать причины там, где мы давно смирились с самыми простыми и неправдоподобными.

Если б мы знали, почему Мартынов уволился из армии в середине февраля 1841-го, мы б, наверное, могли понять, почему он убил Лермонтова летом того же года.

Неудача судьбы! Вот чем пахнет от его неожиданной отставки и вызывающего наряда. Лермонтов поехал на Кавказ не своей волей – а никак не добывать чины. Он мечтал выйти в отставку. Сколько можно судить – Мартынов чины, в первую очередь, и имел в виду, отправляясь на Кавказ.

Но что случилось – неизвестно.

Почему был исключен Лермонтов из «Валерикского» представления (к награде за храбрость), более или менее можно понять. Начальству он был неугоден – и довольно давно. Но почему исключен Мартынов? Офицер он был храбрый, никто не спорит, иначе он не попал бы в представление. На Кавказе, в боях – всегда было кого и за что представлять! Какие за Мартыновым водились грехи?..

Слабо мелькает один – хоть нечетко, без всякой уверенности. Он был игрок – это и после за ним шло. Откуда-то всплывает кличка его «Маркиз де Шулерхоф». Но такая кличка могла быть и просто шутливой, относящейся к завзятому игроку.

В более поздние времена рассказывали о нем. «Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов… но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причем его партнеры ощущали тот холод, который, по-видимому, присущ был самой его натуре». Это приводит Герштейн мнение одного из мемуаристов и передает слово другому: «Некто Ф. Ф. Маурер, владелец богатого московского особняка, подтверждал, что Н. С. Мартынов вел в его доме крупную карточную игру. Маурер заходил даже еще дальше, уверяя, что это было единственной доходной статьей Мартынова»[203].

Если была какая-то признанная нечестной карточная игра… Ну тогда командир полка мог вызвать провинившегося офицера и поставить перед дилеммой: или суд чести, или увольнение из полка по собственному желанию (по семейным обстоятельствам). Мартынов был причислен к Гребенскому казачьему – но был офицером-кавалергардом. Он мог хотеть в этом случае вернуться в свой полк – каким-то смелым поступком: и тогда вспомним опять – дуэль Пушкина, «дело чести полка»… и стихи Лермонтова.

Во всяком случае… Мартынов увольняется из армии «по домашним обстоятельствам». Карьера его рухнула. Дом у него в Москве, но домой он не едет, болтается по Пятигорску злой как черт и в вызывающем наряде – эпиграммы и карикатуры на него множатся – еще до приезда Лермонтова. А тут Лермонтов, буквально, подворачивается под руку, да еще злит его своими насмешками и шуточками. Но они – одна компания, один круг, одна «банда» в конце концов, как они называли сами. Мартынов живет на квартире с Глебовым, а Глебов – друг Лермонтова. Да и вообще – кругом друзья, тут негде зародиться вроде столь смертельной вражде.

Тут что-то не то, не так – или есть еще обстоятельства, коих мы не учитываем.

Из всех объяснений, какие придут со стороны Мартынова, конкретно – из его семьи, всего одно, которому следует уделить внимание. Фраза его сестры, дошедшая до нас – хотя и в пересказе: «Друзья таки раздули ссору!» Как будто в этом роде высказывался и сам Мартынов.

Кто из друзей? Кто именно? Кто был рядом?..

Эмма Герштейн спешно назначила во враги Васильчикова. Посвятила этому целую главу – «Тайный враг» в своей известной книге. Но не убедила.

«Независимый либерал заключил свой рассказ о дуэли обвинением убитого, ссылаясь на его строптивый, беспокойный нрав»[204].

Но увы! утверждениями подобного рода пестрит вся книга «Лермонтов в воспоминаниях современников». Не вся ж она писана неприятелями поэта? Да и, положа руку на сердце: нрав разве не был «строптивым и беспокойным»? Чтоб признать это – вовсе не надо было быть врагом Лермонтова!

Автор приводит еще очень интересную запись в дневнике А. С. Суворина.

«Васильчиков в Английском клубе встретил Мартынова. В клуб надо было рекомендацию. Он спрашивает одного – умер, другого – нет. Кто-то ударяет его по плечу. Обернулся – Мартынов. – Я тебя запишу. – Взял его под руку, говорит: – Заступись, пожалуйста. А то в Петербурге какой-то Мартьянов прямо убийцей меня называет. – Ну как не порадеть! Так и с Пушкиным поступали. Все кавалергарды были за Дантеса». «Запись… сделана со слов П. А. Ефремова, – комментирует Герштейн, – известного издателя и редактора сочинений Пушкина и Лермонтова». Но по записи Суворина нельзя понять – кто сказал в этом диалоге самую главную – последнюю фразу. Мартынов, Васильчиков? Тем более что сама запись – с чьих-то слов. А еще идет это все от «редактора реакционной газеты „Новое время“», на что указывает автор «Судьбы Лермонтова». А Мартьянов, поминаемый здесь, большой поклонник Лермонтова, был одновременно сотрудником газеты Суворина, и Суворин выступает на его стороне. А Васильчиков был либерал и, стало быть – враг газете «Новое время».

Пусть меня простят – никакой враждебности к Лермонтову в мемуарах Васильчикова о дуэли я не нахожу. Так, как он, говорили многие, словно объективируя ситуацию. Не имевший отношения к поединку и явно симпатизирующий Лермонтову человек – вроде А. Н. Муравьева – мог сказать: «Он пал от руки приятеля, который всячески стремился избежать дуэли, но был вынужден драться назойливостью самого Лермонтова». Что

делать! «Таков был общий глас!» Или почти общий.

А непосредственные участники, как в случае с Пушкиным, решили дружно что-то скрыть. Это совершенно определенно. Так вели себя, к сожалению для нас, не только достаточно далекие поэту люди: тот же Васильчиков, – но и самые близкие – Алексей Столыпин (Монго), ближайший к Лермонтову человек. Почему они приняли на себя такую обязанность – столь же непонятно по прошествии времени, как то, почему друзья Пушкина взяли на себя круговую защиту Натальи Николаевны.

Поведение Столыпина, в принципе, объяснить можно: все уже случилось – и нельзя было ничего изменить. (Вроде, по воспоминаниям, когда Мартынов кинулся к убитому, сразу после выстрела, Столыпин сказал ему: «Подите прочь! Вы уже сделали все, что могли!») И, как друг Лермонтова – верно, и идеологически тоже, – он вряд ли верил в какой-нибудь суд, кроме Божьего, и в людскую справедливость. А участвовать в фарсе не стал – как не стал бы и Лермонтов на его месте. Обыденные объяснения тоже существуют – хотя и недостаточные. В первый момент так было решено всеми – частью, от растерянности. А потом все стояли на своем. В дуэли на ролях секундантов участвовало, по меньшей мере, двое или трое людей, уже наказанных властями за те или иные провинности. (Среди них Сергей Трубецкой.) Потому выбрали двоих, чтоб они назвались секундантами. Выбрали из тех, кто не был ни в чем замешан досель: один лечился в Пятигорске от раны, полученной в бою (Глебов), другой был сыном одного из ближайших вельмож Николая I (Васильчиков). Обоим мало что грозило. Оба фактически избежали потом наказания.

Э. Герштейн как повод для ненависти Васильчикова приводит некую эпиграмму, написанную якобы Лермонтовым в Пятигорске, в последний приезд, – (якобы) мелом, (якобы) на сукне карточного стола, (якобы) скопированную потом Чиляевым (домовладельцем) и (якобы) переданную им много лет спустя Мартьянову из «Нового времени» (как видите, сплошное сослагательное наклонение!):[205]

«Если Васильчиков мог порвать с В. Карамзиным за один только намек на покровительство отца, то эпиграмма Лермонтова, ставившая под сомнение либеральные позиции Васильчикова, должна была вызывать его лютую ненависть к автору. Васильчиков мог желать смерти Лермонтова»[206]. Но с Карамзиным Васильчиков порвал – по указанной автором причине, – когда был совсем юн. После он, возможно, научился владеть чувствами. Как можно судить – Васильчиков ругнулся в игре, это стало предметом эпиграммы. А за карточным столом

занимаются игрой – а не либеральными или консервативными позициями. Вообще, неизвестно – принадлежала ли эпиграмма Лермонтову: в собрании она только «приписывается» ему. На карточном столе – мелом? – скорей всего, это был коллективный труд. И потом… Если б каждая эпиграмма того времени вела за собой дуэль со смертельным исходом или тянула к ней – земля была б усыпана трупами – куда больше, чем стихами. Толкователи часто бывают бесконечно далеки от психологии эпохи, о которой толкуют. Потому и делать исчерпывающий вывод: «Васильчиков мог желать смерти Лермонтова» на столь шатких основаниях – просто анекдот. Вообще, доводы почтенного исследователя бывают забавны: «…выясняется, что Васильчиков с Глебовым ехали в дрожках Мартынова, очевидно, они и были его секундантами»[207]. Но они ж были товарищи, одна компания! – и, если у них случилась беда, и двое из них собираются стреляться – они могли ехать к месту дуэли в одних дрожках и не заботясь, кто и чей секундант!

Висковатов, который, в отличие от Эммы Герштейн (и нас с вами), встречался с Васильчиковым лично и говорил с ним о Лермонтове, вынес впечатление качественно иное. «Справедливая и горячая защита Лермонтова делает тем более чести князю Васильчикову, что сам он в свое время немало чувствовал на себе сарказм Лермонтова. Васильчиков и есть тот молодой князь, к которому, по рассказу Боденштедта, в Москве, за общим обедом так сильно приставал Лермонтов со своими сарказмами и шпильками».

Впрочем, дальше Герштейн формулирует очень точно: «Кем-то искусственно взвинченный в предыдущие дни Мартынов…»[208]

Вот и давайте думать – кем! И сперва вернемся к тому, что произошло в гостиной Верзилиных в Пятигорске – под вечер 13 июля.

10

В гостиной были танцы.

«Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык… Несмотря на мои предостережения удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь

Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его „montagnard au grand poignard“ (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал). *Надо же было такому случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово poignard раздалось по всей зале»*.

Последнее событие подчеркнем особо!

«Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: „сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах“ и так быстро отвернулся и отошел, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: „язык мой, враг мой“ Михаил Юрьевич отвечал спокойно: „Это ничего, завтра мы уже будем добрыми друзьями“»[209].

«Надо же было такому случиться» – действительно! А почему игравший прервал игру именно в этот момент? Когда увидел, что Лермонтов что-то говорит Эмилии явно в адрес Мартынова – что тем более вероятно, так как Мартынов стоял непосредственно у рояля вместе с Надин Верзилиной! – Танцевальную музыку умеющие люди играют чаще по слуху, чем по нотам, – и можно спокойно в это время смотреть или хотя бы посматривать по сторонам.

«Ничего злого особенно не говорили, но смешного много…» Так же, как Васильчиков – неизвестно за какие грехи – был назначен врагом Лермонтова, – Сергей Трубецкой был назначен его другом, и так же неизвестно за что. Нет, одно основание было: он был гоним – как Лермонтов. А на Руси любят гонимых. И склонны прощать им все. Хотя из гонимых порой вырастают гонители, или они существуют порой в одном лице – и гонимые, и гонители. Я думаю, прозвище Трубецкого Сергея «miserable» строилось больше всего на его «гонимости».

Сергея Трубецкого, а после и его брата Александра – царь гнал беспощадно, изобретательно и, мы бы сказали, вдохновенно. За Александра Трубецкого царь принялся не сразу – тот долгое время еще был «Бархатом» для его супруги (вряд ли он не знал это прозвище!). Нельзя ж так сразу! Но потом расплатился с ним с лихвой. Тот уехал за границу и попросил разрешения задержаться… Царь один раз позволил с требованием вернуться в краткий срок и уже с угрозой, но во второй раз – отказал, и отказал еще в праве воротиться в страну. (Карьера Александра была сломана еще раньше.) Ему разрешил вернуться в Россию только новый царь Александр II. В дальнейшем Трубецкой оказался уже в Одессе, на заштатных ролях. Генерала ему дали, как бывало, уже в момент отставки.

Это несмотря на почти родственную любовь императорской

семьи к Трубецким: к сестре Марии, к их отцу – князю Василию Трубецкому. – Когда старый князь умер, за его гробом шел эскадрон кавалергардов во главе с императором. Но это не помешало самодержцу осведомляться, на каком основании прибыл с Кавказа его высланный прежде из столицы сын Сергей – кстати, тяжко раненный в бою под Валериком, – и посадить его под домашний арест, хотя тот, вообще-то, приехал проститься с умирающим отцом. И потом государь чуть не каждый день справлялся: когда же Сергей выкатится – то есть отбудет назад?.. Напомним еще раз, что Сергей был участником «приключения на Неве». Вместе с князем Барятинским. Но, как говорил декабрист Лунин (по другому поводу): «Какая разница в наших судьбах!» Барятинский отмылся раной, его возвысили – карьера, фельдмаршал… А про Сергея Трубецкого что можно сказать?.. Ни раны не шли ему в почет, ни удаль. Сам отец, как мы помним, благодарил царя за то, что сынка перевели в армию. Потом его женили на фрейлине Пушкиной – насильно. В дворцовой церкви. (Слухи о ее поведении были самые что ни есть безрадостные.) Потом они с женой расстались – он поспешил на Кавказ… Поздней – увез от мужа молоденькую Жадимировскую – любовников нагнали, кажется, в Грузии, и его препроводили в Алексеевский равелин. Нет, вообще-то, было строгое царствование Николая Павловича, но уж не настолько, чтоб бросать в равелины за увоз чужих жен. Это была все же частная история – не политическая. И если бы всех за такие проказы заточали в равелины… Прожил Сергей недолго – после освобождения был сослан в имение, где при нем, по слухам, жила под видом экономки та самая Жадимировская. Вот все. Наверное, и впрямь несчастный был человек! На сюжет второй части его бурной биографии написан Булатом Окуджавой известный роман «Путешествие дилетантов». Там этот Трубецкой выведен вполне положительно – под именем Мятлева. И лишь где-то вскользь помянуто, что он участвовал в качестве секунданта в дуэли своего друга, замечательного поэта. Только… Его роль в дуэли Лермонтова неясна по сей день, и никто не хотел прояснить ее, и нет никаких оснований считать его другом Лермонтова.

(А про Александра Трубецкого вообще сказано в «Лермонтовской энциклопедии»: «Отношения поэта с Т. стали носить родственный характер с 1839, после женитьбы А. Г. Столыпина на М. В. Трубецкой»).[210]

За что Николай Павлович так гнал братьев Трубецких – Сергея и Александра?..

Верней всего, за пасквиль, посланный Пушкину, – больше не за что было! За пасквиль! Только мстил он, конечно, не за

Пушкина – за себя. В пасквиле был задет он сам и его амурные похождения – а этого он не прощал. Потому, наверное, поначалу так слабо наказал Лермонтова. У них на минуту оказались одни враги – или один враг. А уж после Лермонтов его раздражил – что было, то было.

Но если вспомнить фразу сестры Мартынова: «друзья таки раздули ссору»… Почему в этой фразе мы слышим по сей день лишь попытку обвинения секундантов в неопытности? (Раз они могли допустить такое.) Почему не различаем другие грани и возможности ее звучания?..

Там рядом были, все знают – и вполне зрелые люди: Столыпин, тот же Сергей Трубецкой… кажется, Дорохов был – чуть не самый известный дуэлянт Российской армии – и уж точно друг Лермонтову. Сестра хочет защитить брата – это понятно. И обвиняет тех, кто подбил его на эту дуэль. Но, если вспомнить, что кто-то все время подстраивал – или пытался подстроить все лермонтовские поединки – начиная с де Баранта. …Провоцировал Колюбакина, Есакова в Ставрополе, еще кого-то. Уже непосредственно в Пятигорске – Лисаневича – который, кстати, тоже ухаживал за Надей Верзилиной. Что ж тут удивляться?.. А потом этот Некто взялся за Мартынова – и на сей раз удалось. Почему удалось – другой вопрос, и ответ, конечно – в самом Мартынове.

И еще – вокруг самой дуэли – одни сплошные выдумки. Мы говорили в самом начале о полном отсутствии истинных свидетельств и документов! Секунданты вынуждены были уклониться от признаний в участии, и вся вина и необходимость что-то объяснять легла на плечи действительно самых молодых и неопытных: Васильчикова и Глебова. Только Столыпин-Монго (это заметил Б. Эйхенбаум), находясь за границей, через два года, в Париже, в 1843 году – когда он издавал на французском переведенный им роман «Герой нашего времени», – дал такие сведения в редакционную справку к изданию: «Г. Лермонтов недавно погиб на дуэли, причины которой остались неясными…» Скорей всего, дал именно он, знавший решительно все, – больше некому было.

«Неясными», слышите? Для Монго-Столыпина они были «неясны» – почему ж они так ясны для нас?..

Заметьте, Васильчиков пытался что-то сказать о последствиях для Лермонтова «известных стихов „А вы, надменные потомки“» – и словно останавливал себя. Дважды:

«*…с того дня он стал в некоторые, если не неприязненные, то холодные отношения к товарищам Дантеса, убийцы Пушкина… и даже в том полку, где он служил, его любили немногие».*

«*…в Кавалергардском полку, офицеры которого сочли своим долгом (par esprit de corps) при дуэли Пушкина с Дантесом сторону иностранного выходца противу русского поэта, ему не прощали его смелой оды по смерти Пушкина…*»

«В 37-м все кавалергарды были за Дантеса!» Фразу, явно сказанную Мартыновым, никак нельзя приписать Васильчикову. Да не мог Васильчиков так сказать – в 70-е годы или поздней – не мог! Если б даже думал так! Это значило подмочить свою репутацию прогрессиста и либерального деятеля. Сильно подмочить! Зачем ему было идти на это?..

Гроб с надписью «Борх» на чьем-то празднестве бросил в воду Трубецкой Сергей – со товарищи. И пасквиль на Пушкина был подписан тем же именем: «Непременный секретарь Борх».

И нигде, нигде ровным счетом не сказано, что Трубецкой Сергей по вопросу о дуэли Пушкина имел какие-то иные взгляды, чем большинство офицеров его полка – все его «Красное море». Чем его родной брат – Трубецкой Александр.

«Тихий» Сергей Трубецкой, так и не всплывший на поверхность события, гонимый царем, секундант – якобы Лермонтова, якобы его друг – стоял, верней всего, серым кардиналом за громкой дуэлью Лермонтова с Мартыновым, приведшей к гибели крупнейшего после Пушкина поэта России, и всего четыре с половиной года спустя после гибели первого.

Может, был самый момент напомнить – в чем-то провинившемуся по службе Мартынову, что он кавалергард, и что-нибудь ввернуть о чести полка и намекнуть, что все может измениться… если он снимет этот плевок со знамени: «А вы, надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов…» – и как-то отмстить тому, кто нанес это оскорбление. Тем более что ему самому, Мартынову, нет покоя от этого приставалы, и он сам иногда готов его прибить.

Что было в сам момент дуэли, объяснялось долго и объясняется до сих пор, но правды мы не узнаем все равно.

Дуэлью якобы командовал Глебов – из тех, кто назвал себя в качестве секундантов. А из тех, кто не назвал – то есть *на самом деле*, вероятно, командовал Столыпин. Он был опытен в этих делах. Глебов такого опыта не имел. Он был уже заслуженный офицер, только молодой.

Противники разошлись «по крайний след». Лермонтов поднял пистолет «на воздух» – как тогда говорили. Кстати – как в дуэли с де Барантом!

Мартынов тоже медлил. И помедлил даже на счет «три». После которого или дуэль прекращается, или возобновляется. И тут кто-то из секундантов закричал – якобы не оговоренное в

условиях дуэли: «Стреляйте, или я вас разведу!» И Лермонтов, вероятно, успел выстрелить в воздух, а Мартынов – в него и убил его. Вот все. Этот, катализирующий действие, возглас приписывался долго Столыпину. Со слов того же Васильчикова. В устах Столыпина эти слова сразу теряли свой роковой смысл: становились случайностью, трагической обмолвкой, волнением друга.

Но в своем «интервью» Семевскому, которое недавно было расшифровано Е. Н. Рябовым, в 1869 году Васильчиков утверждал другое: Глебов был якобы единственным секундантом обоих противников, но распоряжался на дуэли Столыпин, и будто бы Трубецкой выкрикнул то самое роковое «стреляйте!», трагически изменившее ход поединка… «Нам остается только догадываться, какие причины побудили князя (Васильчикова. – *Б. Г.*) со временем изменить свои показания»[211]. Речь идет о замене в воспоминаниях Трубецкого на Столыпина. Может, потому, что последнего уж никак нельзя было обвинить в недостаточно хорошем отношении к Лермонтову?

Похоже, что Васильчиков вдруг не удержался. Когда назвал имя Трубецкого. Но его намеки на друзей Дантеса и на отношение к Лермонтову ряда офицеров Кавалергардского полка – после известного стихотворения – говорят за себя сами.

И предоставим снова слово Вяземскому. Мы что-то давно их не слышали: ни его, ни старого сплетника Булгакова…

Вяземский писал А. Я. Булгакову: «В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Луи-Филиппа. Второй раз не дают промаха. Грустно».

А в Записной книжке – нечто более подробное и явственное:

«По случаю дуэли Лермонтова кн. Александр Николаевич Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между кн. Голицыным и Шепелевым. Голицын был убит, и не совсем правильно, по крайней мере, в городе говорили и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в поединке»[212].

Речь, несомненно, идет о подстроенной кем-то или наведенной кем-то издалека – одной из дуэлей прошлого.

Булгаков А. Я., в свой черед, заносил в дневник: «Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить его зверский поступок. Ежели он хотел, чтобы дуэль совершилась, ему следовало сказать Лермонтову: извольте опять зарядить ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить. Так поступил бы благородный человек, а Мартынов поступил, как убийца»[213].

Старый почтмейстер эпоху знал и законы эпохи знал.

Слишком много чужих писем прочитал на своем веку. Он полагал, как и мы в данном случае, что в выстреле Лермонтова в сторону или в пистолете, поднятом на воздух, не было добавочного оскорбления Мартынову (как думают и нынче некоторые исследователи). А было только выражение намерения. Сигнал противнику – что пора прекратить ссору… Что он, Лермонтов, во всяком случае – длить поединок не намерен.

Говорят, когда убили Лермонтова, старый Ермолов сказал: «Уж я бы не спустил этому Мартынову. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать, да, вынувши часы, считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком»[214].

Когда Лермонтов написал свое «Прибавление» – 16 строк: «А вы, надменные потомки…» – наверное, тоже можно было, «вынувши часы, считать, через сколько времени» его не будет в живых.

Две дуэли – Пушкина и Лермонтова, как ни странно, связаны меж собой, не могут быть не связаны. Они два звена в странной и страшной цепи…

11

В письмах Дантеса удивляет почти полная, однозначная пустота интересов. Он пишет о сорочках, о мебели, о сплетнях… ни одно сообщение даже о смерти кого-то из знакомых не окрашено элементарным сочувствием, жалостью, искренней печалью. Ни одной книги, кажется, не упомянуто, кроме «Истории герцогов Бургундских», – да и то на столах у других: оттого что приезжает автор книги, новый французский посол де Барант, известный историк и автор книги. Свет это занимает. Ни одного даже впечатления театрального, кроме, разве, пересказа хамской шутки с гондоном, посланным кавалергардами актрисе на сцену. Он пишет всерьез об одной своей родственнице, не слишком счастливой в браке: «плата за титул графини никогда не бывает слишком дорогой». И любовь жены Пушкина к Дантесу – это загадка. Загадка женская или загадка судьбы – неизвестно. Может, загадка жизни?.. Один из мрачных законов бытия? Так или иначе, победа Дантеса над Пушкиным – как в женском сердце, так и в светских гостиных, в светских симпатиях – была победой принципиальной и грозной в своей принципиальности. Победой новых критериев, которых держалась в тот момент элита общества.

А Мартынов, что ж Мартынов…

В своей поздней «исповеди» – мы уже говорили, – он не

продвинулся на шаг – дальше их знакомства в юнкерской школе.

Он даже отдает дань Лермонтову: «Умственное развитие его было настолько выше других товарищей, что и параллели между ними провести невозможно». Но есть один момент – вроде незначащий, – на котором он останавливается подробно: «…он был ловок в физических упражнениях, крепко сидел на лошади; но, как в наше время преимущественно обращали внимание на посадку, а он был сложен дурно, не мог быть красив на лошади, и на ординарцы его не посылали… По пешему фронту Лермонтов был очень плох: те же причины, что и в конном строю, потому что пешком его фигура еще менее выносила критику…»[215]

Смутное ощущение, что в этом тайном сопоставлении внешности – фигуры своей и своего противника – а пишет это совсем не молодой, едва ли не старый человек, – скрыта какая-то тайна. Одна из тайн психологии времени – может, всех времен. А сам «он был фатоват и сознавал свою красоту и прекрасное сложение».

Есть такой *комплекс неполноценности* – рослых красивых мужчин. Весьма заметных в свете. Имеющих успех у прекрасного пола. Им кажется, что и прочие их качества, внутренние задатки – должны быть столь же очевидны для всех и, конечно, существуют на самом деле. И если вдруг они начинают ощущать недостаток этих качеств в себе… А если еще кто-нибудь со стороны им укажет на этот недостаток и если к тому ж это будут дамы – или кто-то значительный в этом мире… И если попутно им вдруг не удастся судьба в каком-то главном месте, где они ждали удачи, – где все говорило за то, что эта удача будет… – Тут наступает полный крах. Очень часто. И можно наступить на горло самому себе, и люди начинают совершать поступки, которых сами от себя не ждали…

Что-то заставило Мартынова уволиться из армии – верно, был проступок, не был? – по сей день неизвестно. Но крушение карьеры! Мы приводили рассказ Костенецкого – каким он видел Мартынова до отставки и каким встретил его в Пятигорске, немного времени спустя. Но он был уверен в себе – в своей значительности. Женщины не бывают столь самоуверенны, как мужчины определенного вида и строя души.

Он недоволен собой. Повторим – он блуждает по Пятигорску, злой как черт… его все раздражает. «Я понял, как надо писать, чтобы нравилось: писать надо странно!» – говорил один писатель.

Мартынов ведет себя странно – и ставит эту «странность» во главу угла. Это – новый способ привлечь внимание. Его огромный кинжал – его странность, особость. Как и весь его особый наряд. Но и это вызывает только карикатуры.

И тут является Лермонтов – поры своей короткой и бурной славы. Второе издание «Героя нашего времени». Книга у всех на руках. Вон даже царь читал, как теперь выяснилось – еще первое издание. Не нравилось – но читал. И всюду говорят вслед – это Лермонтов! Князь Голицын, который держится вообще-то наособицу, надменно, – зовет его к себе. Его зазывают к себе, волнуются его мнением. Он нарасхват. А кто он?.. Лермонтов? Маёшка, горбун. В юнкерской школе была кличка: «Маойш». Сутулый, небольшого роста. Невидный. Мартынов хорошо помнит – «…он был сложен дурно, не мог быть красив на лошади, и на ординарцы его не посылали…» И «по пешему фронту Лермонтов был очень плох»… Как такое стряслось?.. Такая разница в положении?

Хотя… «Кто скажет, что Сальери гордый был // Когда-нибудь завистником презренным?.. Никто!»

А тут этот несчастный (Маёшка, горбун!) еще лезет под руку со своими насмешками. А кто-то рядом возмущается вместе с Мартыновым. Говорит, что это нельзя так оставить (такое говорили и Лисаневичу, и Колюбакину… Раньше, должно быть, – де Баранту). Кто-то сочувствует, напутствует… А может, напоминает о чести полка например (Кавалергардского)? И даже, возможно, о том, что пора вернуться в полк, нужно вернуть уважение друзей. И что четыре года назад «все кавалергарды были за Дантеса»! (Врут! – не все. Но многие!) А «водяное общество» вокруг, в Пятигорске, как нарочно, упивается Лермонтовым. Тот устраивает бал в гроте Дианы – и даже вопреки мнению самого князя Голицына. И вообще ведет себя как хозяин и предводитель дружеского клана.

«**Солёный.** Нет, мне положительно странно, почему это барону можно, а мне нельзя?.. (*Вынимает флакон с духами и прыскается.*) …Хорошо-с, так и запишем. Мысль эту можно б боле пояснить, но боюсь, как бы гусей не раздразнить… (*Глядя на Тузенбаха.*) Цып, цып, цып…»

Чехов что-то понимал в дуэли Лермонтова – что-то чувствовал как художник в этой истории. Он вообще любил Лермонтова. Кроме того, его занимал сам образ дуэли. Как институции. Как действа между людьми («Дуэль», «Три сестры»). И он неслучайно придал своему ужасающему Солёному в «Трех сестрах» эту постоянную «лермонтовскую» ассоциацию…

Это всегдашнее – его, Солёного: «цып, цып, цып…» Или: «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел…»

«Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова… Я даже немножко похож на Лермонтова… как говорят… (*Достает из кармана флакон с духами и прыскает*

на руки.)»

Ирина – о нем: «Я не люблю и боюсь этого вашего Солёного. Он говорит одни глупости… (Вспомним еще раз письмо Кати Быховец!)

Тузенбах. Странный он человек… Мне и жаль его, и досадно, но больше жаль. Мне кажется, он застенчив… Когда мы вдвоем с ним, то он бывает очень умен и ласков, а в обществе он грубый человек, бретёр…»

Мартынов вряд ли понял, что хотел сказать Лермонтов своим Печориным. Может, не понимал до конца – ни Печорина, ни Грушницкого. Но, возможно, он хотел показать – кто здесь Печорин, а кто Грушницкий?..

«Я позволю себе не много, я только подстрелю его, как вальдшнепа!..»

Лермонтова убил пародийный персонаж. В какой-то мере – пародия на него самого.

Убиение одного за другим – Пушкина, потом Лермонтова – в дуэли, с разницей всего в четыре с половиной года, означало, как говорят нынешние политологи, – «крушение элит». Или «элиты». «Элита» страны, которая не выносит тяжести собственных гениев, погибает сама и подводит к краю гибели все общество. Собственно, что бы сегодня ни говорили о декабре 1825-го, – крушение элиты тогдашней России началось с разгрома 14 декабря. Быстро начал меняться духовный уровень элиты. Пошло падение уровней. Наметились крушение ценностей и смена критериев в обществе…

14 декабря 1825-го одним из первых на помощь царю пришел Кавалергардский полк – во главе со смелым, честным и, верно, в чем-то недалеким графом Бенкендорфом. – Но он будет также и единственный человек, который непосредственно в момент казни на кронверке Петропавловской крепости – слабо, но выразит свой протест против второго повешения. Что, несомненно, запомнится ему в потомстве – хотя… кто скажет, что помнит сегодня еще – а что будет помнить завтра и через много лет забывчивое потомство? И главное, – что ему *захочется* помнить?

Почти сразу после казни на кронверке 13 июля 1826-го Кавалергардский полк устроил бал в честь нового шефа полка – правящей императрицы Александры Федоровны. Кому-то пришло в голову отмыться от этого дня. Очиститься.

И те, кто понимал что-нибудь в дворянских приличиях, мог сказать про себя, что рухнула эпоха. (Должно быть, и говорили. Но глас столь давнего времени плохо доходит до нас. Не всегда!) – Ибо в тот день не просто казнили смертью пятерых и была гражданская казнь многих людей, но погибли на виселице *два бывших офицера полка*: Павел Пестель и Михаил Бестужев-Рюмин. И были подвергнуты гражданской казни еще несколько его офицеров…

Именно *из этого полка* немного времени спустя выйдут – и Дантес, и Мартынов.

«Почему барону можно, а мне нельзя?..»

История – очень точная наука. Ее связи впечатляют.

«Цып, цып, цып…»

Санкт-Петербург 2011–2012

Плач по Лермонтову, или Белые олени
Драма в двух действиях, с Прологом

Персонажи:

Полковник из штаба войск Кавказской линии — *за 50 лет*
Пушкин Лев Сергеевич — *майор, 37 лет*
Дорохов Руфин Иванович — *прапорщик, 35 лет*
Барклай де Толли — *военный врач, без возрасту*
Столыпин Алексей Аркадьевич (Монго) – *капитан, 25 лет*
Молодая дама — *лет 25-ти (она же* после Дама в летах)
Младшая сестра ее — *лет 17-ти, но выглядит старше*
Офицерик — *лет 20-ти* (после **Г-н в летах)**
Карпов — *унтер-офицер, 46 лет*
Тиран Александр Францевич — *молодой подполковник*
Пожогин-Отрашкевич — *ничем не примечательный господин*
Найтаки — *ресторатор, без возрасту*
Приезжий офицер
Игроки: *1-й игрок, 2-й игрок, 3-й игрок*
Сэр Генри Миллс — *полковник английской службы (тоже игрок)*
Человек, пишущий письмо
Половой
Адмиральша — *старуха в егерском мундире*
Неизвестный — *без возрасту*
Человек, пишущий письмо
Юнкер Бенкендорф
Лицо с трубкой

Обыденный пролог

По двум углам сцены – два уголка интерьера. Два сколка некой прошедшей эпохи (гостиная, кабинет?). Почти зеркально друг другу, как половинки ореха, разнесенные в пространстве.

В одном углу – МУЖСКОЙ ГОЛОС, потом сам – ГОСПОДИН В ЛЕТАХ; одет по-домашнему… с длинной гнутой трубкой во рту – продолжением лица. Светский душка, выпивоха, любитель пожить… Пуская дым кольцами – незримому собеседнику:

– …Белые олени?.. Нет. А что это?.. Нет. Не помню… Разное говорили! Мало что говорили! Разве упомнишь – что говорили тогда?

Жаль, жены нет дома! Вышла за покупками… У ней свои воспоминания.

У каждого – ах-ха! – свои воспоминания!.. Вы, вообще, бывали там?..

Помню как теперь – белые ступени лестницы… нет, пардон! – лестницы к галерее как раз еще не было!..

Городок еще был miser – с ладонь! – плохонький, деревянный! Но с амбициями…

То есть некоторые – иные находили его даже прекрасным!..

Ну… Он вполне изящно – террасами – полагался к реке. И улочки вились затейливо и, сказать, прихотливо…

А так… Что там было такого?.. Гостиница? Гошпиталь?..

(Помолчав.) Белые олени?.. Помню ванны на склоне!.. И белые тела на бурой воде… Купальня была общею…. Как в Вавилоне! Без различию полу, возрасту и прав состояния… Вообще, нравы были просты! Как в Аркадии… Нравы par improvisation! По вдохновению, то есть…

Голос женский – в другом углу, потом – ДАМА В ЛЕТАХ, с вязаньем на коленях. И тоже – кому-то, кого не видим мы:

– …Как же, как же! – кто бы стал купаться с ним!..

Это он вам говорил?.. *(Покачала головой.)* Сколько жила там – не слыхивала, чтоб купальня была общей!..

Г-Н В ЛЕТАХ *(мечтательно)*… Танцы на бульваре. На открытом воздухе!..

…Бульвар, конечно, громко – бульвар! – всего несколько шагов! Но тень давал – в жаркий день тень давал!.. Вот там и танцевали! Там и оркестр! – само собой – из отставных… А захотели под крышу – пожалте! В гостиницу Найтаки – тут,

рядом. Сдвинем столы в ресторации. Перетащим оркестр. И – чем не бал?.. Par improvisation! Дам приглашаем прямо с бульвару. Без нарядов. То есть без церемонии, конечно!..

Вы запомните на случай! – Гостиница Найтаки. Это был местный клоб… – Все первые новости!

Ах, Найтаки, Найтаки!.. *(Вздохнул о чем-то.)*

ДАМА В ЛЕТАХ. То есть как так – в ресторацию без наряду? Что – домой, что ли, переодеться нельзя? Дом далек?.. *(Покачала головой. Подумав, повязав.)* И бульвар был вполне порядочный уже, и тень давал в жаркий день… *(Смотрит в одну точку.)*

Он кончался полукружьем таким… Площадкой. *(Очертила круг.)* С которой – никуда ходу не было… На ней и танцевали. Там и оркестр… *(Еще помолчав.)* Вы ничего не слышите? А я – слышу!..

Дальняя музыка.

ГОСПОДИН В ЛЕТАХ *(осторожно)*. А разве бывают белые олени?..

ДАМА В ЛЕТАХ. Зря мужчины не вяжут – это успокаивает!.

Г-Н В ЛЕТАХ *(в задумчивости)*. Погодите! Что там белого было?.. Беседка на бульваре… Влюбленным – хоть до утра – рай в шалаше!.. И другая, побольше – в горах, на склоне… Павильон – «Эолова арфа». *(Очертил круг.)* Восьмигранник такой – белые колонны. Арфа там, сказывали, в самом деле, была – но чтоб петь… Не знаю. Говорят… Во всяком случае – мне не пела! *(Усмехнулся.)*

ДАМА В ЛЕТАХ. Эолова арфа? Пела! Еще как!.. Многие говорят! Конечно – когда ветер и когда бывала настроена!.. *(После паузы, покачав головой.)* Не глядите на нас! Мы сильно менялись! И в нас уже мало того, прошедшего!..

Г-Н В ЛЕТАХ. …И еще та беседка, что князь Голицын – его светлость – устроил для своего дня рождения в казенном саду. К тому самому балу, который не состоялся… Вы это запомните! Бал не состоялся!..

ДАМА В ЛЕТАХ *(энергично)*. То есть как не состоялся?.. Состоялся! Только три дня спустя! Когда все уже произошло. Мне даже не хотелось идти на этот бал!..

А девицы наши так ждали его, так готовились! Вечно так! Когда чего-то ждешь, к чему-то готовишься…

Г-Н В ЛЕТАХ *(мечтательно)*. Вижу, как теперь… белые платья в зелени, на бульваре. – Девушки в белом. Дамы… Мужчины – если статские. Офицеры – если не при полку! Белые фонари! Что вы хотите? Белый цвет – это цвет лета, юга. Как белый флаг – это

флаг поражения. А?.. Ха-ха! И высокие тени стремятся куда-то – аж к вершинам дерев! Вы читали Веревкина?..

…Покуда он говорит – возникает в глубине бульвар курортного городка в горах – «площадка, с которой никуда ходу нет»… И пары кружатся в зелени – собственно, сперва просто – белые тени среди черных теней…

И музыка, музыка… И павильон «Эолова арфа», парящий в выси, едва освещенный. «Восьмигранник такой». Башня на скале…

Г-Н В ЛЕТАХ *(расчувствовавшись).* Танцевали всегда – только со своими барышнями. Как же, как же! Что, спросим, нашим – у стенки стоять?..

Мы нашим барышням, бывало – кто победней – и платьица даривали! К балу или к празднику… Материи на платье! Чтоб им перед заезжими щеголихами – не краснеть! Термалам там, мовь, канаус в ход шли!.. Термалам, термалам… *(Почти напел.)*

ДАМА В ЛЕТАХ *(резко).* Такого не было – чтоб платьица даривать… Бедненькие, знаете, редко бывали…

И потом… Термалам… Разве это – материя для лета?..

Г-Н В ЛЕТАХ *(оживленно).* Что? Термалам? Материя такая!..

ДАМА В ЛЕТАХ *(вяжет ожесточенно. Сосчитала ряды).* Три-пять-семь-одиннадцать… *(Подняла голову).* Знаете, что это – вязанье? Это – кладбище снов!

Пауза. Музыка.

Г-Н В ЛЕТАХ. …И черкесы к тому ж!.. Боюсь, это и привлекало многих – черкесы!.. Модный курорт средь враждебного краю!.. *(С хохотком.)* Это – греет кровь, а?.. Особенно дам!

Пауза.

ДАМА В ЛЕТАХ *(покачав головой).* …И при чем тут черкесы? Все сбирались сюда – потому что им нравилось здесь.

(Все больше воодушевляясь.) Городок был весь чистенький, свежий… Точно умытый – дождями с гор. И он так изящно – террасами – спускался к реке. К Подкумку. И улочки благородно вились. У меня там вся юность прошла. Там и замуж пошла. По второму разу… Первый был в Петербурге!.. *(Пояснила.)*

И он уж – порядочный был – городок: разросся на глазах.

Гостиница, гошпиталь…

А какое общество съезжалось на воды! Что тебе столицы!.. Так и называли: водяное общество! Водяное… Водяныя…

А не в сезон – тишина, пустота… Только раненые офицеры.

Гошпиталь был большой – чуть не главный в крае. Чуть не больше Георгиевского!..

Г-Н В ЛЕТАХ *(показал туда, где танцуют).* Вот где-то там – я! Представляете себе?..

(Кричит туда.) Бал не состоится! Бал не состоится!..

(Оборвал себя.) Что это я?.. Чему я, собственно, радуюсь? Что тот бал – тогда! – еще может состояться или не состояться?..

ДАМА В ЛЕТАХ. …А белые олени – это не умственности разные?.. *(Неопределенный жест у лба.)* Теперь это модно!.. *(Подумала. Вдруг с тем же злорадством, что и он.)* Нет, глядите на нас! Глядите! – тот, о ком вы спрашиваете, был бы сейчас таким же, как мы!..

Пауза. Чьи-то легкие шаги на авансцене…

Г-Н В ЛЕТАХ *(куда-то в сторону).* Дорогая – это ты?.. А у нас – гость!.. *(Понижая голос.)* Какой-то неизвестный… *(Громко.)* По поводу той самой истории в Пятигорске – помнишь?

ДАМА В ЛЕТАХ *(нагибаясь и шаря под креслами).* Ой!.. А сейчас – все запуталось! И клубок пропал!.. Вам придется мне помочь!.. *(Разогнулась – протягивает распяленное на руках вязанье.)* Держите? Так… держите… Держите!.. А теперь – раскручивайте, раскручивайте!..

Пауза…

Два уголка интерьера – две половинки ореха – уходят в полутьму или исчезают совсем. Остаются пары на бульваре… Свет за это время менялся на них – дважды или трижды – от вечернего – масляных фонарей – к дневному, яркому, а потом опять – к сумеречному, синеватому, приправленному нависшей грозой…

Пары танцуют под оркестр, пока каждая из них не обнаруживает, в свой черед, что рядом с ними есть третий: дождь… И тогда одна за другой исчезают с бульвара – спрыгивают с площадки, с которой «никуда ходу нет». (Мужчины подают руку дамам.) К музыке примешивается шум дождя. А потом затихает оркестр и – только дождь…

Чей-то голос во тьме. Не женский и не мужской. Зовет:

– Найтаки!

Шум дождя.

Некто (женщина? мужчина?) прошелся по сцене взад и вперед

– в мужском костюме для верховой езды и с хлыстом под мышкой – крича:

– Найтаки!.. *(Кажется, все-таки – женщина.)*

ГОЛОСА *(там, где звучали раньше):*

Г-Н В ЛЕТАХ. Мерлини? Генеральша? Та, что отразила черкесский набег в отсутствие мужа-коменданта?..

ДАМА В ЛЕТАХ *(утвердительно).* Мерлини! Та, что отразила черкесский набег!..

Г-Н В ЛЕТАХ. По слухам, по слухам!

ДАМА В ЛЕТАХ. У нее даже были награды от государя!

Г-Н В ЛЕТАХ. По слухам, по слухам! Никто не видел!..

Женщина в мужском наряде для верховой езды еще прошла по сцене, клича:

– Найтаки!

И когда вылез некто, кто, видно, и есть Найтаки, – со всей широтой ему:

– Найтаки, что я говорила – что бал не состоится?!

Действие первое

Ресторация Найтаки в Пятигорске…

Общий вид. Сбоку лестница без перил, с одной площадкой, ведущая наверх, в номера гостиницы.

Алтарем этого «храма», где-то в глубине (стойки еще нет), служит выгородка «бочками сороковыми», за которыми возвышается одинокая конторка хозяина. Из-за нее обычно Найтаки обозревает свое поле действия.

Пусто. Не очень светло…

Тут никого не ждали нынче – оттого часть столов составлена, даже перевернута.

В стороне, верно в некой изоляции от остального зала (за колоннами или на возвышении), – игорные столы с зеленым сукном. Занят лишь один. Четверо ИГРОКОВ в вист… Среди них выделяется массивной спиной, графленной в крупную клетку шотландским пледом, – СЭР ГЕНРИ МИЛЛС, полковник английской службы. (Может, зритель так и не увидит его лица – только спина и плед.)

По другую сторону, где составлены столы, – за одним, за пустым, как бедные родственники, приткнулись МУЗЫКАНТЫ, которых загнал сюда с бульвара дождь…

По действию – конец дня или начало вечера. Но грозовые тучи и дождь сместили этот час по свету куда-то ниже по шкале суток.

…Пока не осветилась сцена – смачный звук поцелуя и столь же смачный – шлепка.

Потом, при свете, молоденькая ***горничная*** *с унылым лицом оправляет наряд, а в стороне, едва отскочив от нее, героически подкручивает ус игрушечный ОФИЦЕРИК, только что из-под дождя – черные следы на мундире.*

ГОЛОС Г-НА В ЛЕТАХ *(восторженно).* Это – я, видите?.. От шельмец! – черный ус!.. *(И тотчас кому-то.)* Дорогая – этого ты, конечно, не видела!..

…На сцене – крутит ус ОФИЦЕРИК, уходит ГОРНИЧНАЯ, потирая ушибленное место, смеется ГЕНЕРАЛЬША, стоя с НАЙТАКИ. И, когда девушка на ходу минует их – генеральша так же, мужским жестом, отпускает ей шлепка и хохочет по-мужски. (Большая, жирная старуха, затянутая в егерское, как семнадцатилетний юнкер.)

ГОРНИЧНАЯ. Ай!.. *(Инстинктивно метнулась к Найтаки).*

НАЙТАКИ *(сделал большие глаза).* Нычего не подэлаешь! Работа такая!..

ГОРНИЧНАЯ, непонятая, уходит…

ОФИЦЕРИК. Вот так мы и живем!.. *(Вздохнул с философией.)* Найтаки – вели рюмочку красного! *(Свободным тоном.)* Нет, белого, белого – промок до нитки!.. *(Потрогал мокрые рукава на бицепсах.)*

Постоял, подумал и побрел к игрокам…

ГЕНЕРАЛЬША *(кивнув на Офицерика).* Первый!.. Вскорости, можешь не сомневаться, к тебе будет сегодня весь Пятигорск! Бал не состоится!

НАЙТАКИ *(уклончиво).* Па-атрасающе!..

ГЕНЕРАЛЬША. А все почему?.. *(С хохотком.)* Суеты было много! *(Берет Найтаки под локоть и уводит его. На ходу…)* В горах такое делается! Словно пушки бьют!.. Мой Россинант дважды чуть не скатился! Уздит правой… Вели задать ему овса!

Прошли.

ГОЛОС Г-НА В ЛЕТАХ. …а белые олени – это не что-нибудь карточное?..

Городок называли «Кавказский Монако»!.. *Он*, между прочим, о ком вы спрашиваете, – по-моему, он и назвал!

Помню, как теперь, – сэр Генри Миллс, полковник английской службы… Известный игрок по тем временам!..

Спина, покрытая английским пледом, пошевелилась.

СЭР ГЕНРИ МИЛЛС *(по-английски, неразборчиво, одному из игроков. Мелькнули два знакомых слова).*

1-й ИГРОК. …что он говорит?..

ОФИЦЕРИК *(с любезностью).* Мне послышалось – что-то: «леди и джентльмены»…

2-й ИГРОК *(сухо).* Было сказано – «уж эти мне леди и джентльмены в одном лице!» *(Отчеканивая слова.)*

3-й ИГРОК поднял голову и взглянул на ОФИЦЕРИКА, но промолчал. Ему явно мешают…

1-й ИГРОК *(хихикнул).* Вот что значит – отразить один черкесский набег!

3-й *(поморщился).* По слухам, по слухам!

2-й. Как? А награды? А письмо государя?..

3-й. По слухам, по слухам! А кто их видел?.. *(Меланхолически.)*

ОФИЦЕРИК за спиной у него прыснул… И ИГРОК медлительно повернулся к нему:

– Молодой человек, – что на улице? Дождь?..

ОФИЦЕРИК *(с готовностью).* Еще какой! Слышите?..

Сильный удар грома…

3-й *(так же медленно отвернулся от него).* Нет. Не слышу. *(И вернулся к игре.)*

Пауза.

2-й *(глядя в карты.)* Н-да… Говорят они Игнашке – вынимайка ассигнашки!

Пауза.

1-й. А правда, что в Англии – мужчины носят юбки?..

2-й. Не в Англии, по-моему – в Шотландии. Scotland! *(англ.)*

СЭР ГЕНРИ МИЛЛС. Quoi, quoi? *(по-французски – желая включиться в разговор.)*

2-й ИГРОК склонился к нему и сказал несколько фраз по-английски… СЭР ГЕНРИ сделал круглые глаза, отвалился на стуле и захохотал…

СЭР ГЕНРИ МИЛЛС. But not in England. In Scotland.

1-й ИГРОК. Что он говорит?..

2-й *(переводя).* …что, во-первых, не в Англии – а в Шотландии!

СЭР ГЕНРИ МИЛЛС *(добавил).* This is a celtic kilt, a folk dress!

2-й. …это – кельтская юбка. Национальный наряд.

СЭР ГЕНРИ МИЛЛС. Highlanders wear it. Convenient to walk in mountains.

2-й. Это – одежда горцев. В горах это удобно.

1-й. В горах?.. Наши дамы в горах в своих нарядах – и шагу

ступить не могут!.. *(Изобразил.)* «Вашу руку! – Прошу! – Ах, ах!»

СЭР ГЕНРИ МИЛЛС. This is a celtic kilt. Very short!.. I bet a shall overstake any of you in any mountain path wearing the kilt!

2-й. …Это – кельтская юбка. Короткая!.. *(Усмехнулся.)* Он говорит, что готов в этой юбке – на пари – обогнать любого из нас, на любой горной тропе!.. Если мы, само собой, будем в чем есть!..

СЭР ГЕНРИ МИЛЛС *(жест – ребром ладони у бедер).* This is a celtic kilt. Very short, up to the knee…

2-й. …это – кельтская юбка. Короткая… Вот – до сих пор! *(Показал.)*

1-й. Представьте себе – наших дам из общества… и… вот до сих! *(Закатил глаза.)*

2-й. Ну нет… Пришлось бы менять всю начинку… Всю внутреннюю архитектуру. Все эти ленты, подвязки…

3-й. Тотчас обнаружатся ошибки Творца. Погрешности – в деталях!..

1-й. Нет – но не все дамы!.. Но – некоторые!..

ОФИЦЕРИК *(мечтательно).* Это было бы прекрасно!

3-й *(не оборачиваясь).* Это было бы ужасно, молодой человек! Это было бы ужасно! Тайна разомкнула уста – но что она скажет?.. Брр! *(Поежился.)*

2-й ИГРОК стал что-то вполголоса переводить СЭРУ ГЕНРИ МИЛЛСУ.

3-й *(напомнил).* Вист, господа!..

А СЭР ГЕНРИ делал большие глаза и смеялся, но, когда первый игрок снёс очередную карту…

СЭР ГЕНРИ МИЛЛС *(поднял брови).* Рэнонс?..

1-й. Где?.. *(Бледнея, уставился в свои карты.)*

3-й *(1-му, сухо).* Вы уверены, что не ошиблись?..

СЭР ГЕНРИ МИЛЛС. Рэнонс! *(Уже утвердительно.)* …неверно снесенная карта в висте!

Какой-то ПОДВЫПИВШИЙ ГОСПОДИН, тоже случившийся подле, у стола – он недавно вошел, – с непонятным восторгом…

– Проклятый англичанин!..

3-й *(спокойно).* Да… Ренонс! Карте место!

1-й ИГРОК сносит новую карту.

3-й *(тем же тоном, невыразительно)*. Бито! Все. Считайте кочки!

1-й *(растерянно)*. У меня была коронка сам-три – шесть *point* наверх – и еще за онёры!..

2-й *(с усмешкой)*. Говорят они Игнашке – вынимай-ка ассигнашки!

Пауза… В игре запись – и новая сдача…

ОФИЦЕРИК *(разочарованно)*. Ах! А был такой интересный разговор!

3-й ИГРОК *(ему)*. Молодой человек – мы играем по крупной!

Пауза. Подошел НАЙТАКИ с подносом, на котором одна рюмка.

НАЙТАКИ. Вашу румочку, г-н прапорщик!

ОФИЦЕРИК *(небрежно)*. Ладно! Запишешь за мной!.. *(Взял рюмку.)*

НАЙТАКИ. Сэмь пышем – два запомынаем! *(Осматривается, ища кого-то глазами.)* Куда всэ подэвалысь?.. *(Офицерику)*. Сам сэбэ хозяин – сам половой! Сдохну с этыми людми!.. *(И отправился дальше.)*

ОФИЦЕРИК стоит с рюмкой в руке позади игроков, наблюдая игру.

ПОДВЫПИВШИЙ г – н *(у окна)*. Проклятый англичанин!.. *(Уже неизвестно чему.)*

2-й ИГРОК *(в игре)*. Говорят они Игнашке – вынимай-ка ассигнашки!

ПОДВЫПИВШИЙ г – н *(стоит у окна, проходящему Найтаки)*. Найтаки, хочешь пари?..

НАЙТАКИ. Нэт, нэ хочу! *(Но остановился.)*

ПОДВЫПИВШИЙ г-н. Отдаю даром! Через полчаса – к тебе будет весь Пятигорск! Ха-ха! Бал не состоится!

*НАЙТАКИ (*понимающе). Румочку?..

ПОДВЫПИВШИЙ г-н. Нет. Две! *(Показал на пальцах.)* Мне нужно выпить с одним господином… (*Подмигнул Найтаки. Крикнул.*) Человек!

НАЙТАКИ. Нэт. Людей нэт. Сам Найтаки! Хорошо у менэ ресторация – нэ бордэль!..

Уходит…

С улицы вошел молодой УНТЕР-ОФИЦЕР нагловатого вида.

Сбросил мокрую накидку на стуле, у дверей. Прошелся независимо…

ПОДВЫПИВШИЙ г-н *(у окна)*. А-а, Карпов! Почему же ты не на бале?

УНТЕР-ОФИЦЕР усмехнулся, но промолчал… ПОДВЫПИВШИЙ взял его за пуговицу:

– Знаешь, что смешно?.. Там фонари развешаны – белые, бумажные! *(И тотчас – тоном власть имущего.)* Ну как там у нас?..

КАРПОВ *(холодно)*. Где-с?

ПОДВЫПИВШИЙ г-н. Как? На театре, в Чечне – на театре войны! – Есть сводки?.. *(Тот же тон.)*

КАРПОВ *(медленно)*. А как же… В Чечне? Воюем пророка!.. *(С выражением.)*

ПОДВЫПИВШИЙ г-н. Шамиля?.. Ужасная бестия – этот пророк! Когда мы его возьмем?.. *(Вдруг понял, что его дурачат.)* Но мы уж сколько лет воюем его!..

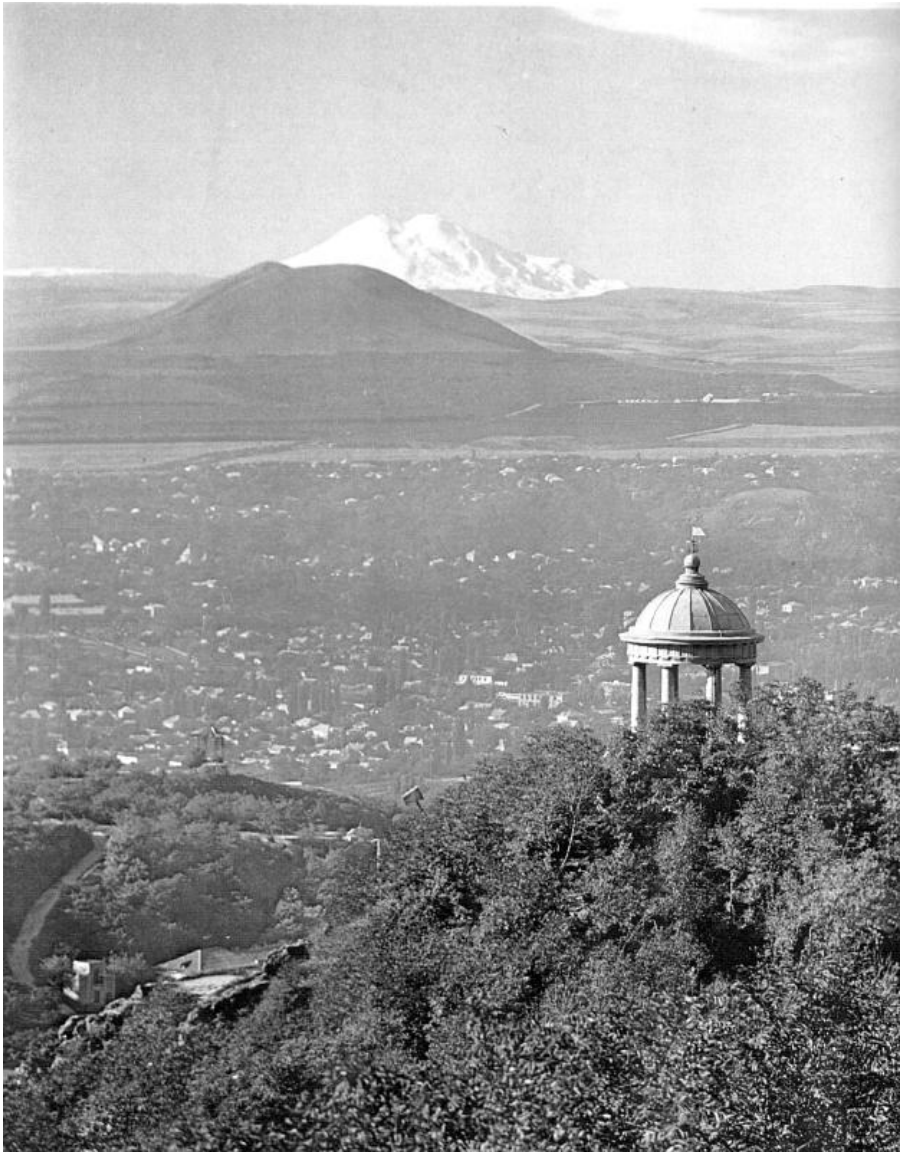
КАРПОВ *(холодно)*. Не знаю-с! Не помню. Я – человек молодой!

Поискал кого-то глазами и направился к игральным столам.

ОФИЦЕРИК. Карпов! *(Обрадованно. Протянул руку.)*

3-й ИГРОК пошевелился на голос – и ОФИЦЕРИК:

– Тсс! *(Себе и Карпову.)*



Вид Эоловой арфы. Пятигорск (фотография)

Отошли в сторонку…

– Что слышно?..

КАРПОВ. На театре войны?..

ОФИЦЕРИК. Нет. В комендантском управлении!

КАРПОВ. Мыши!

ОФИЦЕРИК. Старо!

КАРПОВ. И я им то же самое говорю! Грызут-с!..

ОФИЦЕРИК. Ваши бумаги?.. Ах, вы – писаришки! Штафирки! Ну и что вы предпринимаете?.. *(Смеется.)*

КАРПОВ. Некоторые – носим при себе!.. *(Достал из-за отворота мундира какую-то бумагу.)* Любопытствуете?..

ОФИЦЕРИК *(улыбнулся. Повертел в руках).* А что это?..

КАРПОВ. У вас сыскалась уже какая-нибудь болезнь?..

ОФИЦЕРИК развернул бумагу и пробежал глазами… Возвращая Карпову (капризно):

– Ну, это относится к тем двоим – к Столыпину с другом, а не ко мне!..

КАРПОВ *(замедленно).* А в штабе обращено внимание, что многие офицеры – во фронте и при полку не состоят, а на пути застряли здесь!

ОФИЦЕРИК *(блаженно).* У источников! Спросим – чего?..

КАРПОВ. Полежите в гошпитале!

ОФИЦЕРИК *(отмахиваясь).* В здешний не попасть – забит, сам знаешь – вон раненых выписывают долеживать дома!..

КАРПОВ. Ну не здесь – так в Георгиевской!

ОФИЦЕРИК *(капризно).* А в Георгиевской – скучно!

КАРПОВ. Ну тогда – воюйте!..

И отошел от него… А ОФИЦЕРИК постоял грустный и вернулся наблюдать игру. НАЙТАКИ несет поднос с двумя рюмками, столкнулся с Карповым.

НАЙТАКИ. Почтэние, Карпов!.. Почтэние! Какие вэсти?

КАРПОВ *(самодовольно).* Как для кого! Вот дождь – для тебя!.. Знаешь грамоте?

…Достал из-за пазухи и протянул НАЙТАКИ ту же бумагу. Не выпуская из рук…

НАЙТАКИ *(прочел).* У-у!.. *(Закачал головой.)*

КАРПОВ. То-то и оно! *(И тут же – тоном власть имущего.)* Ты бы хоть сказал сыграть на музыке, что ль!.. Тихо! Уши режет!.. *(Жест рукой у уха.)*

НАЙТАКИ направился к ПОДВЫПИВШЕМУ Г-НУ у окна. Поставил поднос – на столике возле.

ПОДВЫПИВШИЙ г-н. Запишешь за мной!

НАЙТАКИ. Два пышем – сэмь запомынаем!

ПОДВЫПИВШИЙ г-н. Ах, Найтаки, Найтаки! *(Развязно.)* Признайся, сколько ты заработал на нашем брате – честном

водяном?..

НАЙТАКИ. Бог всо выдыт!.. *(Возвел очи к небу.)*

ПОДВЫПИВШИЙ г-н. Ах, Найтаки, Найтаки!.. *(Соображает что-то.)* Скажи, а ты слышал когда-нибудь, чтоб эта Эолова арфа – пела?.. *(Показал за окно.)*

НАЙТАКИ. Что? А-а… Нэ! Нэ удостоился!.. Нэ знаю, нэ знаю… Во всяком случае – мнэ нэ пела!

Оставляет его.

ПОДВЫПИВШИЙ г-н сам с собой – составил две рюмки на столе. Оглядел. Поменял местами.

ПОДВЫПИВШИЙ г-н *(поднял одну рюмку)*. Ну что, князь Голицын, светлейший, ваша светлость? Бал?.. День рождения?.. Павильон в казенном саду? Бумажные фонари?.. А меня – пригласил, нет?.. Ваше здоровье! Многие лета!

Чокнулся со второй рюмкой. Выпил…
Удар грома. Поднял палец наставительно:

– О-о! Божий суд! Небесный гром!

Шум дождя…
НАЙТАКИ, идя через сад, остановился. Как охотник, выследивший дичь, полез под составленные столы и тащит оттуда за огромную, грязно-розовую, босую ногу – ражего, рыжего детину-полового, что мирно себе под столами спал.

НАЙТАКИ. Пшол! Пшол! *(Замахал руками на парня.)*

…Тот стоит перед ним, досматривая сон.

– Сдохну с этыми людми! Сдохну! Сдохну!.. *(Помолчал. Успокаиваясь.)* Бедный государ импэратор! У него завэдэние побольше моего. (*Парень стоит перед ним.)* Пшол, пшол! *(Замахал руками.)*

ПОЛОВОЙ двинулся сонно… НАЙТАКИ (вслед):

– Румочку г-ну диригенту! По румочке гаспадам музыкантам! Нэт! Гаспадыну диригенту – две румочки!.. Сдохну, сдохну!.. *(И пошел в другую сторону.)*

Господин у окна остановил полового…

ПОДВЫПИВШИЙ г-н *(половому).* Любезный! Ты слышал, скажи, чтоб эта чертова арфа – пела?..

ПОЛОВОЙ *(досматривая сон).* Чё?.. Эх, дядя! *(И потопал дальше.)*

МУЗЫКАНТЫ зашевелились. Достали инструменты…

1-й *(спросил).* То, что хотели играть у князя?..

2-й *(поправил).* То, что нам дал князь!..

Из-за пазух появляются ноты…

3-й. Ноты подмокли?..

2-й. Нет. Не очень! *(Вздохнул.)* Сколько помню себя – играю по чужим нотам!..

4-й *(видно, дирижер).* А у тебя – что другое есть за душой?..

2-й. У меня, положим, есть!

4-й *(постучал смычком).* С ноты «ля»!

2-й *(поморщился).* Нельзя ли тише?..

3-й *(ему).* В миноре?..

1-й. Как в миноре? Я только что начал в ма…

4-й *(усмехнулся).* Это он – в миноре, а играть – в мажоре! Начали!..

Музыка.

Почти одновременно – женский визг. Это где-то в углу КАРПОВ притиснул ДУНЯШУ (та же горничная).

ДУНЯША. Пусти! *(Вырвалась.)* Ты еще!.. *(Оправляет наряд.)*

КАРПОВ. Што-с? Я для вас недостаточно хорош?.. *(Взял ее за подбородок.)* А между прочим, сударыня… между прочим! – с господами, коих вы допускаете… – за одним столом и на короткой ноге!.. *(Уходит с достоинством.)*

С улицы вошли двое: невысокий, немолодой УНТЕР-ОФИЦЕР – опираясь на палку, впрочем, скорей, из щегольства (легко); и рослый молодой ПОДПОЛКОВНИК, который почтительно в дверях пропустил унтер-офицера.

Сбрасывают накидки.

УНТЕР-ОФИЦЕР. Вот – тихо, тепло… и теплая музыка!.. Все-таки ужасно сыро! *(Поежился.)* Говорил – все в итоге окажемся у

Найтаки!

НАЙТАКИ – уже бежит навстречу вошедшим.

НАЙТАКИ. Почтэние, г-н Тиран! Мылости прошу!..

ПОДПОЛКОВНИК *(поморщился).* Тиран, Найтаки! Тиран!.. И просил тебя, Найтаки – по имени-отчеству!

НАЙТАКИ. Виноват, Александр Францевич!.. Виноват, Николай Иванович! *(Унтер-офицеру.)* Просим! Николай Иванович – ваше мэсто свободно!

Вновь прибывшие вошли в зал и где-то сбоку (чуть в глубине) заняли кресла у камина, который не топится (летний вечер). Притом также заняли, нарушая субординацию: сперва – унтер-офицер, потом подполковник – подвинул свое кресло к его…

УНТЕР-ОФИЦЕР *(усаживаясь).* Смешно?.. Я всегда сажусь к камину. Даже если он не топится!.. *(Помолчал.)* Я это место выбрал еще там! Там, где я был! Я думал тогда: если когда-нибудь мне судьба – вернуться в Центральную Россию…

(Еще помолчал.) Я там продрог, знаете! Там, где я был. Промерз на всю жизнь! Никогда не представлял, что можно так продрогнуть!..

Блаженно вытянулся и вытянул ноги – к холодной решетке.

Пауза. Музыка… Спросил:

– А где все?.. Где наши друзья?..

ПОДПОЛКОВНИК *(как-то нехотя).* Не знаю… Я, признаться, отложился последние дни!.. Явятся, верно! Не преминут!.. *(Помолчал.)* Я, грешный человек, как раз успел подумать: странно!.. Можно так тихо сидеть и беседовать – под тихую музыку. И говорить о чувствительном. *(Усмехнулся.)* Вот кто-то войдет – и все кончится!

УНТЕР-ОФИЦЕР. Почему? Станет шумно?..

ПОДПОЛКОВНИК *(усмехнулся).* Хотите пари?.. Сперва войдет Миша и скажет: «Тираны мира – трепещите!» При этом он сделает жест – вот так!.. *(Указательным пальцем ткнул себя в живот).* Потом – другие, вслед ему, раз пять или шесть за вечер… Не меньше – бьюсь об заклад! *(Усмехнулся.)* Покуда не сыщется другая мишень!..

Я – мишень удобная!.. *(Усмехнулся.)* Человек с фамилией «Тиран». В наши гуманные времена!

УНТЕР-ОФИЦЕР. Ну, Александр Францевич, ну, милый! Ну

можно ли всерьез принимать такие вещи?..

ПОДПОЛКОВНИК. Можно! *(С неожиданным жаром.)* Не замечали?.. Со стороны это, верно, походит на рой слепней, облепивших вола! И каждый должен притворяться, что у него – воловья шкура! Это – правило игры! Но у меня – не воловья шкура!..

УНТЕР-ОФИЦЕР *(смеясь, но так, чтобы смех его успокаивал, а не обижал).* Тогда… как говорили наши предки: «Пренебреги!» – Пренебрегите!..

ПОДПОЛКОВНИК. Мои предки! *(С усмешкой.)* Что думали они – мои предки? Ваши тоже, кстати!.. *(Пожал плечами.)* Иметь чувствительную душу и фамилию Тиран!.. Во времена всеобщей публичности и общественности!..

УНТЕР-ОФИЦЕР. Тогда – смиритесь… Смирение! Смирение! И перестанешь замечать!..

ПОДПОЛКОВНИК. Но если не желаешь быть ни палачом, ни жертвой!..

УНТЕР-ОФИЦЕР *(улыбается дружески).* Смирение! Смирение! Это говорю вам я – бывший бунтовщик!..

Пауза. Сидят в креслах – глубоко вдвинувшись в кресла – чуть не полулежа…

ПОДПОЛКОВНИК. Карпов!.. *(Увидев приближающегося Карпова.)*

УНТЕР-ОФИЦЕР. …и с таким видом – будто он точно знает, как окончить кавказскую войну!..

…Подошел КАРПОВ, и УНТЕР-ОФИЦЕР – подавая ему руку, – из кресел, тоном старшего, беседующего с детьми, но с важными детьми:

– Ка-арпов! *(Протянул.)* Клянусь Богом, вы с чем-то пожаловали!.. А? Не так?.. Клянусь Богом – у вас что-то за душой!..

КАРПОВ *(пытаясь впасть в тон).* Скорей – за пазухой! *(Полез. Задержал руку.)*

УНТЕР-ОФИЦЕР *(протяжно).* Ка-амень?.. Ка-ар-пов!.. *(С укором.)* Я не терплю камней за пазухой!.. Давайте-давайте!..

КАРПОВ *(вкрадчиво).* У вас уже сыскалась какая-нибудь болезнь?

УНТЕР-ОФИЦЕР. Карпов! Я – пожилой человек! Я боюсь, когда долго держат камень за пазухой!.. *(Карпов подал бумагу, и Унтер-офицер быстро кинул ее себе на колени… Подполковнику.)*

Ну как вам нравится? Писаря! У них даже камни за пазухой – бумажные! *(Читает. После паузы.)* Ой! *(Потер ногу под коленом.)* У меня сразу заныла нога! Читайте!.. *(Перекинул подполковнику.)* Я так и думал!..

ПОДПОЛКОВНИК *(пробежав бумагу глазами)*. Ну и что?.. Ничего особенного… *(Неуверенным тоном.)* Во всяком случае – это относится к тем двоим. К Столыпину и к Мише!

УНТЕР-ОФИЦЕР. Это все, что вы вычитали?.. *(Потер под коленом.)* Теперь понимаю, почему на Руси за одного битого… *(Показал на себя.)* – двух небитых дают!..

Прочтите еще!..

ПОДПОЛКОВНИК *(сухо)*. Не понял!.. *(Но стал читать вслух – с пропусками.)* «…Не видя из представленных вами… свидетельств за номерами… чтобы Нижегородского драгунского капитану Столыпину и Тенгинского пехотного поручику такому-то… непременно нужно было пользоваться Кавказскими минеральными водами… немедленно, с получением сего…» *(Поднял голову.)* Тут ясно сказано, по-моему, – кому!

УНТЕР-ОФИЦЕР. Там сказано еще: «напротив усматривая»…

ПОДПОЛКОВНИК *(вновь пробежал глазами)*. Да. «…и напротив усматривая, что болезнь их может быть излечена и другими средствами…»

УНТЕР-ОФИЦЕР. О-о! *(Наставительно поднял палец.)* Меня не проведешь! Я – мудрый, как муха!..

ПОДПОЛКОВНИК. Не понимаю! *(Но все ж прочел еще фразу.)* «…по уважению, что Пятигорский гошпиталь и без того полон больными офицерами, которым действительно необходимо…»

УНТЕР-ОФИЦЕР. Вот это самое!.. Да! Страшные вещи вы рассказываете, Карпов!.. *(В прежнем тоне.)*

КАРПОВ. Но я ж ничего не сказал!..

УНТЕР-ОФИЦЕР. Как? Мне послышалось?.. Вы говорили без умолку – что это только первая ласточка!.. Не так?..

КАРПОВ. Примерно!..

УНТЕР-ОФИЦЕР. …за ней прилетят и другие!.. Ибо одна ласточка – еще не делает весны! А начальство не делает ничего обособленно… Мы-то с вами это знаем! *(Объединил жестом себя и Карпова.)*

КАРПОВ. Да. Так! В этом роде!..

УНТЕР-ОФИЦЕР. Вот видите! Страшные вещи вы рассказываете, Карпов!

КАРПОВ *(с усмешкой)*. Но я же ничего не говорю!..

УНТЕР-ОФИЦЕР. Еще бы! Вы просто кричите! Бог свидетель!.. Уже не говоря про нас с Александром Францевичем!

Все слышали? – что скоро, возможно, теперь жди комиссии из

штаба… которая рассмотрит – всем ли офицерам, что не прибыли почему-либо к месту службы и так далее, на театре войны – так уж обязательно пребывание здесь… мм… и пользование минеральными водами… Или же… *(Выделил жестом и интонацией.)* «напротив, усматривая, что болезнь их может быть излечена и другими средствами…» *(Рассмеялся.)*

КАРПОВ *(искренне удивлен)*. Откуда вы знаете?..

УНТЕР-ОФИЦЕР *(рассеянно)*. Ах, Карпов! Я ж сказал – я мудрый, как муха!.. *(Поморщился.)* Вот-с! *(Вздохнул.)* И городок Пятигорск опустеет. Одни только – раненые в боях! Ну и… *(Обернулся к Карпову.)* Вы уже сообщили эту весть вашему дружку Найтаки?.. Его это касается в первую голову! Он остается без клиентов! *(Снова меняя тон.)* Жаль!

А я только пригрелся… *(Потер под коленом.)* Опять мерзнуть в палатке…

КАРПОВ *(ехидно)*. Но кто-то же должен – воевать Пророка?!..

Поклонился, уходит.

УНТЕР-ОФИЦЕР *(усмехнулся)*. А он – неглуп! *(Подполковнику. Уже без Карпова.)*

ПОДПОЛКОВНИК. Понаслышке скорей! Но слышал много! Тут – чего не услышишь!..

УНТЕР-ОФИЦЕР. Вы его недооцениваете!..

ПОДПОЛКОВНИК. Подражает кому-то!..

УНТЕР-ОФИЦЕР. Кому-кому… вам! Вам всем!.. Но это означает, что он когда-нибудь сможет и заменить вас! Увы!..

ПОДПОЛКОВНИК. Вы что-то загадки! Я так не понимаю!

УНТЕР-ОФИЦЕР. Вы его недооцениваете! *(Рассмеялся.)* Не забывайте – я мудрый, как муха!.. Притом муха, однажды уже утонувшая в молоке!..

Пауза. Сидят, отвалившись в креслах. Музыка…

Вошел еще посетитель (с улицы). Как все, сбросил накидку у дверей. Проходит в зал… В мундире, что сидит на нем как статское… Седоват, с брюшком… И черты – кого-то мучительно напоминают. Что-то знакомое… Как неудавшийся портрет, про который все ж говорят: «Есть сходство!»

Подошел к ПОДПОЛКОВНИКУ и УНТЕР-ОФИЦЕРУ у камина. И сказал – без выражения:

– А-а, вы здесь!.. И ты – Тиран, враг тиранов!..

Подвинул табурет или пуфик и опустился подле. Серьезен –

как бывают пьяные.

ПОДПОЛКОВНИК *(Унтер-офицеру).* Ну что я вам говорил? *(Поморщился.)*

ВОШЕДШИЙ *(не замечая).* Не понимаю – куда все подевались?.. *(Капризно.)* Битый час рыщу по всему Пятигорску и не встретил ни одного замечательного человека! Где Дорохов? Его-то я просто жду!.. Где Миша?.. Где Столыпин, черт побери?.. Где угрюмый майор – он же Черкес?.. Где этот демон в отставке?.. *(Иронический жест.)* Тссс!.. Он не любит, когда его так зовут! Не буду!.. У них с Мишей даже вышла какая-то ссора из-за этого. Не слышали?.. Где все?.. (*Тот же тон – капризный, чуть театральный. Огляделся.)* Послушайте – что они там играют?.. *(Про музыкантов… И тотчас.)* Куда все подевались?..

ПОДПОЛКОВНИК. Не знаю. Я отложился. Как Греция от Турции! *(Усмехнулся сухо.)*

ВОШЕДШИЙ *(живо).* Да? Давно? Что-то случилось? Опять какие-то секреты?.. Но ты учти: я – твой друг!.. И вообще… *(Махнул рукой.)* Найтаки! *(Зовет.)* Найтаки! *(И – жест двумя пальцами, означающий – рюмку.)*

УНТЕР-ОФИЦЕР *(взял его за локоть).* Разрешите мне, как старшему… Пока не следует!

ВОШЕДШИЙ. Вы думаете? Может быть! *(Вздохнул.)* Не надо!.. *(Крикнул слабо.)* Сам не пойму, где это я успел?.. *(Соображает).* Сперва обедали… Обед! Но там были дамы. Это – несерьезно!.. Потом… после обеда… Я заходил домой или не заходил?.. *(Вспоминая.)* А-а!.. Ну да! Я искал тех двоих – Столыпина и Мишу… Зашел к ним. Не застал. Хотел оставить записку… *(Смешок.)* И нашел на столе – заместо письменного прибору… Ох-ти! Ужасно хотелось пить! Но не стану же я пить тухлую воду?.. *(Без перехода.)* Куда все подевались?..

УНТЕР-ОФИЦЕР. Скоро будут сюда. Бал будто не состоится!..

ВОШЕДШИЙ *(махнул рукой).* Не говорите! Там такое делается! *(Пьяно хихикнул.)* Бедный князь Голицын!.. И намокли все бумажные фонари!

ПОДПОЛКОВНИК *(с усмешкой).* Бедный князь – не надо было ему ссориться с Мишей!

УНТЕР-ОФИЦЕР. Бедный князь – не надо было ссориться с Богом!

ВОШЕДШИЙ. Почему?..

УНТЕР-ОФИЦЕР. Бог не терпит чьего-то чересчур возвышения! Что?.. Чье-то тезоименитство? Городской праздник? Павильон – в казенном саду? А про меня забыли? Дождь! *(Широкий жест. Насмешливо.)* Смирение, смирение! Ниже головы,

ниже, молодые люди! Я давно вам говорю.

Отчаянный шум – где-то наверху – крики, топот ног. НАЙТАКИ за своей конторкой поднял голову:

– Эй, ты!.. *(Позвал куда-то в полутьму.)*

Из-за бочек вылез тот же парень – ПОЛОВОЙ…

НАЙТАКИ. Пады, пасматры!.. *(И пообещал.)* Сдохну с этими людми!.. *(Глядя, как парень, лениво переваливаясь, уходит.)*

Крики стихли, удаляясь…
Музыка примолкшего было оркестра.

ВОШЕДШИЙ *(капризно)*. Что они там играют?..

УНТЕР-ОФИЦЕР *(пожал плечами)*. Вероятно, то, что сбирались играть при публике! Не одно и то же – что перед пустотой!.. *(Думает о чем-то.)*

ВОШЕДШИЙ *(понял и посожалел)*. Ах, ах!.. Кстати, я видел Мишу! В Железноводске… Нынче утром! Представьте – он был там! То есть утром – он там был! Тсс!.. Это – секрет! Побей меня Бог – чей и от кого!..

Мы были целой компанией. С дамами!.. Пардон! Вы же не заставите меня называть – с кем именно?..

Нет, все чисто, c'est propre! – обед и протчая… Обедали. В Каррасе…

Поехали поутру – верхами, прелестная кавалькада! – вчетвером… Две дамы, я… И маленький племянник великого инквизитора – как называет Миша.

Между прочим – вполне милый юноша – этот Бенкендорф! Говорят, в какую-то боковую ветвь рода!..

Вы слыхали анекдот – про оптимиста и пессимиста?.. *(Сплошняком.)* Потом обедали. В колонии. И Миша с нами. Он сказал, что Столыпин не велел ему являться в Пятигорск до пяти. То есть ввечеру! Но теперь уже седьмой!.. Почему? Бог весть! У них же со Столыпиным – вечные секреты! Может, от меня? *(Вздохнул без обиды.)* Так что – он уж, верно, здесь!.. *(Помолчал.)* Я что-то важное хотел… Да! Про Мишу! С этим надо что-то делать! Вы замечали – как он ест? Клянусь! Его ждет участь Крылова!.. Он не ест – он жрет, извините! Он заглатывает, как удав. Не жуя… Он набрасывается на пищу, как будто это ему в первый или в последний раз!.. Он умрет от обжорства – попомните мое слово!

Вскорости это будет слон, проглотивший соловья! Нет… Слон, в котором потонет соловей!.. *(Несколько выспренне.)* Нельзя жить духом и столько есть! Брат всегда так говорил! Он пережевывал пищу. К 37-ми у него не было и намека на брюшко… *(Похлопал себя по животу.)* Не то что у меня!

С утра он садился в ванну со льдом… Потом – стоял на голове, чтоб вызвать накоп крови на голову. И раз по двадцати втягивал в себя живот. Его выучил в Арзруме какой-то брахман или дервиш! Он вечно возился с нищими!.. *(Поморщился.)* Брат считал, что даже ночь принадлежит вдохновению. И только самое утро – наслаждению…

А Миша… Это ж какой-то монах-расстрига! Рабле! Гаргантюа и Пантагрюэль! *(Почти без паузы.)* Ладно! Бог с ним – с Мишей! У него все впереди… Я – за Дуняшей!

Поднялся и пошел за Дуняшей, которая как раз проходила мимо. Идет, ускоряя шаг, чуть танцующей походкой.

УНТЕР-ОФИЦЕР *(пожал плечами, Подполковнику).* Эта Дуняша – какое-то общее помешательство! Вот вы… современный человек! Что в ней находят?..

ПОДПОЛКОВНИК. Ничего! *(Усмехнулся.)* Но, может, современный человек и стремится к ничему?..

УНТЕР-ОФИЦЕР. Не знаю… Я тоже был молод. Не знаю! Простите! Но в ней даже простой похотливости нет!.. Анемия одна. Уныние и лень.

ПОДПОЛКОВНИК. Но, может, это как раз всех и раздразнивает?..

НАЙТАКИ *(из-за конторки, завидев горничную).* Дуняха, тетёха, дурра, – где подол трэпала?!

И горничная, что шла до того будто по какому-то невидимому лучу, свернула и пошла по другому – так же сонно… А следовавший за ней селадон остался перед пустотой. Постоял в недоумении – в центре зала и пошел к окнам, где…

ПОДВЫПИВШИЙ Г-Н *(ему).* Лео! Послушай, Лео!..

ТОТ *(остановился).* А разве мы с вами пили на «ты»? *(Пожал плечами.)* Не помню… Может! *(Потер лоб, будто вспоминая.)*

ПОДВЫПИВШИЙ г-н. Лео! Скажи! Эта арфа – в горах – пела когда-нибудь?

ТОТ. Какая?.. А-а!.. Не знаю. Арфа? Я знал одну арфистку… Сафо! Чистая Сафо!..

ПОДВЫПИВШИЙ Г-Н. Все обман! И арфа – обман! Все –

обман!..

ВТОРОЙ. Зато я слушал некогда – мадемуазель Жорж!..

ПОДВЫПИВШИЙ Г-Н. Все обман! Жорж – дурак!..

ВТОРОЙ. Жорж?.. Подлец! *(То ли подыгрывая, то ли смеясь.)* А про эту арфу – в павильоне – мне что-то говорили… Что-то слишком поэтическое! Белые колонны… Нет, не помню! Но не могло же у родителей достать на двоих?..

ПОДВЫПИВШИЙ Г-Н *(не поняв).* Лео!

ВТОРОЙ *(поправил.)* Лайон! *(Серьезно.)* Так меня еще звали. Лайон! На английский манер!

ПОДВЫПИВШИЙ Г-Н *(со вкусом).* Лайон! Да. Это хорошо.

ВТОРОЙ *(кивнул).* Это почти – Байрон! Это – поэтично!..

ПОДВЫПИВШИЙ Г-Н *(положил руку ему на плечо).* Лайон!

ВТОРОЙ *(тоже облапил его).* А можно еще проще, интимней… Лев Сергеевич! Или – господин майор!..

Коротко хмыкнул, весьма довольный произведенным впечатлением. Отошел.

И, глядя, как он идет через залу – чуть покачиваясь, с преувеличенным достоинством пьяного, – УНТЕР-ОФИЦЕР и ПОДПОЛКОВНИК в креслах…

УНТЕР-ОФИЦЕР. Что может быть ужасней, чем пьяный Пушкин!

ПОДПОЛКОВНИК *(в защиту).* Он – не Пушкин, он только – брат Пушкина!..

А ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН отошел к игрокам и стал наблюдать игру. Офицерик дружески улыбнулся ему…

Шум и крики – вновь откуда-то сверху.

ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ. Кто там?.. *(Поднял голову.)*

ОФИЦЕРИК *(улыбнулся).* Ангелы, наверное!..

…Высокие голоса и визг… Из-за бочек вылазит прежний ***половой*** *и с глупейшей улыбкой подходит к Найтаки.*

НАЙТАКИ. Ну?.. *(Считает на счетах.)*

ПОЛОВОЙ *(с улыбкой).* А то, что Гогуа – сын Ашика – бьет по мордам твоего младшенького Василикоса! И так уж он его охлестывает, родимца, так охлестывает – почем зря!

НАЙТАКИ. А ты что?!..

ПОЛОВОЙ *(осклабясь).* Что я? Ты ж сказал – смотри! Я смотрел!..

НАЙТАКИ *(сбрасывая счеты).* Он нэ сын Ашика, а сын Шайтана!.. *(И бежит через залу, потрясая в потолок кулаками.)* Оставь его, слышишь?! Ах ты, мэнгрэл нысчасный!.. Он – чыстый хрыстьянин! Он – грэк!..

Убегает… Смех немногих присутствующих. Визг смолкает.

Пауза. Музыка.

Ввалилась с улицы компания молодых людей и дам. Шумно… Сбрасывают накидки у дверей. Какая-то ДЕВУШКА (громко):

– Ну конечно! Тут – музыка и танцуют!..

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Но никто не танцует!

ДЕВУШКА. Так будут танцевать!

Молодая женщина, в которой, правда, с трудом можно узнать ДАМУ В ЛЕТАХ – совсем юной барышне, хмурого виду, какой бывает у детей, балованных старшими и страдающих от сознания своей избалованности…

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Ты, разумеется, промокла! *(В утвердительной форме.)* Что скажет мама?..

Барышня повела плечами и не отозвалась. А МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА, видно старшая сестра, – МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ (2-му), что случился рядом:

– Доктора находят, что у ней – слабая грудь. Доктор Барклай…

2-й МОЛ. ЧЕЛОВЕК. Де Толли?

СТАРШАЯ СЕСТРА. А разве есть другой доктор Барклай?..

2-й МОЛ. ЧЕЛОВЕК*(смеясь).* Не знаю…

МЛАДШАЯ СЕСТРА*(вдруг резко).* У меня грудь – о-о!.. Колокол! *(И бухнула себя в грудь кулаком. Прошла вперед.)*

2-й МОЛ. ЧЕЛОВЕК *(ей вслед).* Очаровательное существо!

СТАРШАЯ. Так женитесь! А-а!.. Боитесь?! *(…И когда молодой человек предложил ей руку:)* Мама считает, что я отбиваю у ней поклонников!.. *(Кивнув на сестру.)*

Прошли в зал. Огляделись…

– Где все, интересно?.. Левушку вижу. Тирана вижу!.. Ах, еще Николай Иванович!.. (*Младшей, что подождала их при входе.*) Где все?

Та пожала плечами – думает о чем-то.

1-я ДЕВУШКА – входя, тоже рассеянно оглядела зал… Спутнику:

– Никого не вижу!.. А-а, Левушка! *(Издали помахала рукой. Ищет кого-то глазами.)*

…Уже спешит НАЙТАКИ навстречу гостям. И музыканты, ободрившись, настраивают инструменты…

КТО-ТО. Музыку! Музыку!

2-й МУЗЫКАНТ *(ворчливо)*. Будет музыка!

1-я ДЕВУШКА. Так и знала, что в итоге – все окажемся здесь!

1-й МОЛ. ЧЕЛОВЕК. Неминуемо! *(Смеется.)* Неминуемое место!..

4-й МУЗЫКАНТ *(своим)*. С третьей цифры!

Играют… И пары двинулись в круг – одна за другой. Девушка (1-я) смотрит куда-то в сторону…

МОЛ. ЧЕЛОВЕК *(после паузы, ей)*. О чем задумались – можно спросить?..

ДЕВУШКА *(улыбнулась)*. А о чем может думать благородная, воспитанная девушка, когда такой дождь за окном?..

Разумеется, об усталых путниках – на какой-нибудь одинокой каменистой дороге. Представляете, что там делается?

МОЛ. ЧЕЛОВЕК. Разрешите?.. *(Пригласил ее.)*

ДЕВУШКА. Охотно! *(Церемонно кладет ему руку на плечо.)* Дмитревский! Я буду вашей дамой сегодня!.. Ваших карих глаз – все равно нет!..

МОЛ. ЧЕЛОВЕК *(жалобно)*. Не надо!..

ДЕВУШКА. Почему?.. Люблю кавалеров, которые влюблены в других! С ними так легко и ни к чему не обязывает. Дмитревский, мне с вами всегда легко!..

Уходят танцевать.

МУЗЫКАНТЫ (меж собой).

2-й МУЗЫКАНТ *(глядя на танцующих)*. Ну пошли – пошли животами вертеть!

4-й *(наставительно)*. Это – музыка желудочная!.. Для телесных движений. Иль для телодвижений.

2-й. Помню, на базаре в Тифлисе – дервиш, чудак, нищий – змею учил. Под музыку. И она все поднималась животом,

поднималась!.. И двигала, двигала… ну точно как они!

3-й. А змея – где у ней живот?

2-й. А змея – она вся – живот!

В стороне – у камина…

УНТЕР-ОФИЦЕР *(глядя на танцующих).* Вы думаете, верно: старик – а мимо проносится жизнь!.. Там… зависть и протчая… Нет! Сочувствие! Я эту жизнь уже прошел, а им – вам! – еще идти!..

ДМИТРЕВСКИЙ и ДЕВУШКА… В танце. – Вальс. Медленно… (На переднем плане. Или выйдя из танца.)

ДЕВУШКА. Открыть секрет?.. Кого мы нынче видели? Мишу! В Железноводске!

ДМИТРЕВСКИЙ. А-а, вот он где! А что он там делал?..

ДЕВУШКА. Не знаю… У них со Столыпиным – вечные тайны – вам известно! Знаете, кто ему Столыпин? Двоюродный дядя! *(Рассмеялась.)* Как моя тетка! Которая чуть старше меня. И я – отбиваю у ней поклонников. Но Столыпин – еще моложе его! *(Чуть помолчав.)* Завидуйте! Мы ездили – кавалькадой, верхами… Тетя, Левушка, я… Юный Бенкендорф!

ДМИТРЕВСКИЙ *(усмехнулся).* Сколько лет можно всё быть Левушкой?

ДЕВУШКА. А всю жизнь – если ты уродился Левушкой! Что плохого?

Я думала, он уже здесь – Миша! Он возвращался с нами. Он отстал дорогой. Я думала – они все уже здесь. И пируют… с продажными женщинами! *(Выговорила с чувством и не без робости.)*

ДМИТРЕВСКИЙ *(еле сдерживая смех).* О-о! Отчего же непременно – с продажными?..

ДЕВУШКА. В отместку! Они в ссоре с князем. Их не пригласили на бал… Мы б там танцевали – на бале, а они? *(Покачала головой.)* При их самолюбии… А по-вашему, конечно, порядочная девушка не должна соревновать – с продажными женщинами?

ДМИТРЕВСКИЙ. Нет. Ну отчего ж?.. *(Смеясь.)*

ДЕВУШКА *(серьезно).* Не знаю… Когда я думаю о них, что они без нас, без всех – я почему-то представляю всегда, что они – с продажными женщинами!..

Скрываются в танце. ПОДПОЛКОВНИК и УНТЕР-ОФИЦЕР у

камина.

УНТЕР-ОФИЦЕР. …а вы полагаете, смириться – это мордой вниз? Извините! Это вовсе – подняться! Но на иную вершину! С коей можно обозреть… И хочется крикнуть – кому-то там, вдали: «Эй!.. Куда поспешаешь, человече?!.»

Танец. Возникают вновь – ДМИТРЕВСКИЙ и ДЕВУШКА на переднем плане…

ДЕВУШКА. А Миша и впрямь… им должен кто-то заняться! Какая-то женщина!..

ДМИТРЕВСКИЙ. Так займитесь!..

ДЕВУШКА. Нет. У меня не хватит сил!.. И у нас не такие отношения. Мы – как брат и сестра!.. Из него еще можно сделать героя романа!

ДМИТРЕВСКИЙ. Из Миши?..

ДЕВУШКА *(с некоторым вызовом).* Да! А что? С его умом!.. *(И мечтательно. Но с назидательностью старших.)* Нужно только очистить… Снять все наносное… Все, что прилепилось к ним там – в походах, на биваках… Вы – статский, вы не знаете! Они там такое позволяют себе!..

ДМИТРЕВСКИЙ. А вы откуда знаете?..

ДЕВУШКА. Я? Думаю…

ДМИТРЕВСКИЙ. Вы, вообще, много думаете. О нем.

ДЕВУШКА *(быстро).* О Мише? Нет. Это – просто сегодня. Под свежим впечатлением. И он мне что-то сказал, а я прослушала. И забыла переспросить!.. Так бывает, правда?.. Какая-то чепуха, наверное!..

ДМИТРЕВСКИЙ. Вы не влюблены?..

ДЕВУШКА. В Мишу?.. Я? Нет! *(Уносясь в танце.)* Ах, если б Миша был выше ростом!

Пауза.

УНТЕР-ОФИЦЕР *(Подполковнику).* Ну признайтесь!.. Ну, если бы не несчастье со мной… кем бы я был теперь? Еще одним генералом русской армии?.. *(Рассмеялся.)*

ДМИТРЕВСКИЙ и ДЕВУШКА (в танце).

ДЕВУШКА *(в продолжение).* Смеетесь?.. Но я зато умею думать – о бедных путниках на какой-нибудь унылой, каменистой дороге! Особенно… когда дождь или ночь и когда мы – в тепле!

Разве этого мало?..

…исчезли в толпе. Пауза. Музыка…

ОДИН ИЗ МУЗЫКАНТОВ *(3-й – остальным)*. А по-моему – играй, что дают, лишь бы работа чистая!..

ДЕВУШКА *(Дмитревскому, завидев кого-то в толпе)*. Дорохов! И с такой физиономией, словно… Смотрите! *(Показывает.)* Какой таинственный вид! Дорохов, что?.. *(Пытаясь спросить. Сильный шум.)* Бог с ним! Не люблю Дорохова!..

Скрылись среди танцующих…

А тот, кого назвали ДОРОХОВ, прошел сквозь толпу, словно взрезав ее под углом, а может, не заметив ее… Лет 35-ти или более. Начавший седеть. Всего лишь прапорщик, но с надменностью – по меньшей мере – полковника Генерального штаба.

Он прошел толпу, как магнит, – притягивая к себе или отталкивая от себя – по ходу. И те, кого он притянул, – послушно пошли за ним. ОФИЦЕРИК (прежде наблюдавший игру), что мирно танцевал с краснощекой партнершей; ЛЕВУШКА – Лев Сергеевич – из другого угла. Встретя Полового, что стоял, отвесив губу, и глазел на танцующих, Дорохов коснулся его локтя и сделал жест – двумя пальцами, что означает рюмку или стопку. И Половой испарился под его взглядом – не то что побежал исполнять.

Так Дорохов (уже не один) подошел к камину и, не говоря ни слова, присел на поручень кресла Николая Ивановича.

Все понимают, что что-то не так, и ждут…

ЛЕВУШКА *(капризно, нарушая молчание)*. Куда ты запропастился? Ты что, позабыл – что у нас назначено? Я жду, жду!..

Повисло в воздухе. Пауза…

Подошел ПОЛОВОЙ, поднося рюмку. ДОРОХОВ снял ее с подноса и вдруг неожиданным по своей театральности жестом облапил парня одной рукой и щекой прижался к его груди…

ДОРОХОВ. Брат! Ты жив? Я – счастлив!

Парень стоит обалдело, с тупым лицом…

ДОРОХОВ усмехнулся неприютно – и отпустил его грубым жестом. С рюмкой в руке – вновь уселся на поручень кресла. Пауза.

УНТЕР-ОФИЦЕР *(пошевелился и спокойно, как старший)*. Что

случилось, Руфин?..

ДОРОХОВ *(подбирая слова).* Угрюмый майор… Черкес!.. *(Подобье усмешки.)* Застрелил Мишу!

Час назад! В окрестности… У них была дуэль!..

…Отвернулся и стал глядеть на танцующих.
Потом вспомнил про рюмку и залпом выпил.

УНТЕР-ОФИЦЕР *(почти без голоса).* То есть как… Совсем?..

ДОРОХОВ. Мгу…

ЛЕВУШКА. Руфин, ты сошел с ума!

Тот пожал плечами и не отозвался.

ЛЕВУШКА *(продолжил капризно).* Но ты прости! Я все ж не понимаю! Я видел его – Мишу! Нынче утром! Мы были вместе!..

ДОРОХОВ. А я видел сейчас!..

ЛЕВУШКА. И что?..

ДОРОХОВ не отвечает. Продолжает глядеть в зал.

– Что значит – убили?.. Мы вместе обедали!.. Всего три часа тому! Он ел с аппетитом! Ты б видел – как он ел!

И по молчащей спине Дорохова, наконец, понимает…

– Прости, Руфин!.. *(И ткнулся лбом ему в плечо.)*

Все сидят или стоят – оторопело… Пауза.

УНТЕР-ОФИЦЕР. Но почему?.. Почему?!.

Никто не отозвался…

ПОДПОЛКОВНИК *(после паузы).* Я чувствовал… вот… кто-то войдет – и все кончится!

Пауза.
Сейчас их скульптурная группа у камина как бы противостоит остальному залу, где танцуют… Среди танцующих – ДЕВУШКА и ДМИТРЕВСКИЙ, на переднем плане…

КТО-ТО *(окликнул).* Бенкендорф!

И ДМИТРЕВСКИЙ с ДЕВУШКОЙ оглянулись – на юношу…

ДЕВУШКА *(с улыбкой).* Маленький племянник великого инквизитора!

ДМИТРЕВСКИЙ *(резко).* Узнаю!

ДЕВУШКА. Что?..

ДМИТРЕВСКИЙ. Зловредный Мишин язык! Он опять наживет себе неприятности!..

ДЕВУШКА. Не ворчите!

ДМИТРЕВСКИЙ. Говорю вам, как друг… И любя его!

ДЕВУШКА. Не верю. Его мало кто любит!..

ДМИТРЕВСКИЙ. Говорю – как государственный чиновник!

ДЕВУШКА *(ее почему-то развеселило).* Вы – государственный чиновник? Это – прекрасно! Дмитревский – это прекрасно!..

Танцуя, исчезают из глаз.
У камина:

ОФИЦЕРИК *(спохватываясь).* Но надо всем сказать!..

ДОРОХОВ *(едва удержал его).* Тсс! Зачем?.. Успеют, узнают!.. Это даже интересно! Танцуйте, господа! *(Жест, каким отпускают грехи.)*

ОФИЦЕРИК *(не поняв).* Но нужно их остановить!

ДОРОХОВ. Тсс! Не сметь!.. Смотрите, молодой человек! Нечасто увидишь это все… с такой точки!..

ОФИЦЕРИК. С какой точки, простите?..

ДОРОХОВ усмехнулся и не ответил. Глядя в зал (негромко):

– Танцуйте, господа!.. Танцуйте! Танцуйте!..

УНТЕР-ОФИЦЕР *(который понял все).* Никогда не пойму вашего поколения!.. *(Дорохову.)*

ДОРОХОВ. А зачем нас понимать?.. Мы и сами себя… не понимаем!.. *(Легкий жест в зал.)* Танцуйте, танцуйте!..

ОФИЦЕРИК *(с силой, негромко).* Но мне страшно! – такого знания! – одному!

ДОРОХОВ не ответил. Рюмка хрустнула. Он стряхнул осколки… И ОФИЦЕРИК – глядя оторопело на его руку:

– Это – кровь!..

ДОРОХОВ. Да. Как ни странно!.. *(Насмешливо.)*

Стряхнул капли крови. Достал платок из кармана и

обматывает ладонь. Привычно, быстро. И затянул зубами узел…

– Молодой человек!.. Вам следует навестить ваш полк в Чечне! Это отучит вас пугаться вида крови!..

…Еще посидел чуть-чуть, поднявши руку вверху обмотанной ладонью и пробормотав еще раз…

– Танцуйте, господа! Танцуйте!.. *(Поднялся и пошел, не прощаясь, к выходу.)*

ЛЕВУШКА *(ему вслед).* А подробности? Какие-нибудь подробности?..

ДОРОХОВ *(остановился, почти спокойно).* Не было! Никаких подробностей!..

Тот махнул рукой и исчез среди танцующих – чтоб оставить сомнение, а вправду ли он приходил.

Пауза у камина. Только музыка…

ГОЛОС ГЕНЕРАЛЬШИ *(над залом, перекрывая гул).* Найтаки! Что я говорила – бал не состоится!..

Последние аккорды музыки и последние па танца.

ДЕВУШКА *(в танце).* Дмитревский! Как это прекрасно!..

Оборвалась музыка. Немая сцена – разгоряченных танцем, как кони скачкой, и вдруг остановившихся пар. Один из игроков поднял голову и удивился тишине…

2-й ИГРОК. Говорят они Игнашке – вынимай-ка ассигнашки!..

И вернулся к игре.

Конец первого действия

Действие второе

Там же… (Гостиница Найтаки.)

Утро… Зала ресторации пока затемнена (шторы спущены). Над ней вторым ярусом – номера гостиницы… Один из номеров: комнаты, занятые приезжим ПОЛКОВНИКОМ из штаба войск Кавказской линии и превращенные на время в его (Полковника) штаб-квартиру…

ПОЛКОВНИК *(расхаживая по комнате)*. …Итак, сего числа прибыл в город Пятигорск – по причине злосчастного происшествия здесь – убийства на дуэли отставным майором Мартыновым Тенгинского пехотного поручика Лермонтова.

…то ли диктует, то ли – сам с собой.

В мундире нараспашку (жарко), в домашних мягких туфлях…

– …сей эпизод… сей случай… факт… *(Подбирает слова…)* свидетельствует – для меня по крайней мере!.. *(Запнулся.)* … серьезное неблагополучие в дисциплине господ офицеров войск Кавказской линии – особенно тех, кто во фронте и при полку не состоит… мм… равно как – глубокую испорченность современных нравов вообще, и в особенности – молодежи!..

Кто-то завозился за его спиной, и он, спохватываясь:

– А-а, Карпов, – ты записывал?..

В стороне – за миниатюрным (дамским) письменным столом – уже знакомый нам писарь Карпов. (Вертит гусиное перо, ловит мух ртом, смотрит в окно.)

КАРПОВ *(поднялся)*. Никак нет!.. А… надо было?..

Секрет карьеры Карпова, во многом – в том, что говорит он с начальством не быстро, как иные писаря, что стараются выявить усердность, а медленно и как бы раздумывая. На самом деле, он чаще – не знает, что сказать.

ПОЛКОВНИК. Нет… правильно! Я так… сугубо для себя! *(Усмехнулся.)* Риторические фигуры!..

Постоял, что-то вспомнил…

Прошел к другому – овальному столу пред диваном – «бобику», где разложены бумаги, и взял одну, чтоб, с явным удовольствием, ткнуть под нос Карпову.

– Признайся, твоя работа?..

КАРПОВ. Что-с?.. *(Поднялся. И поднял невинные глаза.)*

ПОЛКОВНИК *(повелительно)*. Твоя?.. *(Ткнул в бумагу.)*

КАРПОВ *(зачитал с неохотой)*. «Поручик Михаил Юрьев Лермонтов… – одержим золотухою и цинготным худосочием…» *(Скромно.)* Тут – подпись!.. «Лекарь, титулярный советник Барклай де Толли»!

ПОЛКОВНИК. Будто неизвестно, кто здешним лекарям эти бумажки строчит!.. Тебе б – в литераторы, в журналисты! Только вишь чем кончается?..

Карпов молчит.

– Вот тут… *(Повелительный жест. Слушает.)*

КАРПОВ. «…но для облегчения страдания необходимо поручику Лермонтову продолжать пользование минеральными водами… в течение целого лета 1841-го…»

ПОЛКОВНИК. И как? И вы облегчили ему страдания – с лекарем Барклаем?.. *(Забирает бумагу.)*

КАРПОВ. Воля ваша – ваше высокоблагородие… Только я в этой бумаге – только исходящий поставил!

ПОЛКОВНИК *(будто и не слышал)*. А не это… торчал бы он теперь в своей крепости в Шуре – почти в полной безопасности! За крепостными валами…

Дохнул бы со скуки. Читал Шатобриана, или что там читают нынче!..

КАРПОВ *(осторожно)*. Нынче… в моде – англичаны больше!

ПОЛКОВНИК *(про него)*. Все знает!.. *(Пожал плечами. Добавил.)* И черкес его, может бы, пощадил!

КАРПОВ *(осторожно)*. А отставной майор Мартынов… ваше высокоблагородие… как вышли из армии – все черкеску носят! Стал быть, они сами, как бы – тот же черкес! Х-хи!..

ПОЛКОВНИК. Смотри!.. (*Про него… Потом машинально прочел по бумаге.*) «…но следование в путь может навлечь самые тяжкие следствия!..» *(Швырнул бумагу на стол и – со всей издевкой.)*

Бестужев-Марлинский! Карпов-Пятигорский! И сколько тебе идет почету с листа?..

Стук в дверь выводит из затруднения КАРПОВА. Он идет к

дверям, потом возвращается:

– К вам г-н Пожогин-Отрашкевич!

ПОЛКОВНИК. Кто?.. *(Явно незнакомое имя.)*

КАРПОВ. Пожогин! Отрашкевич… Говорит, что родственник покойного Лермонтова!..

ПОЛКОВНИК. Проси! *(Застегивает мундир.)*

Пауза.

Те же и ПОЖОГИН-ОТРАШКЕВИЧ – ничем не примечательный господин.

КАРПОВ – за столом, с бумагами – и не принимает участия в разговоре.

ПОЛКОВНИК *(встречая гостя посреди комнаты)*. Г-н Пожогин?.. *(Подавая руку.)*

ПОЖОГИН *(кивнул)*. Отрашкевич!

ПОЛКОВНИК. Мне доложили, что вы – родственник Лермонтова.

ПОЖОГИН *(с готовностью)*. Двоюродный. По отцу!

ПОЛКОВНИК. Примите мои искренние и неслужебные сочувствия!..

ПОЖОГИН. Благодарю, полковник!.. Да, брат, брат!..

ПОЛКОВНИК. Прошу!..

Указал на кресло пред овальным столом, сам уселся напротив – в угол дивана.

– Предваряя ваши вопросы… К огорчению, не могу вам ничего сообщить… пока! Следствие только начато. Никто не знает причин.

По-видимому, речь идет о заурядной офицерской дуэли. *(Усмехнулся.)* Поединок чести!.. Строжайше запрещенный, но… Может, вы, в свой черед, хотели нам что-нибудь сообщить?.. Как родственник? Что могло бы пролить свет?..

ПОЖОГИН. Нет-нет. Я вовсе не был знаком с господином Мартыновым. И в последние годы… мало виделся с братом. Я находился здесь на излечении, и… я случайно оказался здесь… к событию…

ПОЛКОВНИК. Тогда… г-н Пожогин!..

ПОЖОГИН. Отрашкевич!..

ПОЛКОВНИК. Г-н Отрашкевич! *(Любезно.)* Я все время опускаю почему-то вторую часть! Это что-нибудь польское?..

ПОЖОГИН. Просто… дело в том, что Пожогиных – много…

Но – Отрашкевич!..

ПОЛКОВНИК. А-а… Итак… *((Рассеянно. Хотел завершить разговор.)*

ПОЖОГИН. Еще касательно – имущества!..

ПОЛКОВНИК. Какого имущества?..

ПОЖОГИН *(быстро)*. Тут я должен объясниться! Мы с братом были двоюродные по отцу… Его отцу! Брат был сыном моего покойного дяди. В то время как г-н Столыпин… что ездил с братом… последнее время и даже проживал с ним совместно здесь, на правах родственника – ему приходится всего двоюродным дядей по матери! Что несомненно – меньшая степень, как вы думаете?.. *(С извиняющейся улыбкой.)* Следите нить? Все эти перипетии родства! *(Махнул рукой.)*

Мужская линия родства – женская линия родства!.. *(Очертил арку в воздухе.)* Мужская линия бьет женскую. И таким образом… И согласно закону! И поскольку я в своей семье – единственный член мужеска полу… *(Поднялся. Несколько торжественно.)* Я – ближайший родственник и наследник покойного!..

На лице ПОЛКОВНИКА покуда сменилось чуть не три выражения. Сейчас – досада и усталость…

ПОЛКОВНИК *(бесцветно)*. Но в компетенцию комиссии, призванной уяснить причины дуэли…

ПОЖОГИН. Да! *(Словно только того и ждал.)* Для этого существуют инстанции! Опека! Наконец правительствующий Сенат!.. Но когда речь – о целом наследстве! Что же до вещей, оставшихся здесь – непосредственно на пятигорской квартире… и дабы они не поступили в своевольное пользование г-ном Столыпиным…

ПОЛКОВНИК. А что там могло остаться?.. *(Поморщился.)* Он ведь был… странствующим офицером! Да еще… с подорожной по казенной надобности!..

ПОЖОГИН *(очень энергично)*. Не говорите! Брат был расточителен! Он мог возить с собой… подвергать опасностям дороги – даже уникумы!..

ПОЛКОВНИК молчит; стоит, отвернувшись. Пауза.

ПОЛКОВНИК *(глядя в сторону, скучным голосом)*. Я доложу вашу просьбу комиссии. И я буду иметь возможность, верно, до конца дня… переговорить о сем предмете – с капитаном Столыпиным!

Честь имею!.. *(И сухо кивнул – куда-то в сторону.)*

ПОЖОГИН *(в спину ему).* Я – единственный наследник покойного Лермонтова!..

Уходит. Пауза.

ПОЛКОВНИК. Что ты это, Карпов, – словно ворон считаешь?.. *(Карпов, отворотившись, смотрит в окно…)* Странно! Не успеет человек умереть – у него появляются родственники!..

В это время в ресторацию вошел ПЕРВЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ.
Сел за стол. Потребовал у Полового:

– Любезный!.. Бумагу, перо, чернила – живо! И песку не забудь, песку!.. *(Жест – как посыпают бумагу песком.)*

ПОЛОВОЙ стоит, недоуменно переминаясь…

ПОСЕТИТЕЛЬ *(со смешком).* И завтрак – само собой! Я голоден, как волк. Но прежде – бумаги и чернил!..

Остался сидеть за столом…
А в номер к Полковнику вошел лекарь БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ (постучался, заглянул) – без слов пересек комнату и опустился в кресло – пред диванным столом. Неопределенного возраста, усталый человек. Достал портсигар с пахитосками, закурил.

ПОЛКОВНИК. Карпов! Поди испей лимонаду!.. И озаботься нам – завтраком!..

Карпов покинул комнату. Пауза.

– Ну что там?..
БАРКЛАЙ *(с неуютной естественностью).* Пуля прошла здесь!.. *(Ткнул себя в правый бок.)* Под последним ребром – в средостении… – тут есть хрящ такой!..
А вышла – вот где! *(Ткнул себя – под левую лопатку.)* Между пятым и шестым и чуть вверх – в плечо… Вон какой путь!.. *(Очертил кривую по собственной груди.)* Через оба легких. Он умер сразу.
ПОЛКОВНИК *(усмехнулся. С надменностью).* Что ж! Хорошая пуля! Выстрел хороший!
БАРКЛАЙ. В каком, простите, смысле?..
ПОЛКОВНИК. Так… Хорошо стреляют господа офицеры войск Кавказской линии… *(Чуть помедлил.)* По своим! – и находяся в

тылу и вдали от противника! Жаль, что этот молодой человек – отставной майор и оставил армию!..

БАРКЛАЙ. Да, пуля такая – что хоть анатомию изучай – так прошла!

ПОЛКОВНИК. Это может быть – случайное попадание?..

БАРКЛАЙ. Нет. Почти нет… ну… какая-то доля вероятия всегда есть в таких случаях… Но… Почти нет! Это – прицельный выстрел!

ПОЛКОВНИК. Берегитесь! Вы обвиняете г-на Мартынова! В намерении… Тем более что противник его, как говорят, – сам подымал пистолет на воздух!

БАРКЛАЙ. Я никого не обвиняю. Я смотрю. Для меня существуют лишь – законы природы. И геометрии!.. *(Усмехнулся.)* Пригласите Дорохова экспертом!.. Он скажет! Сколько у него на счету дуэлей?..

ПОЛКОВНИК *(зло)*. Пора всем этим господам… стать применять свое умение в другом месте! Или в других местах… Тут, на Кавказе, есть такие места!..

БАРКЛАЙ. Да это просто показать – из геометрии! Можно взять перо?..

ПОЛКОВНИК *(даже чуть с испугом)*. Не стоит! Я с детства ничего не смыслю – в геометрии!..

БАРКЛАЙ. Ну я так, на пальцах…

Достал из кармана какой-то металлический предмет – стилет, ланцет… Провел диагональ по груди своей – справа налево и сверху вниз.

– Смотрите! Пуля прошла здесь… Противник – там… *(Отвел правую руку в сторону.)* Значит, прицельная точка где-то посредине. Или в трети… проведите черту! (*Провел справа налево по горизонтали.*) Вот-с!.. Вот она – ваша мишень! *(Ткнул в сердце.)* То есть – мишень майора Мартынова. *(Помолчал. Свободным тоном.)* Вообще… в человека, который стоит к вам боком, – согласитесь, довольно трудно угодить!

Торс узок – поперек себя у́же!.. Почти нет выступающих частей. Одна голова, и то…

ПОЛКОВНИК *(поморщился)*. Странные люди вы – лекари! Не перестану удивляться вам! Вот и сам – солдат, а не перестану!.. Словно карту рисуете! Словно там – не человек – а бумажная мишень!..

БАРКЛАЙ. Однако это не мы посылаем его на смерть!

Пауза.

ПОЛКОВНИК *(убежденно).* От безделья это все, от безделья! *(Помолчал.)* Мне тут перед самым приходом вашим попалась на глаза одна бумага!.. *(Берет бумагу со стола.)*

БАРКЛАЙ*(не поворачивая головы).* Мой рапорт о болезни Лермонтова?

ПОЛКОВНИК *(искренне).* А как вы узнали?..

Врач сделал жест – мол, трудно не догадаться!..

БАРКЛАЙ. Представляю, как это должно читаться теперь, на фоне… *(Усмехнулся.)* Насмешкой судьбы, насмешкой над судьбой?..

Тем не менее – там все правда!

ПОЛКОВНИК *(отчужденно).* Что-с? Извините! «Золотуха и цинготное худосочие»?

БАРКЛАЙ*(просто).* Да… и кое-что еще…

Что у него цинга – была! – в этом можно убедиться еще сейчас – покуда он… на земле! Потом золотуха… С детства он был, верно, золотушный ребенок. Нарушенный обмен… Ревматизм. Не ведаю, где стоит их усадьба, но полагаю – он вырос в сырости.

ПОЛКОВНИК. Это уже не имеет значения. Когда ему предстоит врасти…

(С раздражением.) Он торчал бы сейчас в Шуре! Живой! Волочился б за бабами… пардон! – штаб-офицершами. И поутру разгуливал бы в кальсонах по валу. Для променаду!..

БАРКЛАЙ. Вы хотите сказать – я в роли судьбы Лермонтова? Увы! Они здесь не одни награды цепляют! Они стремятся за наградами – некоторые!.. А цепляют – цингу, завалы кишечника, соль в сосудах… Хорошо еще – если не холеру и не чуму! Хоть это вовсе и звучит обыденно… А для реляции вовсе и не звучит!

ПОЛКОВНИК. Что вы предлагаете?..

БАРКЛАЙ. Ничего. Нужно чаще есть овощи. Фрукты. Не полусырое мясо с костра… Они, вообще, много едят и пьют! От неудовлетворенности внутренней, скорее!..

ПОЛКОВНИК. И чем же они не удовлетворены?

БАРКЛАЙ. Не знаю… Дух – не по моей части! – Тело, грешное тело!.. Вы видите их с фронту, снаружи. Я – изнутри!

ПОЛКОВНИК. Но мы не можем позволить превратить Пятигорск в приют уклоняющихся от фронту!.. Даже – с вашими свидетельствами в кармане! Даже если это – томление духа!..

БАРКЛАЙ*(покорно).* Конечно… Не можете!

Пауза.

ПОЛКОВНИК. А зачем, в таком случае, они едут сюда?..

Ведь не всех, как Лермонтова, посылают… Многие – по своей воле! *(Взрываясь.)* Пить тухлую воду? Придумывать болезни себе?.. Околачиваться в Пятигорске, который, простите, – всего жалкий сколок с покинутых ими столиц?!..

БАРКЛАЙ. Наверное, эта война – с близкого расстояния – чем-то обманула их! Как прежде обманывали столицы!..

Пауза.

– Жаль Лермонтова!.. Он мне только было начинал нравиться!.. И мы только договорились с ним до общих предков – шотландцев!.. Что тоже приятно…

Странный был человек!..

ПОЛКОВНИК *(рассеянно).* Разве Лермонтов – тоже шотландского роду?..

БАРКЛАЙ. Наверное! Во всяком случае он уверял меня!.. Иначе откуда б у него такая фамилия?.. Лермонт какой-нибудь – там, в корне! Граф Лермонт, разумеется! *(Усмехнулся.)* Шотландия! Там каждый третий землепашец – граф!..

ПОЛКОВНИК. Я думал, что-нибудь татарское! Эти гортанные звуки!..

Кстати, о предках! Знаете, как говорят про вас в штабе?.. Что вы вознамерились спасти от войны ровно столько людей, сколько ваш знаменитый предок – великий Барклай – уложил на полях брани!

БАРКЛАЙ*(просто).* Не удастся! Неплохо б, конечно, – для равновесья в природе – восстановленья равновесья!.. Но не удастся!

ПОЛКОВНИК *(с издевкой).* Это почему?

БАРКЛАЙ. Спасать – куда трудней, чем укладывать! *(Вдруг – с неожиданной резкостью.)* Они все больны! Не знаю, что это… Природа, поколение? Или эта война? Или – гнилой край? Но… они все больны. Говорю вам это, как русский лекарь!.. *(Усмехнулся.)* Ко мне пришел доктор – его фамилия Вернер, но он – русский! Что тут удивительного? Я знавал одного Иванова, который был немец… *(Как явную цитату.)*

ПОЛКОВНИК *(усмехнулся тоже).* А я знавал того, с кого списан этот портрет! Очень схожий, между прочим!.. Да вы его тоже знаете – доктор Майер!..

БАРКЛАЙ. Да? Я думал – это про меня! *(И как-то потускнел.)*

ПОЛКОВНИК (с любопытством к нему). Вы читаете романы?

БАРКЛАЙ. Иногда. Когда бывает скучно… Особенно в прозекторской!.. Иногда! – Когда препарирую их авторов!..

Я буду у себя!.. *(Направился к двери.)*

ПОЛКОВНИК. Постойте! *(Тот обернулся).* Раз уж вы между нами и Господом – что-то вроде таможенника… для последнего досмотра – у последней черты… Скажите: что такое смерть?..

БАРКЛАЙ*(с усмешкой).* Хотите спросить – а где душа? Куда девается наша бессмертная душа? Не знаю…

И вышел – в дверях столкнувшись с Карповым, который несет завтрак полковнику – на подносе, покрытом салфеткой…

В ресторации: ПОСЕТИТЕЛЬ, получивший, наконец, от Полового почтовой бумаги и прибор с чернилами… За столом – в ажитации:

ПОСЕТИТЕЛЬ. Тороплюсь, пишу тебе по свежим следам… *(Зачеркивает.)* Под свежим впечатлением… боюсь, что кто-то меня опередит!..

У нас тут убили Лермонтова!.. *(Зачеркивает.)*

Вчера в дуэли убили Лермонтова. Стрелял в него Мартынов… Сын нашего московского Мартынова, покойного… ты знаешь! *(Зачеркивает.)* Впрочем, известного лишь тем, что разбогател на винных откупах! *(Что-то зачеркнул.)* Они стрелялись из-за м-ль Штерич – московской… *(Задумался. Грызет перо.)* Штерич – мадам или мадемуазель?.. Все равно! *(Вернулся к письму.)*

Пауза. Пишет.

…Мимо проходит небольшого роста человек – в накидке, несмотря на жару. Половой тащит за ним портсак, а он сам несет нечто похожее на мольберт художника. ПОСЕТИТЕЛЬ остановил Полового:

– Кто это, не знаешь?..

ПОЛОВОЙ. Неизвестный господин. Новые клиенты!.. *(И проследовал дальше.)*

ПОСЕТИТЕЛЬ *(после паузы продолжает писать)*. Мартынов мог с ним сходиться, но не имел права стрелять! Тем более что Лермонтов, как говорят, сам поднял пистолет на воздух!..

Лермонтов – благородный человек, и… *(Грызет перо.)*

А в номере у Полковника – гостья, МОЛОДАЯ ДАМА – одна из двух сестер, уже замеченных нами. (Старшая… Будущая ДАМА В ЛЕТАХ.)

Очень взволнована…

ПОЛКОВНИК, ДАМА – в отсутствии Карпова…

ДАМА. Не сердитесь?.. Что я сама к вам пришла, как бы в расчете на ваше благорасположение к нам, к нашей семье! Или чтоб опередить… Пока станут всех вызывать спрашивать… *(Перевела дух.)*

Вы ж, наверное, уже знакомились с делом? Знаете? Что все произошло в нашем доме! Эта ссора… Этот вызов, приведший в дуэль!..

ПОЛКОВНИК. А-а… Да-да!.. Но я как-то не связывал эти вещи, признаться!

ДАМА. Мама все повторяет: «Чтобы в нашем доме!»

Недоуменный жест полковника.

– Ей чудится – все теперь будут показывать на нас пальцами!.. «Вот здесь! Это было здесь!»

Она так и говорит: «Дом повешенного – только не хватает веревки!»

ПОЛКОВНИК. Ну при чем тут вы? Это могло произойти где угодно, в любом другом месте!

ДАМА *(помолчав)*. Дом, где две молодые женщины, – всегда при чем! Даже если одна – еще совсем ребенок!..

ПОЛКОВНИК *(пожал плечами).* Я знал вашего отца и знаю ваш дом!

ДАМА. Главное – я одна знаю, как все было!

ПОЛКОВНИК. Вы?.. *(Не сильно убежден.)*

ДАМА. Да… Случайно! Прочие не обратили внимания, должно быть! И только я знаю, как все произошло!..

ПОЛКОВНИК *(светский, дружеский тон).* Тогда мне просто повезло! Я только что приехал… пытаюсь что-то уяснить для себя… а объяснение само идет ко мне в руки… Извините!.. И в лице кого? Мм… Дочь старинных друзей и мой добрый друг. И молодая очаровательная женщина, между прочим! Не какой-нибудь скучный старец. Утомительный свидетель!..

ДАМА. Вы не верите мне?..

ПОЛКОВНИК. Почему же? Прошу! Я тоже хочу знать, как все произошло.

ДАМА. Это еще не допрос?..

ПОЛКОВНИК. Странности вы говорите, право!

ДАМА. Не знаю… *(Покачав головой в сомнении.)* Как все было!..

ПОЛКОВНИК. Я слушаю… Если можете…

ДАМА *(смотрит в одну точку)*. Как все было… Верней, как ничего не было!

Мы сидели в гостиной – под вечер… большой компанией… В *нашей* гостиной! *(Подчеркнула. И Полковник кивнул.)* Было душно. Все ждали грозы, и не хотелось на улицу… Кто-то играл на рояле… – Серж, Трубецкой!.. Остальные слушали и не слушали – больше болтали.

Меня обсели с двух сторон Миша и Левушка… И трещали в оба уха!

ПОЛКОВНИК. Левушка – это майор Пушкин?

ДАМА. Да. *(Кивнула.)* По обе руки – Пушкин и Лермонтов… И несли всякий вздор! Дразнили меня моими поклонниками… И всем давали нелестные аттестации. Больше смешные! Себе в том числе. То есть – друг другу. И Лермонтов такое сказал Пушкину, что тот надулся и замолчал… на пару минут. – Для него это много! Они, вообще, друг дружку не щадят!

Тут вошел Мартынов и стал на пороге. В демонической позе. У него иногда бывает такая… Никто не обратил внимания. А Миша наклонился ко мне и сказал…

Нет! Тут почему-то стихла музыка! Серж прервал играть… И стало слышно на всю комнату – еще громким шепотом! «Мадам, берегитесь! Этот черкес… – опасен!»… – какой-то вздор! Ничуть не важнее, чем перед тем!.. И Мартынов, помню, взглянул как-то странно…

А к ночи – разразилась гроза… Нет-нет! Не сыщите наклонности к мелодраме! Ночью в самом деле была гроза. И… ночью я узнала, что у них будет дуэль!..

ПОЛКОВНИК. Так вы знали заранее?..

ДАМА. Нет! То есть да! Неопределенно!

Ой! Это не мой секрет!.. Это – младшая наша! Ждали грозы – она боится грозы… Пришла лечь в моей комнате и сказала. Она слышала случайно… Ой! Только – не дай Бог! Если ее станут спрашивать! Она не переживет! Кто-то может решить, что она подслушивала!..

ПОЛКОВНИК *(насмешливо)*. Это очень важно, право!..

ДАМА. Для нее – да!

ПОЛКОВНИК. Это – наш разговор! Нас двоих. Ваш и мой!..

ДАМА. Позже, когда все расходились, она слышала чрез окно, как они сговаривались… Про дуэль!

ПОЛКОВНИК. И о чем говорили – можно спросить?

ДАМА. Тоже какой-то детский вздор. «Ты меня вызываешь – я тебя вызываю!» Как дети в игре. Кто бы мог подумать, что это серьезно – до смерти!

Ой! Только ее нельзя спрашивать об этом! Она и так сама не

своя!..

Простите! Я не привыкла с вами как с официальным лицом!..

ПОЛКОВНИК. А я для вас – и не официальное лицо!

ДАМА. Полковник!.. *(Как говорят: «Благодарю!»)* Теперь вы видите – кто перед вами?..

ПОЛКОВНИК. Думаю… что вижу!

ДАМА. Перед вами – судьба Лермонтова!..

ПОЛКОВНИК. О-о! Вы уверены?..

ДАМА. Как бы там ни было… Уже никому не объяснишь. Женщина всегда виной – даже если не она! Cherchez la femme! Ищи женщину! Это сказано кем-то или еще скажут?..

Того мама и боится! Что нас сочтут виной. Причиной всему. Скорее – меня!.. Пойдут сплетни, молва!..

ПОЛКОВНИК. Молва? Что с того – если мы знаем ей цену?..

ДАМА. Но она сама себе – не знает цены!

ПОЛКОВНИК. Бедная! Вы в роли княжны Мэри! *(Усмехнулся.)*

ДАМА *(мгновенно)*. Вы уже слышали, да?.. *(Страшным шепотом.)* Кто-то сказал? Успели?..

ПОЛКОВНИК *(растерянно)*. Мне… никто ничего не говорил – я пошутил!..

ДАМА. Теперь вправду говорят… пущен слух… будто я и была «княжной Мэри!».

ПОЛКОВНИК *(после паузы)*. Они дурно воспитаны! Человечество в целом – дурно воспитано!

ДАМА. Теперь все равно! Это так и пойдет за мной!.. Вы представляете, каково жить с этим в обществе? И никому уже нельзя объяснить!..

ПОЛКОВНИК. Сколько горечи вдруг!.. А я все вижу вас ребенком, которого держал на коленях…

ДАМА. Того ребенка уже нет!

Жест растопыренных пальцев – будто что-то развеялось в воздухе.

ПОЛКОВНИК. Нескромный вопрос!.. Заранее приношу извинения! И… можете не отвечать! Но… Как старому другу, другу семьи… просто как господину в летах…

Хоть один из них… *(Замялся – подбирая слова.)*

ДАМА *(выводя его из затруднения)*. Я, кажется, поняла! Хоть один из них – был ли для меня чем-то большим – других поклонников?.. *(Полковник кивнул.)* Мог питать больше надежд… либо нуждался в этих надеждах – так?.. Чтоб они могли оказаться соперниками предо мной?.. Нет! Нет! Нет!.. Мы были только – как все! Встречались, как все. И ничего более. Ни я для них, ни они –

для меня!..

ПОЛКОВНИК. Благодарю вас! Хотя – видит Бог! – было бы лучше, если б вы ответили прямо противуположное!..

ДАМА. Почему?

ПОЛКОВНИК. Все было бы ясно! А так… и долго еще – боюсь! – все останется неясно!..

ДАМА *(улыбнулась)*. Это было бы легкое объяснение?

ПОЛКОВНИК. Естественное! А чтоб стреляться всерьез по поводу, какой назвали вы… стреляться до смерти… надо быть сумасшедшим!.. А этот господин в черкеске… он не производит впечатление сумасшедшего!

ДАМА. Да… Он – странный немного! И этот странный наряд. И угрюмый вид… Но он разочарован!..

ПОЛКОВНИК. В чем – позвольте спросить?..

ДАМА. Не знаю… Они все разочарованы!

ПОЛКОВНИК. Вот! И успокойте себя! Вы не послужили судьбою Лермонтова! Была какая-то иная причина!..

ДАМА. Спасибо! *(Поднялась с места.)* Это не потому, что вы – сама любезность?..

ПОЛКОВНИК. Отнюдь! *(Усмехнулся.)*

ДАМА. Вы как камень отвалили с моей души! Одно дело… слушать глупую молву и опасаться – что станут говорить… Но еще самой чувствовать себя виновной!..

ПОЛКОВНИК. Нет-нет! Вы тут ни при чем! Спите спокойно – если можете!..

ДАМА. Погодите! *(Испуганно.)* Где я слышала это? Или читала?.. И не так давно…

ПОЛКОВНИК. Не помню.

ДАМА. Простите! Последние дни… чуть не в каждом слове… чудится, что это уже где-то было!

ПОЛКОВНИК. Это нервы! Спите спокойно и передайте маме!..

ДАМА. Ой! А теперь все исчезло! Как странно, правда?

ПОЛКОВНИК. Скажите маме… я загляну к вам на днях – как позволят дела! И пусть больше не говорит про веревку и про дом повешенного!.. Это – нервы, скажите! Да, кстати! Теперь стали пользовать врачи… новое средство: настойка валерианового корня… Ей не прописывали?

ДАМА. Благодарю вас!

Пауза.

– А что вы думаете, полковник, обо всем этом?

ПОЛКОВНИК. Не знаю… Не знаю что и думать! *(Помолчав.)* А почему Трубецкой вдруг прервал игру? Никто б ничего не

услышал. И дуэли бы не было!..

ДАМА. Не знаю. Прервал, и все. Вам кажется – неслучайно?

ПОЛКОВНИК. Ладно! Я – официальное лицо, я не обязан думать!.. *(Улыбнулся.)*

ДАМА. А что будет с Мартыновым?

ПОЛКОВНИК *(рассеянно)*. Суд, наверное!..

ДАМА *(осторожно)*. Рассказывают – он первую ночь провел в городской тюрьме! С простыми арестантами!..

ПОЛКОВНИК. А чего он ждал?.. *(Сдержался. Сухо.)* Он уже переведен – на военную гауптвахту!..

ДАМА. Прекрасно! И это было несправедливо!.. Как-никак – он бывший офицер, хоть и отставной!

ПОЛКОВНИК *(рассеянно)*. Да-да…

ДАМА. Вам что – не нравится Мартынов?..

ПОЛКОВНИК. Я – не дама! *(Сдержался.)* Не обращайте внимания!.. Мы, мужчины, часто не можем сознать иных женских симпатий… к иным представителям нашего полу!

ДАМА. А я симпатизировала обоим! *(Уже чуть остраненно.)* Ах да! Вы ж, наверно, знавали их обоих по фронту!

ПОЛКОВНИК. Только одного!

ДАМА. Кого?

ПОЛКОВНИК. Лермонтова!

ДАМА. Он был хороший офицер?

ПОЛКОВНИК *(просто)*. Хороший.

ДАМА. А Мартынов?..

ПОЛКОВНИК. Не знаю…

ДАМА. Не хотите говорить?

ПОЛКОВНИК. Нет… Просто не заметил его в этом качестве!

ДАМА. Странно! Он везде так выделялся всегда… так бросался в глаза!..

ПОЛКОВНИК. Не обращайте вниманья! У нас – свои мерки… Статским – тем больше дамам – бывает трудно понять!..

Пауза. Провожает ее…

ДАМА *(осторожно)*. А вам известны… еще какие-нибудь подробности?..

ПОЛКОВНИК. Ну… какие подробности?.. Мы с вами тоже вот – две подробности!.. *(Улыбнулся.)*

ДАМА *(в дверях)*. Мне еще надо навестить тот дом… *(Жест куда-то за окно.)* А не знаю, как войду! И увижу Мишу – что с ним сталось?..

Вы боитесь мертвецов?.. Ах да!.. Вы ж военный! Так что – не должны бояться!..

ПОЛКОВНИК промолчал, неопределенно пожал плечами… И поцеловал ей руку, прощаясь.

ПОЛКОВНИК. Так… не забудьте! Настойка валерианового корня!..

Она вышла… Некоторое время спустя неслышно появился КАРПОВ. Подошел к своему столу…

ПОЛКОВНИК постоял у своего стола, глядя в пространство, оборотился и узрел перед собой – на овальном столе – нечто, горбами, покрытое белой салфеткой…

ПОЛКОВНИК. А это что?.. *(Осторожно отогнул край салфетки.)* А-а… *(Провел ладонью по лицу.)* Карпов, слушай, унеси это куда-нибудь!.. Какой-то странный вид!

КАРПОВ. Ваш завтрак! Остыл, должно быть… Принести другой?

ПОЛКОВНИК. Не надо, унеси!

КАРПОВ. Вы, ваше высокоблагородие, нынче не завтракали!

ПОЛКОВНИК. Я не хочу завтракать! Или еще рано – или слишком поздно!.. *(Усмехнулся. Себе.)* Настойка валерианового корня!..

Пауза.

Ресторация меж тем постепенно заполняется людьми…

ПОСЕТИТЕЛЬ *(пишущий письмо, в той же позиции, с отрешенным взором)*. Что сделать с тем, кто… мм… удовлетворяя глупым страстям, отымает у бедного, умирающего от голоду последний кусок… развращает невинную девушку, губит навек… потом, насытившись ею, покидает на произвол… или… *(Подбирает слова.)*

…суд людской… Глас Божий?.. *(Смотрит в пространство.)*

…Однако… как поступить с убийцею нашего Лермонтова?.. *(Грызет перо.)* Причислить ли его к первой категории или ко второй?.. *(Продолжает писать.)*

Вошел ЖАНДАРМ – голубой мундир. Остановился на пороге. Произнес деревянно:

– Государственная польза!..

Тотчас вылез НАЙТАКИ и увел его куда-то. Видно, поить.

Это будет повторяться еще несколько раз – в течение последующих сцен…

Диалоги в ресторации:

Компания молодых людей, среди которых ДЕВУШКА (из 1-го действия), ДМИТРЕВСКИЙ, ЛЕВУШКА (Пушкин)…

ДЕВУШКА. Дмитревский! Почему вы здесь?.. Идите туда!

ДМИТРЕВСКИЙ. Я только что оттуда…

ДЕВУШКА. Там ничего не нужно?..

ДМИТРЕВСКИЙ. Нет.

ДЕВУШКА. А кто там – со Столыпиным?..

ДМИТРЕВСКИЙ. Юный Бенкендорф!

ДЕВУШКА. Это хорошо. Он любил Мишу! *(Что-то вспоминает.)* А мое бандо? Постойте!

ДМИТРЕВСКИЙ. Забыл, признаться!.. Я потом поищу!

ДЕВУШКА. Не забудьте! Ради бога! Это будет мне память!.. *(Повернулась к Льву Сергеевичу.)* Он взял мое бандо – помните?.. То самое, с золотым ободком!.. *(Жестом очертила нимб вкруг своей головы.)* Миша взял! Когда мы прощались! С обеда!.. *(В воздух, тоскливо…)* Он сказал – на счастье! Счастья нет! Счастья нет!..

ЛЕВУШКА *(взял ее под локоть и, помолчав).* Понимаю… *(Начал было…)*

ДЕВУШКА (*перебила его*). Нет! Как же так?.. Мы вместе обедали!.. Он ел с аппетитом! Левушка, скажите! Мы все там были! Как же так?.. Мы *были*, а *его* нет?!.

ДМИТРЕВСКИЙ *(слабо).* Левушка!.. *(Мол, объясните ей!)*

ЛЕВУШКА. Да-да… *(И мнется рядом, не зная, как подступиться.)* Видите ли…

ДЕВУШКА. Главное, я позабыла – что он мне сказал! Уходя!.. А наверное, что-то важное!..

ЛЕВУШКА *(неуверенно).* Так всегда кажется обычно. Когда нельзя переспросить! А выйдет после – что какая-то житейская ерунда!

ДЕВУШКА. Нет! Это было что-то важное!.. Мы стояли. Вот так. *(Изобразила.)* Он сказал… Что-то легкое, как движение, и грустное!.. Помню, у меня что-то кольнуло в душе. Я испугалась… и забыла! *(Пауза. И снова.)*

Дмитревский! Ступайте туда!..

ДМИТРЕВСКИЙ. Я там был. Там… больше ничего не нужно!..

ДЕВУШКА. Как так может быть – ничего не нужно?!.

ДМИТРЕВСКИЙ (снова). Левушка! *(Прося пощады.)*

ЛЕВУШКА. Да-да… Дорогая!..

Взял ее под руку и повел – пытаясь быть ласковым, убедительным, старшим.

– Я все понимаю…

ДЕВУШКА. Было все так спокойно! Мы ждали бала… Готовились. И жалели вас… Которые – не приглашены!

ЛЕВУШКА. Так и я вот все ждал! То балу, то празднику… То денег из дому… то повышения по службе! Так и жизнь прошла!..

(Помолчав.) У меня был брат…

ДЕВУШКА *(останавливаясь).* Нет! Вы мне объясните! Мы вместе обедали! Помните? Он ел с аппетитом! Вы видели!.. Как может вдруг – не стать человека, который с таким аппетитом ел?!..

Уходят с переднего плана…

В группе мужчины, оставшись одни, почувствовали себя свободней… Подошли еще двое или трое.

ОФИЦЕРИК. А правда, как-то странно!..

ДМИТРЕВСКИЙ *(устало).* Вы теперь начнете!

ОФИЦЕРИК. Нет, право! Среди нас!.. Я думаю о том, что среди нас – таилось все это!.. А больше никого – никому не хочется убить? Меня – никому?.. *(Вздохнул.)* Как хотите!.. *(Огляделся и побрел к игрокам.)*

Пауза.

КТО-ТО *(осторожно).* Серьезно – что там сейчас?

ДМИТРЕВСКИЙ. Все то же!..

ТОТ ЖЕ. А что делает Столыпин?..

ДМИТРЕВСКИЙ. Читает!

– А Бенкендорф?

ДМИТРЕВСКИЙ. Отгоняет мух!..

– Откуда?!..

Все замолкли в неловкости… Пауза.

ДРУГОЙ. Да. Жаркий день! Пора бы…

ТРЕТИЙ. И непонятно, чего ждут!..

ДМИТРЕВСКИЙ. Официального соизволения, вероятно!

КТО-ТО. А к чему?..

ДМИТРЕВСКИЙ. Вы что, только родились? И на тот свет нельзя – без официального соизволения!

ТРЕТИЙ. В самом деле!.. Мишу… когда привезли… еще с полчаса держали перед военной гауптвахтой!..

– Зачем?..

– Ну покуда не убедились, что мертв!.. Иначе он подвергался арестованию!

– Смеетесь?..

И вдруг один – в самом деле – стал смеяться, какой-то пароксизм – почти неудержимо. Ему:

– Перестаньте! Люди смотрят!..

– В конце концов – это просто неприлично!..

То т *(приходя в себя).* Извините, господа! Но я представил себе… что сказал бы Миша… если б узнал… что его, в его положении – еще полчаса держат перед гауптвахтой! Дикий бред! Дикий бред!

Двое мужчин среднего возрасту – у окна…

– Вы видели… когда-нибудь столько жандармов – в этих местах?

– Н-да… мы поголубели!

– Я их вообще-то кряду столько не видывал!.. Один голубой мундир… другой голубой… третий голубой! *(Глядя в окно.)*

– Берегитесь! Навязчивый счет – это признак безумия!

– Правда?..

Прохаживаются по зале ТИРАН и НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (возможно, отделившись от группы с Дмитревским).

Прошли…

И, наконец, ИГРОК и за карточным столом…

1-й. Нет, что ни говорите, это несправедливо!.. Он все же офицер, хотя и отставной. Майор. И содержать его – с городскими ворами…

2-й. Его ж поутру перевели… *(Бормочет под нос.)* Игнашки… Ассигнашки!.. *(Следит за игрой.)*

1-й. Но он не мог спать! Они всю ночь играли в карты!..

3-й *(усмехнулся).* А мы – что делаем?..

Пауза.

ДЕВУШКА и ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ проходят на переднем плане…

ДЕВУШКА *(останавливаясь резко).* Но если это так: вот – был,

вот – не был, вот – есть, вот – нет… Скажите, что такое жизнь?!.

Пауза.

Мимо группы с Дмитревским прошел тот же НЕИЗВЕСТНЫЙ г-н, что давеча приехал… И в группе – ему вслед:

– Кто это?

– Не знаю. Неизвестный!..

– А-а!.. По-моему, тот художник, что просил у Столыпина разрешения снять портрет с покойного! Но Столыпин сказал, что это уже сделано – художником Шведе!

КТО-ТО *(в сердцах)*. Неизвестный! А что известно? Ничего не известно!

Пауза.

– У Миши, когда лежит, вдруг обнаружились татарские скулы! Раньше не замечал!

– Так он же – из Пензы!

– Как? Разве не из Москвы?

– Все мы – из Петербурга либо из Москвы… но сперва – из Пскова или из Пензы. Чембарский уезд – знакомо вам такое название?.. *(Усмехнулся.)* Покойный говаривал: «У нас в Чембарах его не взяли бы в гувернеры!» Это он – про Вольтера! Как вам нравится?..

Пауза.

– Правда… Как-то глупо стоим. Может, пойти туда?

– Нет. Там уж, по-моему, ничего не нужно!

Девушка и Л. С. Пушкин:

ДЕВУШКА. Главное – никак не вспомнить! Какой-то провал! *(Показала на голову.)*

ЛЕВУШКА. Не надо мучить себя!.. Чепуха, наверное!

Присоединились к остальным.

Двое у окна:

– Столыпин идет!..

– Где?.. Столыпин! *(И крикнул в глубину ресторации.)* Столыпин!..

По ресторации разносится:

– Столыпин!
– Столыпин!
– Монго!..

Оживление, связанное с приходом СТОЛЫПИНА, не должно преувеличить без нужды его роль в этом мирке. Просто это человек, который волею обстоятельств поставлен в центр событий…

Что касается самого Монго-Столыпина… Похож одновременно, как сказал кто-то, на всадника и на его коня. Идет – головой вперед, как бык, готовый боднуть, и вместе, кажется, прикрывая живот… Породист, красив, нагл и раним.

Очень боится, что ему станут сочувствовать…

Все – к нему, когда он вошел:

– Столыпин!

СТОЛЫПИН *(отстраняя).* Я жив, к сожалению, и у меня много дел! *(Фраза, явно заготовленная прежде, на улице.)*

(К нему). – Монго! Что ты?!

– Столыпин! *(Один за другим, желая что-то сказать или спросить…)*

А. А. Столыпин-Монго в костюме курда

СТОЛЫПИН *(на ходу).* Я жив, к сожалению, и у меня много дел! Я жив, к сожалению, и у меня много дел!

Три, четыре, пять раз… Отшвыривая этой фразой всех встречных и прокладывая ею дорогу к лестнице…

А почти вся ресторация, кроме игроков, разумеется, оказалась на его пути – как выраженный или немой вопрос…

– Я жив, к сожалению, и у меня много дел!..

И, лишь поднявшись на несколько ступеней, обернулся – и вниз, кому-то растерянному, вопрошающему:

– Монго! Может, что-нибудь нужно?..

СТОЛЫПИН. Разве съездить в горы – туда и обратно!..

КТО-ТО *(сразу).* Я готов!

СТОЛЫПИН. …доставить один небольшой ледник. Совсем крохотный. Только быстро!..

И, пока соображали, взбежал по лестнице.
Пауза. В группе друзей:

– Монго – в своем репертуаре!..
– Монго?.. Кентавр!
– Почему кентавр?
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ *(сочувственно)*. Но если и кентавр – то раненный уже стрелою Геракла!..
ДМИТРЕВСКИЙ *(тихоня – вдруг зверея)*. Никогда не выносил вашего Геракла! С детства терпеть не мог! Тупица! Одна грубая сила!.. С его дурацкой палицей!
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ *(растерянно)*. Помилуйте! Что с вами?
ДМИТРЕВСКИЙ. Простите!.. Не знаю… Простите!

Пауза.
В номере у ПОЛКОВНИКА – СТОЛЫПИН.

ПОЛКОВНИК. Вы чем-то озабочены?
СТОЛЫПИН. Я? Льдом!..
ПОЛКОВНИК. Зачем? А-а… Да! А разве – в ресторации?.. *(Жест – куда-то вниз.)*
СТОЛЫПИН. Да. Но все пошло на это празднество к Голицыну. Бал не состоялся, а лед растаял!
ПОЛКОВНИК. Так что же вам мешает, простите? Не пойму!.. Комиссия уже дала свое разрешение…
СТОЛЫПИН. Но я не согласен хоронить за воротами! И не согласен – без христианского обряду!.. Покойный был христианин! На нем – нательный крест!
ПОЛКОВНИК. Вы сегодня сведете меня с ума! Почему за воротами? Почему без обряду? Кто сказал?..
СТОЛЫПИН. Отец Александровский – отец Павел – отказывается! Говорит, что покойный был самоубийца!
ПОЛКОВНИК *(с надменностью)*. Покойный был солдат, а не самоубийца!
СТОЛЫПИН. Я так и сказал!
ПОЛКОВНИК. Скажите от меня!
СТОЛЫПИН. Скажу! *(Тоном человека, который не верит, что это поможет.)*
ПОЛКОВНИК. Тогда каждый, кто надел это (*показал на свой мундир*)… самоубийца!..
СТОЛЫПИН. Я и это говорил!
ПОЛКОВНИК *(срываясь)*. Передайте отцу Александровскому… что несколько лет тому… в Петербурге, на отпевании тела камер-юнкера Пушкина, погибшего так же в дуэли, – присутствовали

послы иностранных держав и даже иные представители правящего дома!

СТОЛЫПИН. Это более подействует!..

ПОЛКОВНИК. У вас больше ничего ко мне?

СТОЛЫПИН. Нет. Благодарю…

ПОЛКОВНИК. У меня что-то к вам… Вспомнил! Да!.. У меня тут был некто Пожогин-Отрашкевич!

СТОЛЫПИН. А-а… Эта вонючка!

ПОЛКОВНИК. Што-с? Капитан, вы непристойны!

СТОЛЫПИН. Извините! Так называл его покойный брат. Это – узы родства!

ПОЛКОВНИК. Все равно! Прошу вас впредь выбирать выражения!

СТОЛЫПИН. Слушаюсь!

ПОЛКОВНИК. Он говорил… о вещах, оставшихся якобы здесь, на вашей общей квартире… Что он – единственный наследник и прочее…

СТОЛЫПИН *(без выражения).* Может быть. Может статься… и даже почти наверняка… Но… Когда-нибудь!

Но покуда… все имущество покойного было от бабки его. Госпожи Арсеньевой. Ныне здравствующей. *(Усмехнулся.)*

Он был как внук – единственный наследник ее. Теперь она, напротив, наследует ему.

А что старуха под семьдесят наследует внуку двадцати семи…

Непередаваемый жест! В нем – презрение и – вместе – покорность судьбе!..

Я отправлю на дни… все вещи – с людьми и лошадьми в адрес г-жи Арсеньевой. В имение.

О чем могу дать бумагу! Снабженную соответствующим подписом.

ПОЛКОВНИК. Благодарю. *(Помолчал.)* Вы более ничего… не имеете сообщить мне?

СТОЛЫПИН. Что, собственно?..

ПОЛКОВНИК. О том, что здесь произошло!..

СТОЛЫПИН *(ровным голосом).* Нет. Нимало!

Но так как ПОЛКОВНИК молчит…

– Ну вряд ли что-то новое… сравнительно с тем, что сказано, верно, уже г-ном Мартыновым и секундантами.

ПОЛКОВНИК. Не хотите?.. *(То ли вопрос, то ли утверждение.)* Признаться… Я ждал большего доверия! От вас от всех!..

Пауза.

СТОЛЫПИН *(решившись)*. Полковник! Можно вам подать совет?..

ПОЛКОВНИК. Смотря какой!

СТОЛЫПИН. Вы для нас и впрямь – не случайный человек! Мы знаем вас по фронту… Вы не годитесь для роли следователя! Уезжайте!

ПОЛКОВНИК. Капитан! Такие советы дают, когда их спрашивают!

СТОЛЫПИН. Виноват!.. Но я испросил позволенья – подать совет!

ПОЛКОВНИК. Не понимаю… Вы были ближайшим другом к нему!..

СТОЛЫПИН. Мм… Преувеличено!

ПОЛКОВНИК. Бросьте – будто никто не знает, что вы – ближайший к нему человек!

СТОЛЫПИН. Сильно преувеличено! В последнее время, вообще – мы порядком надоели друг другу и собирались разъехаться!

Ну правда! Иметь рядом постоянно такой ум, как его! Согласитесь, это утомительно!

ПОЛКОВНИК. Не позируйте, капитан!

СТОЛЫПИН. Отнюдь! Я даже будто освободился. Вынужденно! И теперь – немного побуду собой!

ПОЛКОВНИК *(поморщился)*. Без позы, без позы!..

СТОЛЫПИН. Нет, правда! И что такое – ближайший друг, ближайший человек? Так! Метафизика! Каждый из нас – ближайший друг самому себе… Или – ближайший враг! Бывает такое – «ближайший враг»?

ПОЛКОВНИК *(утомленно)*. Без позы, без позы! *(Пауза.)* И вы не хотите – открытия истины?

СТОЛЫПИН. Какой истины?.. (*Пауза… И – глаза в глаза.)*

Ну, если б это что-нибудь могло изменить! А так… метафизика! Чистая метафизика!

ПОЛКОВНИК. А вы не верите – в справедливость?

СТОЛЫПИН. Не верю!

Пауза.

ПОЛКОВНИК. Благодарю, капитан! Я вас больше не

задерживаю!

СТОЛЫПИН. Спасибо!..

Но ему не хочется так уйти – хоть, может, он повернулся, чтоб уйти…

– Но только одно! Если б он сейчас стоял перед вами, а я лежал бы там *(показал за окно)*… и юнкер Бенкендорф отгонял бы мух от меня… Он бы вам говорил то же самое!

ПОЛКОВНИК. Что ж!.. Это хотя бы – искренне!

Смотрит куда-то мимо него. СТОЛЫПИН тоже взглянул в окно и вдруг усмехнулся громко. Почти рассмеялся.

ПОЛКОВНИК. Что с вами?

СТОЛЫПИН *(вдруг совсем просто)*. Подумать только! Все эти горы… декорации, что он так любил, – эти синие ледники, все вместе, – не способны сохранить его тело на этой земле – на лишние полчаса!

ПОЛКОВНИК. А не стоит никого и ничего любить, правда? *(С вызовом и состраданием к нему.)*

СТОЛЫПИН круто повернулся и пошел к двери. Остановился на пороге…

СТОЛЫПИН. Я бы лишь предложил… меня не послушают, конечно! – но вместо всех наказаний и даже содержания в крепости… предоставить отставному майору Мартынову – лично! – сообщить о случившемся бабке покойного!

А так – это делать придется мне!

И вышел. Пауза.

В ресторации появился еще голубой мундир. Бухнул с порога:

– Государственная польза!

И его увели поить и кормить.

Столыпин спускается по лестнице, где у схода столпились друзья, ожидающие от него неизвестно чего… Он хотел было отгородиться стереотипной фразой, но глянул на их вытянутые лица и…

СТОЛЫПИН. Прохаживайтесь! Прохаживайтесь! Стояние на месте могут счесть изъявлением излишнего сочувствия!

Прохаживайтесь!

…так всерьез, что они в самом деле поглядели друг на друга – может, они как-то неуместно стоят… Тогда он, понизив тон:

– Прохаживайтесь! Мы – страна ходячих мнений, но стоячих бунтов!.. *(Расхохотался. И скрылся в дверях.)*

Пауза.
У выхода: СЕСТРЫ – СТАРШАЯ и МЛАДШАЯ.

МЛАДШАЯ. Ну повесь дощечку на двери: «Княжна Мэри живет на соседней улице»… Или – «ниже по склону»! *(С выражением.)*

СТАРШАЯ. Ты зла!.. *(Стоит перед зеркалом.)*

МЛАДШАЯ. Еще бы! Пора!.. В конце концов, даже неприлично, что мы одни не были там!

СТАРШАЯ. Хорошо! Только ты подождешь у входа, на улице!

МЛАДШАЯ. Это почему?

СТАРШАЯ. Смерть – не зрелище для детей!

МЛАДШАЯ. А жизнь?..

Выходят. Пауза…
По залу:

– Бенкендорф!..
– Бенкендорф!..

Вошел (с улицы) юнкер – хрупкий, очень стройный, как барышня. И совсем бы незаметный, если б не громкое имя.
Двое у окна:

– Не бойтесь! Это – не тот Бенкендорф!

ТИРАН *(Николаю Ивановичу).* Как я его понимаю!..

…когда юноша идет по залу, провожаемый взглядами.
Он подошел к группе молодых людей и ткнулся в плечо Льву Сергеевичу…

БЕНКЕНДОРФ. Он совсем переменился!.. Совсем переменился!.. *(Что-то шепнул на ухо.)*

КТО-то ИЗ ОКРУЖАЮЩИХ *(ему).* Тсс! Тут дамы!

ДЕВУШКА. Кто переменился?

– Столыпин. Кому ж еще? Столыпин!

Пауза.

В это время вверх по лестнице взбежал какой-то запыленный, явно с дороги, офицер – резко отличный по виду от всех присутствующих…

– Я к полковнику!.. *(Карпову.)*

КАРПОВ *(Полковнику, растерянно).* К вам!..

ОФИЦЕР. Полковник! Я только что прибыл! И только что – узнал! Это все из-за меня!

Перед вами судьба Лермонтова!

ПОЛКОВНИК. Как? Еще одна? Сколько ж у него было судеб?..

Пауза.

А в ресторации – старший из музыкантов оркестра (4-й, «ДИРИГЕНТ») – вошел, сделал знак остальным, сидевшим тихо в стороне… Те поднялись и подняли с полу инструменты.

– Ваш выход! Ваш выход!.. *(Заторопил.)*

Не перепутайте ноты!

Музыканты ушли. И в зале – пауза какого-то незаметного движения к выходу…

ГОЛОС *(откуда-то сверху, с колосников – будто Дорохова, выкликая).* Полковник Безобразов! Майор Арнольди! Подполковник Тиран!

Люди – один за другим – заспешили к дверям.

Ресторация пустеет. Опустел номер Полковника из штаба – на втором этаже.

Остались только ИГРОКИ за столом… В игре – запись… 2-й игрок записывает, а 1-й – по-детски, с полуоткрытым ртом, следит за ним:

1-й ИГРОК. И еще – за онеры! И еще за онеры! И еще – за онеры!..

Пауза.

Оркестр за окнами… Похоронный марш!

1-й *(поднял голову).* Что?.. Никого нет?

Пустая ресторация…

Звуки похоронного марша.

Игроки пересаживаются, меняясь местами за столом. СЭР ГЕНРИ МИЛЛС сдает карты, прочие принимают их, смотрят, на глаз прикидывают шансы…

1-й *(под нос)*. И еще – за онёры! И еще за онёры!

Пауза похоронного марша…
1-й вдруг бросил карты на стол:

– Нет, не могу!.. *(И пошел к окну.)*

Остальные поглядели на него, кажется, с недоумением. Только 3-й вроде понял и пожал плечами. Пауза. Звучит марш…

1-й *(от окна)*. Полковник Безобразов – от нижегородских драгун!.. Арнольди, майор, – от гродненских гусар! От лейб-гусар – Тиран! И унтер-офицер – от Тенгинского пехотного…

Пауза. Марш под окнами.

1-й *(вернулся к столу и словно в оправдание)*. На руках – несут!

2-й. Да тут недалеко!..

СЭР ГЕНРИ МИЛЛС. In Europe they would never unterrupt cards, not even at the end of the world!

1-й. Что он говорит?

2-й. Что в Европе не принято прерывать игру – даже если конец свету!..

Игра возобновилась.

Еще какое-то время звучит похоронный марш, который вдруг сменяется почти без перехода – веселеньким мотивом музыки с бульвара…

1-й *(поднял голову)*. Что они играют?

3-й. Вы забылись. Это уже следующий день!.. Бал у Голицына!

1-й. Разве?.. *(Провел рукой по лбу.)* Так незаметно идет время за картами!..

2-й. Да. Нынче бал состоится. Хорошая погода. *(Обыденно. Смотрит в карты.)*

А ресторация постепенно вновь заполняется людьми, покинувшими ее – вчера?.. или несколько минут назад? (кто знает, что значит время?) – ради чрезвычайного происшествия. Люди

встречаются, сталкиваются, переговариваются негромко.

За игорным столом:

1-й. Все-таки ужасная история! *(Поежился.)*

2-й *(понял не сразу).* Ах, вы о Лермонтове?!

Пауза.

3-й *(глядя в карты).* Ну, во-первых, человек убит; прискорбно уже само по себе, хоть я и не относился к поклонникам его!.. Потом… один из нас убит одним из нас – что тоже неприятно!.. И убил наш милый, загадочный, наш угрюмый майор…

Я долго думал, что скрывается за его загадочностью? Мм… Оказалось – вон что!

2-й. Но дуэль – не убийство: поединок чести!

3-й. Ах, оставьте!.. *(Поморщился.)* Этот казарменный гумор! Солдатский анекдот!..

2-й. Но все считают так!

3-й *(надменно).* Почему это – *все*, когда я так не считаю?!..

А ПОДПОЛКОВНИК ТИРАН поманил зачем-то игрушечного Офицерика.

ОФИЦЕРИК. Вы – меня?..

Подошел. Слегка удивлен…

ТИРАН выпил и чуть развязен. Но в границах приличий…

ТИРАН. Ну не все ж вам стоять за чужим столом, следя чужую игру!

И молчит о чем-то…

ОФИЦЕРИК *(полагая, что они молчат об одном).* Как подумаю, что мы там оставили его одного!.. И ушли!

ТИРАН *(воззрился на него с любопытством).* А открыть вам мои карты? Облегчить душу?..

ОФИЦЕРИК. Какие карты? *(Улыбнулся растерянно.)*

ТИРАН. Не стоит! И вы – не давайте мне говорить! Потом пожалеете!

ОФИЦЕРИК. Почему?

ТИРАН. Иногда мне самому хотелось его… того! А теперь плачу. Смешно! *(Странный жест. Вдруг рассмеялся и ткнул его пальцем под ложечку.)* Тираны мира! Трепещите!..

Оставив собеседника в растерянности. Пауза.
В центре зала – кто-то, прислонившись к стене:

– А два дня назад намокли все бумажные фонари!
– Подумаешь! Повесили новые – бумажные!

ПОСЕТИТЕЛЬ, что вчера писал письмо, – пишет снова, но, должно быть, другое:

– Все, что я писал тебе вчера… *(Зачеркивает.)* Я нечаянно был введен в заблуждение, изложив тебе причину… *(Зачеркивает.)* Вот как рассказывают эту историю вполне достоверно… Из самых достоверных источников. *(Пишет.)*

Проходят двое офицеров, из коих один – тот, что вчера, под занавес, ворвался к Полковнику из штаба…

ОФИЦЕР. Я сказал им – поедем в Пятигорск! Там все наши. Они сыграли в орлянку… Вышло ехать!
Брр! Так и вижу эту монету на полу! Как судьбу!
ДРУГОЙ. А монета – как упала? Орлом?
ПЕРВЫЙ. Орлом!
ДРУГОЙ. Тогда судьба!.. Ну кто-то ж должен вертеть всем этим!.. *(Общий жест – на все вокруг.)*

Прошли.
За одним из столов ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ и ДЕВУШКА (та самая).

ДЕВУШКА. Нет, вы скажите – как старший! Мы будем ходить на балы? И радоваться, что нынче нету дождя? И забудем? И вовсе не станем думать?..
ЛЕВУШКА. Да. Наверное. То есть это – не совсем так!.. Что-то в нас остается! Там, знаете… Потаенно!
ДЕВУШКА *(с улыбкой)*. Он и в гробу был так хорош, как живой! Как по-вашему, это будет в портрете?
ЛЕВУШКА. Вряд ли… Вряд ли! Все портреты врут – более или менее!
ДЕВУШКА. А Дмитревский так и не нашел мое бандо! То самое – с золотым ободком!.. Была бы мне память!

Пауза. Вдруг прикрыла глаза и очень внятно произнесла…

Если что случится со мной – знайте, что это белые олени! *(И*

открыла глаза – как после сна. Спросила тихо.)

Вы не знаете, что это – белые олени? *(Тряхнула головой, словно сбрасывая наваждение.)*

– Это Миша сказал, когда уходил! Я вспомнила, наконец!

«Если что случится со мной – знайте, что это – белые олени…» А что это?.. *(Почти шепотом.)*

ЛЕВУШКА. Не знаю. Хотя… Он мне что-то говорил! Нет, определенно говорил! Я слышал от него… То ли они похожи на что-то, то ли – что-то на них… Не помню! *(Усмехнулся грустно.)*

Но не могло же у родителей достать на двоих?

ДЕВУШКА. А это неспроста, а?

ЛЕВУШКА. Я лучше вашего знал эту породу людей! Вот и скажут чепуху – а со значением! У меня был брат такой!

ДЕВУШКА. А разве бывают белые олени?…

К их разговору прислушивается НЕИЗВЕСТНЫЙ за соседним столом, которого мы видели раньше – с мольбертом художника. Может, и сейчас у ног его сложенный мольберт. Официанты начинают обносить присутствующих мороженым…

ПОСЕТИТЕЛЬ *(который пишет письмо).* Лермонтов сказал: «Знаешь, кто такая княжна Мэри?.. Княжна Мэри – это твоя сестра!»

Мартынов в этих условиях был должен стреляться – как благородный человек!

Но зачем он стрелял?.. *(Пишет.)*

ДЕВУШКА *(Льву Сергеевичу).* Не знаете, почему эта Эолова арфа не поет? Я хотела спросить у Миши, да как-то не вышло!

ЛЕВУШКА. Не знаю, не скажу. Говорят, пела когда-то. *(Помолчал.)* Может, и сейчас поет. Только люди перестали понимать ее язык!..

За соседним столиком сестры СТАРШАЯ и МЛАДШАЯ.

МЛАДШАЯ. Ну ты довольна? Ты уже – не княжна Мэри! Тебя разжаловали!.. Появилась новая претендентка… Сестра Мартынова! *(Понизив тон.)* А тебе б не хотелось быть княжной Мэри?..

СТАРШАЯ. Слушай, как я тебя терплю?

МЛАДШАЯ. Ты лучше спроси – как я себя терплю? Ты меня терпишь лишь часть времени… Но я себя – все время!

Левушка и 1-я Девушка.

ДЕВУШКА. И почему все так грустно?

ЛЕВУШКА. Не говорите!

У меня был брат!.. *(Начал он.)* Он был не самый легкий человек… И я был не самый удачный у него братец!.. Но… я знаю этих людей!.. Это – особая порода!.. Они, как боги, нисходят к нам с Олимпа, и им некогда научиться… быть обыкновенными людьми!

…и вдруг заметил, что она смотрит куда-то в сторону. В пространство, в котором слышится музыка.

– Вам надо идти!.. Там – что было, не было… развлечься немного! Либо отвлечься!..

ДЕВУШКА. Я никуда не пойду! *(Но чуть приподнялась.)*

ЛЕВУШКА. Идите-идите! Вам надо! Идите!

ДЕВУШКА. Это нехорошо! На следующий день!..

ЛЕВУШКА. Ничего. Я отпускаю грехи. Идите, идите!

ДЕВУШКА. Вы думаете?.. *(Пошла. Остановилась.)* Но мне вовсе не хочется, вовсе не хочется!

ЛЕВУШКА. Идите!

ДЕВУШКА. А вы, Левушка?

ЛЕВУШКА. Но я старше вас!

Она мотнула головкой и направилась куда-то. Исчезла среди молодых людей…

Звуки музыки.

И люди прислушиваются к ней и покидают ресторацию один за другим.

ОФИЦЕРИК поднялся на пару ступенек вверх по лестнице, облокотился на перила и глядит, как зала пустеет. Грустен. Мимо идет КАРПОВ.

ОФИЦЕРИК *(окликнул)*. Карпов!.. *(И пожаловался ему.)* Как подумаешь, что мы там оставили его одного!.. В полной тьме! И ушли.

КАРПОВ *(писарским тоном)*. Да… Жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг – такая пустая и глупая шутка!

ОФИЦЕРИК. Карпов! Ты тоже разочарован?

КАРПОВ. А как же-с! *(С достоинством.)*

И двинулся наверх.

А ОФИЦЕРИК подумал еще и побрел к игрокам.

ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН постоял в одиночестве и подсел к

столу – где сидят ДВЕ СЕСТРЫ.

И они:

СТАРШАЯ. Ой, Левушка, вы!.. Как все ужасно, право, ужасно!

ЛЕВУШКА *(расчувствовавшись).* У меня был брат… Положа руку на сердце… я был не самым легким у него братцем! Беспечен, легкомыслен… а в молодости и того хуже, увы! Я вечно досаждал ему неприятностями. Он платил мои долги!.. Молодость безмерна, не знает меры… Но когда его не стало…

СТАРШАЯ. Я вас понимаю. Мне даже не хочется идти на этот бал!

ЛЕВУШКА *(замахал руками).* Идите, идите!

МЛАДШАЯ. Но мне не хочется! *(Искренне.)*

СТАРШАЯ *(в пространство).* Мне вовсе не хотелось идти на этот бал!

…чуть подтолкнул а Младшую. Уходят…

А он подошел к ОФИЦЕРИК у и стал рассказывать ему:

– У меня был брат!.. Он был великий человек! Великий, знаменитый! Я иногда думал: «А почему, собственно… Господь все отпустил ему, а не мне?»

Но когда его не стало…

ОФИЦЕРИК. Я сам не понимаю, зачем туда иду?..

ЛЕВУШКА *(быстро).* Идите, идите! Я вас задерживаю!

ОФИЦЕРИК. Вот жизнь! И не хочешь идти – а идешь!.. *(Развел руками. Ушел.)*

Зала быстро пустеет. И темнеет за окнами.

ДВОЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ у окна:

– Мартынов!

– Где?..

– Вон, белая черкеска!.. Гуляет. С конвоиром!..

– И кто-то с ним раскланялся!

– А что, по-вашему, с ним в жизни теперь и кланяться не будут?

ЛЕВУШКА *(подошел).* Где?

Ему показали:

– Вон! Белая спина! *(И своему спутнику.)* Пошли и мы! Пора! *(Покидают зал.)*

ЛЕВУШКА *(стоя у окна).* Белая спина! Белая загадка!..

(Улыбнулся зловеще.)

Пауза. Крикнул в пространство:

– Человек!..

Появился Половой. ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ жестом потребовал большой бокал, а не какой-нибудь… И когда ему поднесли – он в пустой ресторации (поодаль только игроки) – подошел к пустому столу и, присев на край, отодвинул пустой стул и – с бокалом в руке – стал рассказывать этому стулу:

– У меня был брат! Положа руку на сердце – я был не самый приятный у него братец! Я тянул с него деньги. Иногда таскал по секрету. Из бумажника. Тискал его девок. Прокучивал его гонорары – с цыганками у Демута…

А потом его не стало. И я стал думать – может, это меня?!..

Выпил с полбокала. Опрокинул стул. Подошел к другому столу. Присел – и другому стулу:

– У меня был брат! Положа руку на сердце – он был не самый легкий человек! И при жизни его – я устал… Всегда быть только чьим-то братом! Я думал, грешный человек, когда он умрет – а я моложе его! – я сам стану Пушкин…

Мм… И што-с?

Когда его не стало – я понял, что кончилась и моя жизнь, как кончается жизнь тени!

Пауза. ИГРОКИ.

СЭР ГЕНРИ МИЛЛС. This man… There… What he is talking about?

2-й. Спрашивает, что он там говорит, этот человек?

1-й. Это Пушкин – брат известного сочинителя!

2-й что-то перевел. Усмехнулся…

СЭР ГЕНРИ МИЛЛС *(покачал головой)*. In England we have never heard of him!..

2-й. Говорит, что Англия не знает такого!

3-й. Скажите, это потому – что у них мужчины ходят в юбках.

Пауза. Темнеет…

В номере – ПОЛКОВНИК и КАРПОВ.

ПОЛКОВНИК. Да, ты обещал мне – реестр вещам покойного Лермонтова. Что там осталось от него…

КАРПОВ. Все читать?.. *(Ищет бумагу, потом читает.)*

Образ маленький святого архистратига Михаила в серебряной вызолочной ризе. Один.

Крест маленький, вызолочный с мощами. Один.

Писем разных лиц и от родных – 17.

Собственных сочинений покойного на разных лоскуточках бумаги – кусков семь…

Поздний вечер. Разошлись игроки.

В ресторации – один ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ. Сильно пьян. Входит, видно, разыскивавший его ДОРОХОВ.

ЛЕВУШКА *(не глядя, обыденным тоном)*. Руфин, я все понял! Они убили его!

ДОРОХОВ. Кто?

ЛЕВУШКА. Кавалергарды!

ДОРОХОВ. При чем тут кавалергарды?

ЛЕВУШКА. Как?.. Дантес – кавалергард. Мартынов – кавалергард… Сначала брата, потом – Мишу. Убили! Ты не знаешь их, как я знаю. Они – полк предателей…

ДОРОХОВ *(спокойно)*. Ты преувеличиваешь!

ЛЕВУШКА. Ты их не знаешь!.. В 37-м они все как один стояли за Дантеса!

ДОРОХОВ. Ну за кого-то ж им надо было стоять!.. Дантес был их полку!..

ЛЕВУШКА. Нашего полку прибыло! *(Усмехнулся.)* Первый полк русской гвардии встает горой за какого-то прощелыгу-иностранца!

Они все предатели. До одного.

ДОРОХОВ. Преувеличиваешь!

ЛЕВУШКА. Декабря 14-го – они первые пришли на помощь тому!

ДОРОХОВ. Ну и что? Не одни они!

ЛЕВУШКА. Они там сталкивали под лед раненых московцев! Сам видел!

ДОРОХОВ. Ты разве был на площади?

ЛЕВУШКА. Был. А ты не знал? Ты молод, вообще, и многого не знаешь!

ДОРОХОВ. Как же тебя не замешали?

ЛЕВУШКА. Да так… Я, понимаешь, все бегал, смотрел – ты ж

знаешь меня! Пока соображал, то да се, кто за кого, – и день прошел. День короткий. Декабрь!

Давай кричать: «Кавалергарды – предатели!»

ДОРОХОВ. Не надо ничего кричать!

ЛЕВУШКА. Давай крикнем вместе: «Кавалергарды убивают поэтов!»

ДОРОХОВ. Тише!

ЛЕВУШКА. Я один! *(Кричит.)* «Преторианская гвардия убивает русских поэтов!»

ДОРОХОВ дает ему пощечину, легко и негромко.

ЛЕВУШКА. Што-с?

ДОРОХОВ. Ничего. *(Спокойно.)* Но я ведь никогда не был кавалергардом – ты знаешь…

ЛЕВУШКА. Руфин! Ты, кажется, ударил меня!

ДОРОХОВ. Тебе показалось.

ЛЕВУШКА. Да! *(Держась за щеку.)*

ДОРОХОВ. Нет!

ЛЕВУШКА. Я тебя вызываю!

ДОРОХОВ. А я не стану драться с тобой.

ЛЕВУШКА. Ладно! *(Вдруг тоскливо.)* Ты их не знаешь, как я их знаю. Кавалергардов!..

ДОРОХОВ. Может…

ЛЕВУШКА. У них свои понятия о чести. Не наши!..

ДОРОХОВ. Да, нас ведь с тобой не взяли б в кавалергарды – мы ростом не вышли!

ЛЕВУШКА *(пьяно хихикнул)*. Да! Хотя на коне и в постели – все одного росту! *(Вдруг зверея.)* Я их вызываю! Их всех! Весь полк!

ДОРОХОВ *(спокойно)*. Завтра вызовешь! Завтра!

ЛЕВУШКА. Не веришь? Я вызываю их!

ДОРОХОВ. Ладно. Пойдем!.. Тебе одному нельзя – с целым полком. А мы – вдвоем – мы, может быть, справимся! *(Обнял и пытается увести его.)*

ЛЕВУШКА *(вдруг останавливаясь)*. Руфин, скомандуй! «Сходитесь или я вас разведу!»

ДОРОХОВ *(ровно и тихо)*. Сходитесь или я вас разведу!

ЛЕВУШКА *(вытянул указательный палец в темноту)*. Пли! Пли! Пли! Дайте мне еще одного кавалергарда! *(И, сотрясаясь в рыданиях, упал на грудь Дорохова. Пауза. Почти спокойно.)*

Я вспомнил. Был такой Фома Лермонт – древний шотландский бард и пророк. Это за ним феи послали белых оленей!

(*Пауза. В зал – очень громко.)* Поэты не умирают, господа! За ними приходят белые олени!

Ушли.

Спустя какое-то время на лестнице, на площадке появился ПОЛКОВНИК в домашнем халате.

ПОЛКОВНИК. Кто тут кричал? *(В темноту.)* Я спрашиваю – кто кричал?..

Из темноты вынырнул КАРПОВ и ровным голосом:

– Майор Пушкин, ваше высокоблагородие! С ним – солнечный удар! *(Постучал себя по голове.)*

ПОЛКОВНИК. Передайте майору Пушкину, что я не слышал, к сожалению, того, что он говорил, и потому прошу его завтра зайти ко мне!

Пауза.

– Ты обещал мне реестр вещам покойного Лермонтова. Что там осталось от него!

Пауза. Темно.

ГОЛОС КАРПОВА. Шкатулка орехового дерева с бронзом – одна…

…Ножик перочинный с ножницами и другой небольшой сломанный – два.

Кисть для бритья с ручкою Нейзильбер…

Бритв в черных черенках в футляре – две.

…Мундир поношенный – один.

…Брюк одне новые, другие поношенные, суконных форменных – двое.

…Шаровары поношенные – одне.

Таковые же, серого сукна, поношенные – одне…

…Эполет мишурных пар три!.. *(Голос переходит в монотон, еще какое-то время не исчезая совсем.)*

На просцениуме появился ПОЛКОВНИК в домашнем халате и невидимому собеседнику, в зал:

– Вам следовало обратиться к полковнику… э-э… *(Затруднился фамилией.)* Кушинникову! Он вел дело.

(Помолчав.) Понимаю! Обычная для нас, русских,

сторонность – к чинам жандармского ведомства, к голубому мундиру. Зря, в сущности! Там тоже есть порядочные люди – как везде! Дело ваше, конечно!

Белые олени?.. Не масонское что?.. Не припоминаю!..

(Еще помолчав.) Такие дела! Мы что-то упустили – где-то, когда-то!.. В каких-то годах… Теперь уж не поймешь, где и когда!..

Вы читали последнюю сводку из-под Севастополя?..

Пауза.

ГОЛОС в монотоне почти без различения слов – продолжает читать список вещей, оставшихся от усопшего Лермонтова.

Конец

Ленинград. 1970-е…

Редакция 2013 г.

notes

Примечания

1

Эйхенбаум Б. М. Герой нашего времени // Статьи о Лермонтове. М.-Л., 1961. С. 270.

2

Там же. С. 271.

3

Там же. С. 273.

Виноградов В. В. Стиль прозы Лермонтова // Литературное наследие. М.-Л., 1941. Т. 43–44. С. 580.

5

Лермонтов М. Собр. соч. В 4 т. 1979–1981. Т. 4. С. 404. Письмо 30. Здесь и далее все тексты Лермонтова приводятся по этому изданию. Вне специально оговоренных случаев – курсив и подчеркивания мои. – *Б. Г.*

6

Там же. Т. 4. С. 405. Письмо 31 от 15 февраля 1838.

7

Лермонтов М. Ю. Указ. издание. Vanue. Т. 2. С. 559. Комментарий.

8

Лермонтовская энциклопедия (далее ЛЭ). Советская энциклопедия. М., 1981. С. 561. Ст. «Тамбовская казначейша».

Панаев И. Из литературных воспоминаний // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1964. С. 241.

10

Там же. С. 478. Комментарий М. И. Гиллельсона и В. А. Мануйлова.

11

ЛЭ. Ст. «Тамбовская казначейша». С. 561.

12

Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами // Лермонтов в восп. современников. Указ. изд. С. 205.

13

ЛЭ. С. 441. Ст. «Поэт».

Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М., 1964. С. 7.

15

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Изд. 4-е. АН СССР. Пушкинский дом. Т. 2. С. 231–235. Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, тексты Пушкина приводятся по этому изданию.

16

Пушкин А. С. Указ. изд. Т. 2. С. 378. (Комментарий.)

17

Пушкин А. С. Указ. изд. Т. 10. С. 151. А. С. Пушкин – П. А. Плетневу. 4–6 декабря 1825, письмо 179.

18

Там же. С. 120. Письмо 140.

19

Там же. Т. 2. С. 358. «Это убийство рассматривалось как акт революционного патриотизма. Занд был казнен». Комментарий Б. В. Томашевского.

Пушкин А. С. Указ. издание. Т. III. С. 340.

21

Пушкин А. С. Указ. изд. Т. III. С. 85–86.

Эйхенбаум Б. М. Литературная позиция Лермонтова // Статьи о Лермонтове. Указ. изд. С. 96–97.

23

Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. Собр. соч. В 7 т. М.: Худож. лит. 1984–1986. Т. 6. С. 353.

Эйхенбаум Б. М. Указ. изд. С. 99.

Тынянов Ю. Н. Пушкин и Тютчев // Пушкин и его современники. М., 1968. С. 167–168.

26

Лермонтов М. Ю. Указ. изд. Т. 4. С. 605. (Комментарий.)

Пушкин А. С. Указ. изд. Т. 2. С. 174–179.

28

Висковатов П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1987. С. 318–319.

29

Белинский В. Г. Письма. – Письмо к Боткину от 16–21 апреля 1840 г. Собр. соч. М., 1982. Т. IX. С. 364.

30

Анненков П. В. «Замечательное десятилетие», глава IX // П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 168.

31

Гоголь Н. В. Собрание сочинений в семи томах. Указ. издание. Т. III. С. 65.

Лермонтов М. Ю. Указ. изд. Т. I V. С. 325–326.

33

Шекспир Вильям. Полное собр. сочинений в восьми томах. М., 1960. Т. 6. С. 347.

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 137.

Выделено повсюду мной. – *Б. Г.*

Лермонтов М. Ю. Письма. Указ. изд. Т. IV. С. 396.

Эйхенбаум Б. М. «Герой нашего времени». Указ. изд. С. 270.

Пушкин А. С. Собрание сочинений. Т. VI. С. 443.

39

Лермонтов М. Ю. «Герой нашего времени. Бэла». Указ. изд. Т. IV. С. 185.

Пушкин А. С. Собр. соч. Т. VI. С. 437.

Лермонтов М. Ю. Указ. изд. С. 216.

42

Эйхенбаум Б. М. Герой нашего времени. Указ. изд. С. 272.

Пушкин А. С. Собр. соч. Путешествие в Арзрум. Т. VI. С. 444.

Лермонтов М. Ю. Указ. изд. С. 203.

45

Давыдов Д. В. Указ. соч. По книге «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». 1980. С. 149.

Лермонтов М. Ю. Указ. изд. С. 216.

47

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Факсимильное издание 1991 г. со второго издания (1880–1882 гг.). Т. IV. С. 319.

Пушкин. Собр. соч. Путешествие в Арзрум. С. 441.

Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 435.

Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. М.: Сов. писатель. Ленинградское отделение, 1971. С. 330

Лермонтов М. Ю. Указ. издание. Т. I V. С. 458.

Лермонтов М. Ю. Указ. изд. Т. I V. С. 458.

М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1964.

Курсив мой. – *Б. Г.*

55

В черновом автографе название отсутствует; оно имеется в копии из архива Ю. Ф. Самарина и в первопечатном издании. Комментарий // Лермонтов М. Ю. Указ. изд. Т. I. С. 608.

Тынянов Ю. Н. Смерть Вазир-Мухтара. М., 1981. С. 156.

57

Напомним, что в черновом автографе заглавие отсутствует; оно имеется в копии из архива Самарина и в первопечатном издании. Лермонтов М. Ю. Указ. изд. Т. I. С. 608 (Комментарий И. С. Чистовой). В издании название идет по первой строке «Я к вам пишу случайно, право…».

Толстой Л. Н. Набег. Собр. сочинений в двадцати двух томах // М., 1979. Т. II. С. 21.

Толстой Л. Н. Севастополь в мае. Собр. соч.: В 22 т. С. 145.

60

Возможно, что стихотворение было написано перед отъездом Лермонтова на Кавказ, в ссылку. А. П. Шан-Гирей называет его в числе тех, которые создавались поэтом в заключении во время следствия по делу «О непозволительных стихах». (Комментарий И. С. Чистовой.) Стихотворение нынче печатается под названием «Молитва» // Лермонтов М. Ю. Указ. изд. Т. IV. С. 594.

61

Там же. Письма. С. 408.

Лермонтов М. Ю. Указ. издание. Т. I. С. 256.

Там же. С. 575–576.

Пушкин А. С. Собр. сочинений в десяти томах. Л., 1977–1979. Т. III. С. 160.

Пушкин А. С. Собр. сочинений в десяти томах. Л., 1977–1979. Т. III. С. 211.

Вяземский П. А. Старая записная книжка. 15 января 1831 г. М., 2003. С. 634, 636.

Лермонтов М. Ю. Указ. изд. Т. I. С. 618.

Библия. Книга пророка Исайи. Гл. 6 // Издание Московской патриархии. М., 1979. С. 685.

Пушкин А. С. Указ. изд. Т. X. С. 148.

С. Л. Абрамович была уже известна к тому времени как автор ряда серьезных статей об истории пушкинской дуэли, и знаменитая книга ее «Пушкин в 1836 году», думаю, тогда готовилась ею к печати. Шла осень 1982-го, а книга (первым изданием) вышла в 1984 году. По выходе она невольно затмила собой знаменитую монографию П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Правда, у автора за более чем пятьдесят лет после книги Щеголева было в руках и много больше материалов.

71

Между прочим, перечел сейчас статью Абрамович о письмах Вяземского: про эту «Пруссачку» сказано достаточно ориентировочно и не совсем убедительно. – *Б. Г.*

72

Письма Жоржа Дантеса Якобу ван Геккерну / Петербург, 20 января 1836 года // Витале Серена, Старк Вадим. Черная речка. До и после. Санкт-Петербург, 2000. С. 114. Основной корпус этих писем связан со временем их разлуки, когда Геккерн почти на год отбыл в Европу для разрешения формальностей, связанных с усыновлением Дантеса при живом отце. В программу поездки входило знакомство с «папенькой Дантеса» и другими его родственниками. Приведенная часть письма была известна, как мы сказали, с 1946 года, когда Анри Труайя во Франции опубликовал два отрывка, а публикация была встречена специалистами дурно. Она разрушала привычный образ события. Считалось, что отрывки «вне контекста всей переписки» и потому им нет доверия. (Выделено всюду мной. – *Б. Г.*)

Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году (предыстория последней дуэли). Л., 1989. С. 16.

Левкович Я. Л. Новые материалы для биографии Пушкина, опубликованные в 1963–1966 годах // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1967. Т. 5. С. 375.

Последний год жизни Пушкина. Составление, вступительные очерки и примечания В. В. Кунина. М., 1990. С. 93.

Там же. С. 423.

Последний год жизни Пушкина. Составление, вступительные очерки и примечания В. В. Кунина. М., 1990. С. 378.

Выражение Вяземского.

Пушкин А. С. Т. X. С. 342.

Пушкин А. С. Указ. изд. Т. X. С. 213 (634 – перевод).

81

Письма Дантеса к Геккерну // Витале С., Старк В. Указ. изд. С. 158–159.

Витале С., Старк В. Указ. изд. С 163.

Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 81.

Пушкин в восп. современников. М., 1985. Т. 2, С. 181–182.

Витале С., Старк В. Указ. изд. С. 164 (комментарий).

Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 90.

Дантес-Геккерн. Письма Екатерине // Витале С., Старк В. Там же. С. 182.

88

Дантес-Геккерн. Письма Екатерине // Там же. С. 184. (Комментарий.)

89

Последний год жизни Пушкина. Указ. изд. С. 371–372.

Последний год жизни Пушкина. Указ изд. С. 422–423.

Витале С. Старк В. Указ. изд. С. 185.

Витале С. Старк В. Указ. изд. С. 188–189. (Подчеркнуто мной. – *Б. Г.*)

Там же. С. 190.

Там же. С. 189.

Последний год жизни Пушкина // Указ. изд. С. 378.

Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987. Т. II. С. 141.

Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 322.

Последний год жизни Пушкина // Указ. изд. С. 418.

Там же. С. 378.

Пушкин А. С. Указ. изд. Письма. Т. X. С. 370.

Пушкин А. С. Указ. изд. Письма. Т. X. С. 355.

Там же. С. 353–354.

103

Там же. С. 378.

Последний год жизни Пушкина. С. 378.

Щеголев П. Е. Указ. соч. Т. I. С. 26.

Пушкин А. С. Там же. Т. X. С. 470 (692 – перевод).

107

По книге: Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 227.

Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 237.

109

Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Т. II. С. 161.

Там же. С. 164.

Пушкин А. С. Там же. Т. X. С. 467.

Ласкин С. Б. Вокруг дуэли. С. 97.

113

Дантес. Письма // Витале С., Старк В. Указ. изд. С. 119–120. (Подчеркнуто мной. – *Б. Г.*)

Там же. С. 134.

115

Дантес. Письма. Там же. С. 142.

Щеголев П. Е. Указ. изд. Т. II. С. 139.

117

На что обращают внимание авторы комментария к «Черной речке».

Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 114.

119

Витале С., Старк В. Указ. изд. С. 167.

Витале С., Старк В. Указ. изд. С. 170.

Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 181.

Витале С., Старк В. Указ. изд. С. 67.

123

Витале С., Старк В. Указ. изд. С. 67. Основной корпус этих писем, напомним, связан с временем их разлуки, когда Геккерн почти на год отбыл в Европу. – *Б. Г.*

Ласкин С. Б. Вокруг дуэли. С. 106.

125

Булгарин. Воспоминания // По книге: Денис Давыдов. Стихотворения // Библиотека поэта, Большая серия. Л., 1984. С. 9. (Предисловие В. Э. Вацуро.)

Ласкин С. Б. Там же. С. 98.

Витале С., Старк В. Там же. С. 99.

Витале С., Старк В. Указ. изд. С. 7.

129

Ласкин С. Б. Вокруг дуэли. С. 93.

130

Ахматова А. А. Александрина. Сочинения в двух томах. М., 1990 // Т. II. С. 120.

Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 55.

Ласкин С. Б. Вокруг дуэли. С. 96.

Абрамович С. Л. Указ. соч. С. 55.

Там же. С. 63–64.

135

Вяземский П. А. Письмо великому князю Михаилу Павловичу от 14 февраля 1837 г. // Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина // Указ. изд. Т. I. С. 294.

136

Абрамович С. Л. Письма Вяземского о гибели Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1989. С. 169–185. Желающих отсылаем к этому очерку. – *Б. Г.*

137

Там же. С. 170.

Ласкин С. Б. Вокруг дуэли. С. 102.

Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М., 1984. С. 55.

140

По книге: Ласкин С. Б. Вокруг дуэли. С. 95.

Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году. С. 81.

142

Абрамович С. Л. Письма П. А. Вяземского о гибели Пушкина // Указ. изд. С. 172–173.

143

Виконт д’Аршиак. Письмо к гр. Монтессюи от 17 марта 1837 г. // Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина // Указ. изд. С. 58.

«„Огромные усилия“, приложенные Вяземским, чтобы представить поэта лояльным верноподданным и благочестивым христианином, были очевидны для всех, кто хорошо знал Пушкина. Н. И. Кривцов прямо написал об этом Вяземскому в Петербург: „Как не стыдно тебе прислать мне копию с классико-академико-чопорного описания смерти Пушкина, статьи по чести достойной лишь князя Шаликова для «Московских ведомостей». Евгений Баратынский сказывал, что ты написал другое к Давыдову, достойное и тебя и покойного; но копии с того видно ты разослал по умным людям, а нас отпотчевал булгаковским блюдом“». Абрамович С. Л. Письма Вяземского о гибели Пушкина // Указ. изд. С. 176.

145

По статье Абрамович С. Л. Там же // Указ. изд. С. 177.

146

Вяземский П. А. Письмо великому князю Михаилу Павловичу от 14 февраля 1837 г. // Шеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Т. I. С. 293, 300–301.

147

Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году. С. 90. (подчеркнуто мной. – Б. Г.)

148

По книге: Ласкин С. Б. Вокруг дуэли. С. 87–88.

149

Абрамович С. Л. Письма П. А. Вяземского о гибели Пушкина // Указ. изд. С. 170.

Ласкин С. Б. Вокруг дуэли // Указ. изд. С. 83.

Ласкин С. Б. Вокруг дуэли // Указ. изд. С. 88.

152

Блок А. А. О назначении поэта // Собр. соч.: В 8 т. М.-Л., 1963. Т. 6. С. 166.

153

Андроников И. Л. Тагильская находка // Мануйлов В. А, Гиллельсон М. И., Вацуро В. Э. Лермонтов. Семинарий / Под ред. В. А. Мануйлова. Л., 1960. С. 225.

Выделено мной. – *Б. Г.*

155

В ряде изданий здесь было у Лермонтова слово «судия» – что я считаю более вероятным. – *Б. Г.*

156

Мануйлов В. А., Гиллельсон М. И., Вацуро В. Э. Лермонтов. Семинарий. С. 225.

157

Висковатов П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1987. С. 221.

Мануйлов и др. Семинарий. Там же. С. 225.

159

По книге: Висковатов П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1987. С. 227.

160

Щеголев П. Е. Лермонтов. Воспоминания. Письма. Дневники. М., 1999. С. 248–249.

161

Висковатов П. А. Указ. изд. С. 228.

162

Раевский С. А. Объяснение губернского секретаря Раевского о происхождении стихов на смерть Пушкина // Лермонтов в восп. современников. М., 1964. С. 396–397. (Приложение.)

163

Бурнашев В. П. М. Ю. Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников // Лермонтов в восп. современников. Указ. изд. С. 190. (И Столыпин Адексей Аркадьевич (Монго), и Столыпин Николай Аркадьевич – сыновья Аркадия Алексеевича, родного брата бабушки Лермонтова – обер-прокурора Сената. Он их всегда звал кузенами – но они были ему двоюродные дядья. – *Б. Г.*)

Бурнашев. Там же. С. 190–191.

165

Висковатов П. А. Указ. соч. С. 225.

166

Тот же Ласкин. – *Б. Г.*

167

Пушкин А. С. Указ. изд. Т. X. С. 663 (перевод с франц.).

Бурнашев В. П. Указ. соч. // Лермонтов в восп. совр. С. 192.

169

Висковатов П. А. Указ. изд. С. 227.

Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами // Лермонтов в восп. современников. С. 202.

171

Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами // Лермонтов в восп. современников. С. 399.

Витале С., Старк В. Указ. изд. С. 169.

173

Лермонтов в воспоминаниях современников // Указ. изд. С. 376. (Выделено мной. – *Б. Г.*)

Лермонтов в воспоминаниях современников // Указ. изд. С. 524 (Также выделено мной).

175

Бурнашев В. П. Указ. сочинение // Лермонтов в восп. современников. С. 192.

Бурнашев. Указ. соч. // Лермонтов в восп. современников. С. 193.

177

Там же.

Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М., 1964. С. 84.

179

Там же. С. 83.

Герштейн Э. Г. Указ. соч. С. 15.

181

Герштейн Э. Г. Указ. соч. С. 31.

182

Известный диалог Лермонтова с его противником:

«БАРАНТ. Если бы я был в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело.

ЛЕРМОНТОВ. В России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и мы меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно» // Цитирую по книге: Э. Г. Герштейн. Указ. соч. С. 11.

183

П. А. Вяземский – Пушкину в Михайловское. 28 августа и 6 сентября 1825 г. // Пушкин А. С. Переписка. Полное собрание сочинений в восемнадцати томах. М., 1996. Т. XIII. С. 221–222.

Висковатов П. А. Указ. изд. С. 273.

185

Сатин Н. М. Отрывки из воспоминаний // Лермонтов в восп. сов. Указ. изд. С. 209.

Панаев И. И. Там же. С. 240.

187

Гейне. «Buch der Lieder» // Висковатов П. А. С. 275. (Перевод приведен Висковатовым.)

Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. С. 5.

189

ЛЭ. С. 519.

ЛЭ. С. 341.

191

Лермонтов М. Ю. Указ. изд. Т. IV. С. 352. (1830 г.)

Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Т. II. С. 57.

193

Дантес. Письма к Геккерну // Витале С., Старк В. // Указ. изд. С. 120.

Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений (в одном томе) / Под ред. К. Халабалова и Б. Эйхенбаума. 4-е изд. М.-Л., 1930. С. 277–278.

Висковатов П. А. Указ. соч. С. 178.

Ашукина-Зенгер М. О воспоминаниях В. В. Бобарыкина о Лермонтове. Сообщение // Литературное наследство. Т. 45–46. Лермонтов. М., 1948. Т. II. С. 756.

Лермонтов в восп. современников. С. 354.

Висковатов П. А. Указ. соч. С. 351.

Висковатов П. А. Указ. соч. Там же.

Висковатов П. А. Указ. соч. С. 352.

201

Сценарий Я. А. Гордина.

202

Отсылаю к своей работе «Контрапункт, или Роман романа (Из опыта драматических изучений „Евгения Онегина“») // Голлер Б. А. Девятая глава. СПб., 2012 и более всего в книге: Гордин Я. А. Русская дуэль. СПб., 1993.

Герштейн Э. Г. Указ. соч. С. 407.

Герштейн Э. Г. Указ. соч. С. 162.

205

Наш князь Василь // Чиков по батюшке, // Шеф простофиль // Глупцов по дядюшке, // Идя в кадриль // Шутов по зятюшке, // В речь вводит стиль, // Донцов по матушке.

Герштейн Э. Г. Указ. соч. С. 180.

Там же. С. 432.

Герштейн Э. Г. Указ. соч. С. 446.

209

Шан-Гирей Э. А. (урожденная Клингенберг, падчерица ген. Верзилина). Воспоминание о Лермонтове // Лермонтов в восп. современников. С. 343. (Последняя фраза в воспоминаниях приведена по-французски.)

ЛЭ. С. 382. (И тут я с сожалением должен оспорить это мнение автора статьи – замечательного, единственного – В. А. Мануйлова! – *Б. Г.*)

211

Дуэль Лермонтова с Мартыновым. По материалам следствия и военно-судного дела 1841 г. / Сост. Д. А. Алексеев. М., 1992 // Приложение 4. Д. Алексеев, Б. Пискарев. «Я хотел испытать его». С. 92, 93.

Вяземский П. А. Письмо А. Я. Булгакову. Из Записной книжки // Лермонтов в восп. современников. С. 366.

213

Булгаков А. Я. Там же. С. 364.

Висковатов П. А. Указ. соч. С. 385.

215

Мартынов Н. С. Отрывки из автобиографических записок // Лермонтов в восп. современников. С. 403.